

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ
РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Выпуск VIII

XX ВЕК
ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

2003

МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ





**Профессор Константин Феодосьевич Штеппа,
его жена Валентина Леонидовна, дочь Аглая, сын Эразм (Эрик).
Фотография сделана в октябре 1939 года
вскоре после выхода К. Ф. Штеппы из тюрьмы НКВД.**

**ИНСТИТУТ ПОЛИТИЧЕСКОГО И ВОЕННОГО АНАЛИЗА
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ**

**МАТЕРИАЛЫ К ИСТОРИИ
РУССКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭМИГРАЦИИ
Выпуск VIII**

XX ВЕК

ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

**Москва
Издательство «РУСАКИ»
2003**

УДК 94(47)“XX”+929Штеппа
ББК 63.3(2)6
Д22

Серия основана в 1994 году
Ответственный редактор серии А. В. Попов

Под общей редакцией канд. ист. наук А. В. Попова

Д22 **XX век. История одной семьи** / Под ред. А. В. Попова. — М. : Изд-во «РУСАКИ», 2003. — 272 с. — (Материалы к истории русской политической эмиграции ; Вып. VIII). ISBN 5-93349-096-1

Настоящая книга продолжает серию «Материалы к истории русской политической эмиграции». Публикуемые воспоминания видного российского историка Константина Феодосьевича Штеппы, его сына Эразма Константиновича Штеппы и его дочери Аглаи Константиновны Горман позволяют по-новому взглянуть на трагические страницы истории XX века через призму судьбы одной семьи.

Отв. за выпуск *А. К. Тюленев*
Редактор *В. Г. Федорченко*

Подписано в печать 22.10.02 г. Печать офсетная. Формат 60×90/16.
Усл. печ. л. 17,0. Заказ № 623т

Издательство «РУСАКИ»
123298, Москва, а/я 3. E-mail: rusakiph@mtu-net.ru

Отпечатано в типографии НИИ «Геодезия»
г. Красноармейск Московской обл.

ISBN 5-93349-096-1

© А. В. Попов, составление,
вступительная статья, 2003

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая книга продолжает серию «Материалы к истории русской политической эмиграции». Публикуемые в ней мемуары позволяют по-новому взглянуть на трагические страницы истории XX века, на историю эмиграции через призму судьбы одной семьи — семьи видного российского историка Константина Феодосьевича Штеппы.

Автобиографическая работа Константина Феодосьевича Штеппы «Ежовщина» впервые публикуется в России. Она ценна прежде всего как свидетельство очевидца об одной из самых трагической страниц в истории страны, она помогает более объемно увидеть фон исторической эпохи. «Ежовщина» публикуется по отдельному изданию, хранившемуся в семье Штеппы¹.

Константин Феодосьевич Штеппа родился в семье православного священника 3 декабря 1896 года в городе Лохвицы Полтавской губернии². С 1910 по 1914 год учился в Полтавской духовной семинарии. В 1914 году поступил на историко-филологическое отделение Петроградского университета, где его наставником стал видный российский историк, впоследствии профессор Йельского университета, М. И. Ростовцев. В 1916 году Штеппа вынужден был прервать учебу в связи с призывом в действующую армию. Участвовал в Первой мировой, а затем в Гражданской войне на стороне белых. Был тяжело ранен в 1920 году.

После войны К. Ф. Штеппа завершил свое образование на факультете истории Нежинского историко-филологического

института под Киевом. С 1922 года он преподаватель, затем профессор в Нежинском институте. В 1927 году К. Ф. Штеппа защитил в Одессе докторскую диссертацию «О демонологии или истории средневековой инквизиции». С 1930 года заведовал кафедрой истории древнего мира и средних веков Киевского университета, работая одновременно старшим научным сотрудником АН УССР. В 1931 году назначается председателем Комиссии по истории Византии Академии наук УССР. Научные интересы К. Ф. Штеппы находились, главным образом, в сфере исследования средневековой демонологии и социальных движений в Римской Африке.

Очень скоро К. Ф. Штеппа выдвигается в число ведущих украинских историков, чем привлекает к себе внимание органов НКВД. В феврале 1938 года Штеппа был арестован и 18 месяцев, до сентября 1939 года, провел в киевской тюрьме НКВД. Был освобожден без предъявления обвинения. Пребывание под арестом заставило его во многом пересмотреть свои жизненные убеждения и привело к отказу от эвакуации перед приходом немецко-фашистских войск в 1941 году. Во время немецкой оккупации Киева К. Ф. Штеппа являлся заведующим отделом народного образования, ректором университета, главным редактором газет: украинской «Новэ українське слово» и русской «Последние новости». Перед приходом Красной армии в 1943 году Штеппа покидает Киев и переезжает в Берлин, где редактирует русский журнал для «остарбайтеров» «На досуге». После войны работает библиотекарем кардинала фон Галена. В 1947—1949 годах активно сотрудничает в журналах «Грани» и «Посев», где печатается под псевдонимами Громов, Годин, Лагодин и др.

В 1950 году К. Ф. Штеппа возвращается к серьезной научной работе, став одним из учредителей и активных сотрудников Мюнхенского института по изучению истории и культуры СССР. В 1952 году переезжает в США, где первые три года был связан с научной программой, субсидированной Восточно-европейским фондом, а также работал обозревателем на радиостанции «Свобода».

К. Ф. Штеппа — автор ряда работ, разоблачающих преступную сущность сталинизма. Среди них «Ежовщина», «Советская система управления массами и ее психологические последствия», «Чистки в России», «Сталинизм»³ и другие.

В последние годы жизни основное внимание он уделял исследованиям эволюции концепции партийного и государственного строительства от времен ранних социалистов до хрущевского периода, а также исследованиям советской историографии. В 1950-е годы К. Ф. Штеппа при содействии Фонда Форда подготовил фундаментальную монографию о советской исторической науке и историографии. Эта работа остается до сих пор классической и наиболее часто цитируемой на Западе. Монография была опубликована уже после смерти К. Ф. Штеппы на английском языке под названием «Russian Historians and the Soviet State» (1962). Константин Штеппа умер 19 ноября 1958 года. Часть его архива была передана в Архив русской и восточно-европейской истории и культуры при Колумбийском университете. Оставшаяся в семье часть архива была передана в ГАРФ в 1998 году его дочерью А. К. Горман. После обработки и описания был образован фонд № 10082, включающий 50 дел за 1952—1998 годы.

Воспоминания сына К. Ф. Штеппы — Эразма Константиновича Штеппы — история человека, пережившего ужасы немецких и советских концлагерей. Человека, который, несмотря на все испытания, выжил и остался Человеком.

Эразм Константинович (Эрик) родился на Украине, в городе Нежине, в 1925 году. С детских лет его связывала особая духовная близость с сестрой — Аглаей Константиновной. Их разделяла разница в возрасте всего в 16 месяцев, и они росли вместе, почти как близнецы. Во многом благодаря сестре воспоминания Эрика смогли увидеть свет.

Эрик вырос в Киеве, окруженный любовью и заботой семьи — матери Валентины Леонидовны, происходящей из старинной русской дворянской семьи Шепелевых, отца Константинова Феодосьевича и, конечно, сестры Аглаи. Безмятежное детство кончилось с арестом отца в 1938 г. Арест отца, последующие притеснения в школе, на улице — все это во многом подготовило Эрика к будущим тяжелым испытаниям, заставило пересмотреть свое отношение к советской системе и окружающей его действительности.

В декабре 1941 года, в период немецкой оккупации, вопреки воли семьи, Эрик, мечтая своими глазами увидеть «Западный мир», уезжает на работу в Германию. Разочарование наступило быстро. В Германии Эрик был помещен в «остовский»

лагерь, где первых «остарбайтеров» содержали в тех же тяжелых условиях, что и военнопленных. После побега из «остовского» лагеря Эрик попал в концлагерь, где чуть не умер от тяжелой болезни. Только спустя полгода, благодаря хлопотам отца, он был освобожден из концлагеря. Эрик воссоединился с семьей в Киеве осенью 1943 года незадолго до освобождения Киева наступающей Красной Армией.

Семья Штеппы эвакуировалась в Германию, где первоначально жила в лагере в Найденбурге, а затем в Плауене. Это были счастливые дни в жизни Эрика и семьи. Ведь они были все вместе, согреваемые взаимной любовью и заботой.

Краткая идиллия закончилась в конце 1944 года после призыва Эрика в немецкую армию. Эрик служил в вермахте связистом, и его часть не успела принять участие в военных действиях. Летом 1945 года с очередным эшелоном немецких военнопленных, направляемых на работы в СССР, он оказался на родной Украине. Тут Эрик совершил роковую ошибку, бежав из немецкого лагеря, вопреки советам отца — в случае попадания в плен затеряться среди немецких солдат и ждать возвращения в Германию. После побега Эрик недолго скитался и 1 сентября 1945 года сам явился в железнодорожный отдел милиции, отдав себя в руки советской карательной системы. Отец так никогда ничего и не узнал о судьбе своего сына, считая его погибшим.

Вспоминает сестра Аглая: «Может быть, было лучше, что отец не знал правды о его страданиях...» Только в 1960-х годах с помощью Красного Креста родные узнали, что Эрик жив. Но родители так и не смогли увидеть своего сына.

После пребывания в тюрьмах Ковеля, Ровно, в знаменитой Лукьяновской тюрьме в Киеве Эразм Константинович был осужден к 20 годам каторжных работ и 5 годам поражения в правах. Ему пришлось пройти через многие колымские лагеря — «Ольчан», «Нижний Урях», «Озерка», «Туманный» и другие.

Мы уже много знаем о чудовищной системе репрессий, которая была создана в СССР. Миллионы людей были уничтожены, миллионы судеб сломаны и исковерканы. И каждое новое свидетельство преступлений против человечества и человечности может помочь новым поколениям избежать трагических ошибок прошлого. Именно поэтому Эрик назвал свои воспоминания «Не забудьте, люди!»

Он пробыл на Колыме 10 лет и был освобожден из лагеря по хрущевской амнистии 1 сентября 1955 года. В дальнейшем жил в Средней Азии, Донбассе. В 1990-е годы выехал в Германию, где в настоящее время проживает в городе Фридрихсхафен. Во флоридском Санкт-Петербурге он встретился с горячо любимой сестрой. Там же в США и были написаны им воспоминания, публикуемые в настоящем издании.

Воспоминания К. Ф. Штеппы и Э. К. Штеппы предваряются вводными заметками А. К. Горман (Штеппа), названными ею «Другая сторона медали». В настоящую книгу также включены в переводе на русский язык 2 отрывка из ее неопубликованной рукописи под названием «My Story» и статья «Это было в Киеве» (в сокращении), впервые опубликованная в нью-йоркской газете «Новое русское слово» в 1967 году. Эти материалы позволяют лучше понять повороты в судьбах дорогих для нее людей и драматические события тех далеких лет. Следует добавить, что Аглая Константиновна — автор интересных воспоминаний о своей жизни в СССР, Германии и Америке. Она известна как блестящий публицист, автор рассказов и новелл, много печаталась под различными псевдонимами в русской зарубежной прессе. А. К. Горман — человек с сильным характером. Несмотря на все выпавшие на ее долю тяготы и испытания, она сумела воспитать и поставить на ноги шестерых детей.

Примечания и библиография

- ¹ *Штеппа К. Ф.* Ежовщина. — Нью-Йорк. — 1966. — 168 с.
- ² Подробнее о К. Ф. Штеппе см.: *Верба И. В.* Константин Штеппа // Украинский исторический журнал. — 1999. — № 3—4; *Попов А. В.* Историческая наука русского зарубежья: архив профессора К. Ф. Штеппы в ГАРФ // Материалы конференции «Проблемы историографии, источниковедения и исторического краеведения в вузовском курсе отечественной истории». — Омск.: ОГУ. — 2000. — С. 109—113.
- ³ *Штеппа К. Ф.* Сталинизм // В поисках истины. Пути и судьбы второй эмиграции: Сб. статей и документов. — М., 1997. — С. 151—175.

А. К. Горман

ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ

Вторая мировая война закончилась больше 50 лет тому назад, но правда о ней еще не восторжествовала. Многие до сих пор еще убеждены в том, что миллионы людей, которые попали в плен к немцам или добровольно перешли на сторону неприятеля, а потом отказались возвращаться на родину, являются изменниками родины и предателями

Конечно, граждане свободных государств, таких как Франция, Бельгия, Голландия должны были защищать свою родину, свою свободу, свои законы и т. д. Но каким образом этот критерий может быть применен к бывшим советским гражданам, у которых не было ни свободы, ни защищающих их законов, ни благополучия? Ведь после свержения Временного правительства свободных выборов в России не было. Люди жили, как в плену, просто продолжали бороться за свое существование, каждый день надеясь на перемены. У меня была тетька — Клавдия Даниловна Шепелева, урожденная Кочубей, муж которой (адвокат до революции) был «лишенцем», т. е. был лишен гражданских прав и возможности работать, не получал ни пайка, ни жилплощади и никакой другой защиты от своего государства. Моя тетька каждый день приходила к маме и шепотом говорила: «Сегодня уже последний день... хуже уже быть не может».

Но дни шли, и становилось еще хуже, начались чистки, аресты, расстрелы без суда, голод, и все прочее, что заставляло людей чувствовать себя не свободными гражданами, а пленными в своем государстве...

Подобная судьба была и у моего отца профессора Константина Феодосьевича Штеппы.

Он был сыном священника в Полтавской губернии. Семья не была богатой, но жили они спокойно, в достатке, прихожане любили дедушку, они до сих пор ухаживают за его могилой. Пришла революция — не только материальное благополучие было утрачено, но отец получил кличку «сын попа», и его социальное происхождение стало черным пунктом его биографии. Другими словами, ему постоянно приходилось сталкиваться с предубеждением, что он не «свой», социально чуждый элемент, значит, потенциальный враг и т. д. При таком недоверии было трудно работать, а после бессмысленного, ничем не оправданного ареста и всего с этим связанного разве отец должен был до конца своей жизни поддерживать режим, при котором он жил буквально в плену (отец был взят в плен при отступлении армии Врангеля у Перекопа и всю жизнь боялся, что этот факт станет известным). Когда немцы подходили к Киеву, отец твердо решил не отступать с Красной Армией, хотя такая возможность у него была.

Таким образом, 19 сентября 1941 года отец, мама и я с братом оказались под немецкой оккупацией, и с этого дня все связи с советской властью были порваны, началось неизвестное — «новое». «Новое» началось со вступления немецких частей в Киев. Трудно передать радость, даже восторг населения, встречающего немецкие войска. Из всех «нор» (мест, где они скрывались) повылазили люди и с цветами, с искренней радостью встречали пришельцев. Скажу откровенно, что в то время это было для меня неожиданным, ведь всего за пару дней до этого события я вернулась из фронтового госпиталя, куда пошла работать добровольно.

Еще до начала массовых казней в Бабьем Яре к папе пришли представители украинских националистов и предложили ему стать «головой рады», от чего отец отказался, но согласился возглавить отдел народного образования в новой администрации.

Школ долго не открывали, но отец старался всеми силами помочь оставшимся учителям, профессорам, докторам и другим интеллигентам как-то просуществовать. Особенно трудно приходилось русским. Им украинские националисты не давали ни работы, ни пайка. В недоброе советское время было

много плохого, но вражды между русскими и украинцами в обиходной жизни не было.

Через некоторое время отца выбрали ректором университета, и вскоре после этого он стал редактировать украинскую газету «Новэ українське слово» и русскую «Последние новости».

В декабре 1941 года мой брат Эрик уехал в Германию на работу. У него был повышенный интерес к Западному миру, т. к. Запад был для нас за «железным занавесом». Отец был против его поездки, однако Эрик не послушался, уехал, но вскоре понял свою ошибку. Первых «добровольцев» разместили в лагере советских военнопленных и держали их там в таких же тяжелых условиях. Мой брат пытался бежать из лагеря, но был пойман жандармерией и помещен в немецкий концентрационный лагерь. Он уже был при смерти от плеврита, когда отец его разыскал благодаря своим связям и смог добиться его освобождения.

Эрик вернулся в Киев перед самой эвакуацией. В это время дела у немцев пошли под гору. Красная Армия, снабженная американцами продуктами питания, оружием и грузовиками, перешла в наступление.

Отцу было предложено эвакуироваться с семьей в Германию. Мы попали в товарный вагон вместе с украинскими «фольксдойчами» и после многих передрыг (поезд в пути был подорван, и мой муж погиб в этой катастрофе) мы приехали в Найденбург и первое время жили там в лагере.

Отец был вызван в Берлин в начале 1944 года, и там ему предложили работу редактора журнала «На досуге», который издавался на русском языке и распространялся по лагерям «остарбайтеров».

Когда отец вернулся за нами из Берлина, мы должны были пройти проверочную комиссию в лагере. Дед отца был немецкого происхождения (из бессарабских немцев), и отцу предложили подать заявление на получение немецкого подданства. По всему было видно, что война подходит к концу, и мы боялись принудительной репатриации. Конечно, мы знали, что ничего хорошего в Советской России нам ожидать нечего, и на семейном совете решили, что немецкое подданство, возможно, поможет нам остаться в Германии после войны. Но мы не учли возможности для Эрика быть мобилизованным

в немецкую армию. Это произошло в декабре 1944 года. Эрик прошел военную подготовку и весной 1945 года был отправлен на Восточный фронт. Это было очень опасно, но мы верили, что воевать ему не придется, как и произошло. Но мы не могли предвидеть другого: со своей частью Эрик попал в советский плен.

После отправки Эрика к месту назначения всякая связь с ним была потеряна. Мы надеялись, что он скрывается в каком-нибудь лагере под чужим именем. Отец всегда думал, что если бы НКВД арестовало Эрика, то нас стали бы шантажировать, но раз этого не было, то сохранялась надежда.

Мы жили в Берлине, пока бомбардировки не сделались такими частыми, что все издательство и редакцию «На досуге» перевели в город Плауен, в Саксонии.

В Берлине в это время начало организовываться власовское движение. Отец не был военным, и потому прямой связи с движением у него не было. Я знаю, что он принимал участие в дискуссиях КОНРа, но когда мы были в Плауене, его активная деятельность в КОНРе приостановилась.

После окончания войны нам снова пришлось эвакуироваться, т. к. по Ялтинскому соглашению Плауен переходил в Восточную зону. Отец не хотел этому верить, но когда хозяин пивной, в которую он иногда заходил, сказал: «На днях сюда придут “ваши”, и я буду бургомистром, а вы моим переводчиком», отец решил уходить.

Это было длительное и мучительное передвижение на Север. Я сейчас не помню, почему отец хотел попасть в Гамбург. Но в Геттингене он встретил своего друга профессора Гоутерманса, и тот уговорил его остаться в Геттингене.

Геттинген был в британской зоне оккупации, и, возможно, это обстоятельство помогло нам спастись. Отец пошел к коменданту города, и тот посоветовал оставить семью (маму, меня и мою дочь Адочку) и скрыться в одном из лагерей под чужой фамилией. Через 2 дня отец взял рюкзак и ушел из Геттингена по направлению на запад. У него было много приключений, пока он не добрался до Вестфалии. Там ему посоветовали обратиться за помощью к кардиналу фон Галену. Кардинал выслушал его историю и предложил ему работу библиотекаря в его монастыре.

В Мюнстере отец жил до 1947 года. К этому времени стало уже спокойно: не было больше насильственных репатриаций,

и отец начал работу в газете «Посев». С солидаристами он подружился лично, но их идеологии не разделял и потому решил снова вернуться в Геттинген, заняться написанием воспоминаний и поиском возможностей эмигрировать в Америку.

Фриц Гоутерманс жил еще в Геттингене, и они вдвоем с помощью немецкой машинистки написали книгу «“Чистки” и вынужденные признания». Книга была напечатана в Англии на немецком, потом на английском языке, а позже переведена на многие иностранные языки, включая арабский и китайский.

Вскоре после войны началась эмиграция из Германии в США, Канаду, Южную Америку и даже в Австралию. Я точно не знаю, каким образом отец связался с университетом в Боготе, в Колумбии, но оттуда приехали два человека, которые предложили ему кафедру русской истории в местном университете.

Начали оформлять документы, мы с папой даже ходили на курсы испанского языка (отец очень хорошо знал латинский язык, а в монастыре в Мюнстере даже на нем говорил). Испанский язык давался ему очень легко, и он мог уже свободно читать на нем лекции.

Но человек никогда не знает своего будущего. Когда уже все документы были оформлены, оказалось, что немецкое подданство представляло препятствие для эмиграции. Все надежды рухнули... Теперь я думаю, что это было к лучшему — мы до сих пор читаем о разных беспорядках в Колумбии. Мой дядя Виктор (брат моей матери) был убит коммунистами в Аргентине в это же время. Кто мог гарантировать, что с нами не случится ничего подобного?

Судьба сделала новый поворот. Тот консул, который вел дело отца, в свое время проходил курс в американской школе разведки. Он предложил отцу послать туда заявление, и через 2—3 недели отец уехал в Обераммергау преподавать русский язык и историю американским офицерам.

Это не была школа «юных шпионеров», как когда-то было напечатано в «Новом русском слове» (нью-йоркской русской газете). Я позже работала преподавателем в этой школе и знаю, что там готовили не шпионов, а специалистов для работы с перебежчиками, т. к. в это время было уже много перебежчиков из Красной Армии и нужны были люди, чтобы проверять их и помогать им устроиться.

В это же время в Мюнхене (недалеко от Обераммергау) открылся Институт по изучению Советского Союза и начала формироваться антикоммунистическая организация СБОНР (Союз Борьбы за Освобождение Народов России). Конечно, отец принял активное участие в этой работе. В Мюнхене появилось много эмигрантов и оставшихся в Германии русских интеллигентов, и все они принимали активное участие в работе института.

Еще во время пребывания в Вестфалии отец познакомился с Борисом Ивановичем Николаевским, дружба с которым имела огромное значение для всей его последующей жизни.

Борис Иванович был известным социал-демократом и пользовался большим уважением у руководителей социал-демократии. Взгляды на историю моего отца были материалистическими, но с социал-демократами он не мог сблизиться по чисто национальным причинам. Большинство американских социал-демократов было еврейского происхождения, и они не могли простить отцу сотрудничества с немцами.

Борис Иванович Николаевский нашел нам спонсора для эмиграции г-на Левина, который оказался благородным человеком и даже помогал нам материально, благотворительными посылками. По протекции Николаевского отец получил не только визу, но и стипендию от Фонда Форда, благодаря которой мои родители могли существовать первые годы в Америке.

Стипендия выплачивалась ежемесячно. Фонд оплатил также работу по переводу на английский язык фундаментальной монографии моего отца о советской исторической науке и историографии под названием «Русские историки и советское государство» (Russian Historians and the Soviet State). Книга эта вышла в свет только в 1962 году, уже после смерти отца, последовавшей 19 ноября 1958 года.

Всю свою жизнь в эмиграции, несмотря на угрозы и обвинения из Советской России, отец продолжал бороться с идеей коммунизма. Он написал большую историческую работу «Основы сталинизма», в которой доказывал утопичность попыток сталинистов переустройства мира на коммунистических принципах.

От моего брата Эрика никаких сведений мы не получали. Отец умер в неведении о его судьбе.

Только в 1960-х годах с помощью Красного Креста мы узнали о судьбе Эрика. Может быть, было даже и к лучшему, что отец не знал правды о его страданиях. В своей книге мой брат рассказывает о своих злоключениях и надеется, что найдутся люди, которые отнесутся к нему с сочувствием. Эрик пробыл 10 лет в каторжных лагерях на Колыме. Это совершенное чудо, что он остался жив и, сравнительно, здоров. Без Божьей помощи этого бы не произошло.

В воспоминаниях моего брата простым, понятным языком рассказано о фактах массового уничтожения людей, об ужасах, творившихся в лагерях. Этого нельзя забыть!

Сталин считал всех русских людей своими потенциальными врагами. Ведь каждый человек, который жил до революции, был свидетелем того, что жизнь до революции была лучше для всех классов общества.

Кто видел в советское время такие ярмарки, какие описывал Гоголь, где на огромных столах были разложены штуки ситца, из которых крестьянка могла выбрать материал себе по вкусу? Кто видел описанные у Лескова кабаки, в которые захаживали мужики и заказывали себе фаршированного гуся или жареного зайца? Где можно было купить удобную обувь, белье или простыни? После НЭПа все это исчезло. Но у людей были глаза и работала память. Вещи познаются сравнением...

«Хлеб можно было купить за 2 копейки... и ешь его, сколько тебе угодно». Конечно, все, кто это помнил, были потенциальными врагами... А как можно было заставить забыть весь народ? Только страхом. Все боялись, говорили шепотом или вообще не вспоминали... Лучше так, чем в лагере, в котором совсем уж плохо. Рабский неоплачиваемый труд... Наказание трудом... и каким трудом!..

Мой отец написал много статей и книг на эту тему. Всю свою жизнь он жил под страхом ареста и попадания в такие лагеря. То, чего он так боялся, произошло с его сыном Эриком, который по приговору получил 20 лет каторжных работ. После смерти Сталина по амнистии Н. С. Хрущева Эрик был освобожден, но ни в Киев, ни к своей прошлой жизни вернуться не смог.

Теперь Эрик живет в Германии. Советской власти больше нет, и у него есть возможность опубликовать свои воспоминания для того, «чтобы люди не забыли»...

К. Ф. Штеппа

«ЕЖОВЩИНА»*

* Публикуется с незначительными сокращениями по машинописному оригиналу: *Штеппа К. Ф.* Ежовщина. — Нью-Йорк. — 1966. — 168 с.



К. Ф. Шепета. Фото 1952 г.

Глава 1. НАКАНУНЕ

*Жить стало лучше,
Жить стало веселее.*

В середине 30-х годов советское общество жило как бы под знаком сталинской крылатой фразы «жить стало лучше, жить стало веселее».

Страшный кризис, связанный с коллективизацией и индустриализацией первой пятилетки (1928—1934), был уже позади. Миновал голод, от которого в 1932—33 гг. погибло много миллионов людей и который был вызван не столько стихийными причинами — как в 1921 году, сколько «просчетами» в хозяйственных планах, «неполадками» административного аппарата, усердием «не по разуму» местных властей и подобными причинами, коренившимися в самой советской системе.

Одной из особенностей советской жизни является ее как бы волнообразность, одинаково обнаруживающаяся как в области хозяйства, так и в области политики; волны недоедания и голода сменялись волнами относительной сытости. Волны усиленного административного давления и политического террора — волнами относительного либерализма.

Голод 1932—33 гг. был такой именно очередной «отрицательной» волной, и переживался он тем болезненнее, что ему предшествовала пора относительного довольства, совпавшая с НЭПом (новой экономической политикой 1921—28 гг.) и прекратившаяся к началу первой пятилетки. Большевикам

удалось, однако, и на этот раз преодолеть хозяйственные затруднения, в 1934 году они ликвидировали карточную систему и могли обеспечить население, по крайней мере, хлебом, если не всеми продуктами первой необходимости. А так как хлеб составляет главный продукт питания подавляющей массы русского населения, то люди самым серьезным образом почувствовали, что «жить стало лучше!»

Интересно, правда, что эта сталинская фраза в народе произносилась с еле заметной, но очень существенной поправкой. Говорили обычно не «лучше», а «легче»: «жить стало легче». Но и это было уже много в нелегкой вообще советской жизни.

Но «не единым хлебом жив человек». Не только ликвидация голода принесла облегчение в жизни советских людей. Первая пятилетка и коллективизация совпали с первым небывалым подъемом волны политического террора и репрессий. Коллективизация сопровождалась «раскулачиванием»: миллионы крестьянских семейств подверглись полному разорению, ссылались в отдаленные местности. Крестьян арестовывали, подвергали заключению в тюрьмах и концлагерях, расстреливали.

Одновременно производилась массовая расправа с представителями старой технической интеллигенции. Один за другим следовали показательные судебные процессы: Махтинское дело, процесс промпартии, процесс специалистов Наркомзема и проч. Тысячи инженеров, агрономов, ветеринаров и прочих «буржуазных спецов» подвергались всевозможным репрессиям по обвинению во «вредительстве» и «саботаже».

Тогда же происходила и массовая «чистка», служащая в советском государстве одним из наиболее действенных средств политического воздействия: чистка советского аппарата, чистка партии.

Для многих советских людей и, особенно, членов партии чистки являлись прелюдией к аресту со всеми вытекающими из него последствиями — тюремным заключением, ссылкой в отдаленные местности, расстрелом.

Для советской интеллигенции «чистки» были по их последствиям почти тем же, что «раскулачивание» для крестьян.

Для высшей технической интеллигенции, а особенно для академических работников, к чисткам присоединялась еще и

так называемая «проработка», т. е. очень жестокая, всегда односторонне пристрастная, публичная критика их деятельности и их трудов.

В этой «проработке» принимали обязательное участие товарищи по работе, ученики и слушатели, подчиненные и начальники, равно как и представители партийного контроля.

В общем, «проработки» были видом «чистки» и также служили цели политического воздействия. Начавшись со среды высшей интеллигенции, они постепенно распространялись потом на все без исключения группы советского населения.

К середине тридцатых годов наряду с ликвидацией голода и частичным преодолением других хозяйственных трудностей наблюдалось и некоторое спадение волны террора. Даже название ГПУ было заменено, как будто, более безобидным и нейтральным названием — НКВД.

Прекратились судебнополитические процессы, уменьшилось число арестов, много высланных ранее кулаков и «спецов» было возвращено обратно до отбытия положенного срока заключения или ссылки. Были отменены прежние ограничения по «социальному происхождению» для вступления в ряды Красной Армии, для зачисления в высшие учебные заведения. Приобрели сакраментальное значение крылатые слова Сталина: «Сын за отца не отвечает» и «Внимание к живому человеку».

А все это завершилось декларированием «демократической» конституции, знаменитой «сталинской Конституции». Над советской страной, как будто занималась заря новой жизни, как бы начиналась новая эра.

Наряду с ослаблением политического пресса и поворотом в сторону демократии, вернее — ее декларированием, наблюдался ряд побочных явлений, также свидетельствовавших, как будто, об отказе большевиков от некоторых установок, укоренившихся воззрений, канонизированных взглядов и отношений.

Казалось, началось предсказанное Бухариным «сползание на тормозах к капитализму».

Еще в начале 30-х годов появилось, например, постановление о школе, решительно осуждавшее всякое «прожектёрство» в области школьного преподавания и воспитания подрастающего поколения.

Тогда же был издан столь ошеломивший своей неожиданностью приказ о введении в Красной Армии воинских званий, т. е. о фактическом восстановлении старых офицерских чинов.

А в мае 1934 г. появилось и знаменитое постановление о преподавании истории в школе, ознаменовавшее собою полный переворот в области всей официальной идеологии и, особенно, гуманитарной науки.

Постановление о преподавании истории является документом первостепенной важности. Оно свидетельствует, прежде всего, о наивысшей степени возрастания государственной власти, безраздельно подчинившей себе все сферы идеологии.

Это постановление было и первым шагом в новом направлении советской идеологической политики в сторону российского национализма с культом «исторического прошлого», культом «национальных героев», как Суворов и Кутузов, политических деятелей, подобных Петру I и Иоанну Грозному, исторических подвигов, вроде Ледового побоища, Куликовской или Бородинской битв, преклонением перед старыми отечественными писателями — Пушкиным и др. и т. д.

Новое направление постепенно охватило все области науки, преподавания, искусств.

Новый курс заметно сказался даже в области частного быта. Началось с восстановления в правах запрещенных когда-то танцев. Танцы были не только легализованы, но стали почти обязательными для студентов и командиров Красной Армии. Танцевать начали все: от седовласых командиров до пионеров и октябрят, и танцевали с каким-то исступлением, как бы стремясь вознаградить себя за потерянное в прошлом.

Появились дамские туалеты, украшения, косметика. Когда-то комсомолка с накрашенными губами вызывала бы всеобщее возмущение, гнев и уж, конечно, была бы исключена из комсомола за такое проявление «морального разложения». Теперь это считалось естественным и даже поощрялось.

Началась усиленная забота об укреплении семьи и поднятии общественной нравственности. Был поставлен на публичное обсуждение проект закона о запрещении абортов.

Стремление к имущественному и бытовому равенству объявляется мелкобуржуазной уравниловкой. Никого уже не удивляет погоня за «длинным рублем», т. е. большим заработ-

ком. Оплата труда и бытовые условия до крайности дифференцируются. Разница в положении отдельных слоев общества делается все более резкой. Создаются настоящие замкнутые касты — со специальными правами и преимуществами.

Глава 2. НАЧАЛО

Успокоение, наступившее с концом первой пятилетки, оказалось, как многие и ожидали, «затишьем перед бурей». Оно было нарушено убийством секретаря Ленинградского областного комитета партии Кирова 1 декабря 1935 г.

Подлинная подоплека этого события остается невыясненной. Но, во всяком случае, оно было отголоском той внутрипартийной борьбы, которая, начавшись еще при Ленине, никогда потом не прекращалась.

Своей кульминации эта борьба достигла к 1928 году, закончившись тогда поражением Троцкого и победой Сталина. Но и после 1928 года борьба течений внутри коммунистической партии не прекращалась, хотя она должна была принять другие формы: с открытой сцены партийной жизни удалиться в подполье.

Здесь не место анализировать официальные мотивы и скрытые пружины внутрипартийной борьбы в Советском Союзе. Можно ограничиться указанием на то, что главным ее содержанием оставались два вопроса: о методах и средствах коммунистического завоевания мира, «мировой революции», и вопрос о партийном режиме, в частности, режиме единоличной диктатуры, представляемой Сталиным.

Но, как бы то ни было, внутрипартийная борьба отражалась на всей советской жизни, и в ней именно нужно искать объяснения многих, на первый взгляд, непонятных явлений.

Убийство Кирова многим показалось громом среди ясного неба. Многих оно заставило не на шутку встревожиться. Очень выразителен уж был тон последовавших за убийством траурных митингов и собраний. На них впервые зазвучал во весь голос мотив «классовой бдительности», призыв к беспощадности в отношении к «врагам народа». Речи ораторов были преисполнены пафоса гнева и мести. А то, что этот пафос, в отличие от семнадцатого года, носил характер казенности,

искусственности и официальности, ничуть не умаляло заключавшегося в нем ужаса: организованное устрашение действовало не меньше, чем стихийный страх.

Новый курс, предчувствуемый всеми, кто хоть сколько-нибудь разбирался в направлении советской политики, наступил, однако, не сразу — для него требовалась, как будто, раскачка. Даже репрессии, последовавшие непосредственно за убийством Кирова, поразили своей относительной мягкостью.

Что значил расстрел какой-то сотни «контрреволюционеров», «диверсантов», «шпионов» при масштабах большевистского террора?

Но ждать пришлось не долго.

Началось с новой, небывалой еще по размаху чистки партии и государственного аппарата, проводившейся теперь без прежней помпы и по очень скромному, как будто, поводу «проверки партийных документов», «наведения порядка в партийном хозяйстве».

Новая чистка породила настоящую вакханалию «разоблачений» и «заявлений». Заслуги того или другого члена партии, рядового советского гражданина измерялись количеством поданных им «заявлений», изобличавших или компрометирующих других членов партии или советских граждан.

Никаких обвинительных доказательств при этом не требовалось. «Где говорит классовое чутье, доказательства излишни», — сказал член партии Каминский, научный сотрудник Украинской Академии Наук в Киеве, на одном политическом собрании, когда у него потребовали хоть каких-нибудь доказательств по обвинению в контрреволюции другого научного работника — профессора К. Копержинского.

А секретарь партийной организации той же Академии Белоусов подвергся на страницах киевской газеты обвинению в «потере классовой бдительности» за то, что потребовал доказательств от одного из авторов многочисленных «компрометирующих заявлений».

Количество поданных отдельными лицами «заявлений» или количество «разоблаченных», «раскрытых» ими лиц в отдельных случаях измерялось сотнями.

Секретарь киевской городской организации партии пытался даже установить что-то вроде минимальной нормы

разоблачающих или компрометирующих заявлений: на каждого члена партии приходилось от пятидесяти до ста!

К чему сводились эти «разоблачения»?

Обвиняли в «сокрытии социального происхождения», «умалчивании о прошлой деятельности», «принадлежности к бывшим политическим партиям», «участии в политической оппозиции», «перерождении», «потере классово-бдительности», «пособничестве классовому врагу», «национализме», «троцкизме», «извращении генеральной линии», «моральном разложении» и т. д.

Большинство этих обвинений было настолько расплывчато и неопределенно, что их нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть. Подтверждения обычно и не требовалось, а опровергать было даже опасно, так как это считалось «недостатком самокритики» или «зажимом критики».

Нечего и говорить, какой повод для всевозможных злоупотреблений, коррупции, сведения личных счетов, личной мести, мелкого карьеризма и прочего давала подобного рода практика.

Здесь нужно особенно отметить усердие, с каким молодые и ниже стоящие чины партии пытались «разоблачать» «партийных вельмож»: в этом «восстании» партийных низов против верхов кроется одна из глубоких причин последующих событий.

«Разоблачения» — в форме ли письменных заявлений, в виде ли выступлений на специальных собраниях или статей в прессе, влекли за собой ряд неприятных последствий для разоблачаемых.

Обычно их исключали из партии с одновременным «снятием с работы», причем каждому из них «прикреплялся» соответствующий «ярлык», т. е. давалась политическая квалификация, делавшая невозможной какую бы то ни было деятельность.

В советских условиях огосударствления всех источников снабжения и заработка, это делало невозможным и самое существование.

Людей с такими ярлыками появлялось много: «троцкисты», «бухаринцы», «перерожденцы», «националисты», «правые», «пособники врага» и т. д. Все это были кандидаты на арест и ликвидацию.

Для интеллигенции, технических специалистов и артистов, для научных работников всех званий и категорий новая чистка, как и прежние, влекла за собой новую волну «проработок», «критики» и «самокритики».

Процедура «проработки» напоминала процедуру обычной чистки, с той только особенностью, что здесь ко всем обвинениям присоединялось обвинение и в «методологических ошибках», и во «враждебной идеологии», и в «отступлении от классиков марксизма-ленинизма» и пр.

Застрельщиками проработки выступали преимущественно представители молодого поколения — ассистенты, доценты, студенты, которые вели наступление на старших: классовая борьба в советском преломлении.

Из прежних проработок самой страшной была волна 1931—1932 годов, последовавшая за известным письмом Сталина в редакцию журнала «Пролетарская Революция».

В этом письме Сталин обвинял советских ученых в аполитичности, отставании от задач и темпов советского строительства и требовал полного подчинения науки и, в конечном итоге, всех областей духовной жизни и творчества задачам и целям партийной политики.

Волна 1931—1932 гг. меня лично затронула мало: тогда я не принадлежал еще к «старшим», но вышел уже из разряда «молодых». Вследствие этого я и сам не подвергся проработке, и не был привлечен к активному участию в проработке своих коллег.

Обошлось пустяками.

На этот раз дело обстояло много серьезнее: мне предстояло сделаться мишенью самых ожесточенных нападков и пройти все стадии проработки — вплоть до последней, т. е. ареста.

Моя проработка достаточно типична, чтобы вспомнить о некоторых ее подробностях.

Началось с того, что в университетской газете появилась статья под таким выразительным заголовком: «По ошибке или умышленно?»

В этой статье один из моих слушателей — кстати сказать, на редкость неспособный и почти полуграмотный студент, делавший карьеру только своей «активностью» и вознесенный потом на самые высокие ступени партийной иерархии — взял под защиту будто бы обиженную мною Жанну д'Арк...

Дело в том, что в своей лекции я назвал французскую героиню «экзальтированной и психически неуравновешенной», тогда как генеральный секретарь Коминтерна тов. Димитров незадолго до того, в своей последней речи, заметил, что коммунисты не позволят фашистам присвоить себе монопольное право на почитание этой великой героини в борьбе французского народа за свою свободу.

Происходило это в 1936 году. Год-два тому назад советский историк не посмел бы вообще назвать в своих лекциях имя Жанны, если бы он не хотел навлечь на себя обвинение в «идеализме».

Во-первых, в историческом процессе нет места для «героев» или «героинь», во-вторых, в истории «классовой борьбы» нет места для таких событий, как Столетняя война, а если бы имя Жанны д'Арк и могло бы быть названо, то не иначе, как в виде иллюстрации к «характеристике» средневековых суеверий, «реакционной роли церкви, прибегающей к самому наглому обману масс, для этого пользующейся разными шарлатанами и душевнобольными».

Но так было год или два тому назад. А теперь Столетняя война заняла видное место в исторических программах.

Жанна д'Арк превратилась в национальную героиню. Сама коммунистическая партия взяла под защиту ее авторитет от посягательства «буржуазного профессора».

Это — подлинный факт, как и все, о чем здесь рассказывается.

История с Жанной д'Арк испортила мне немало крови, но она была только началом. Между прочим, аналогичный с Жанной д'Арк — хотя и в несколько другом роде — случай имел место и с моим коллегой, профессором Брачкевичем.

Говоря своим студентам о Макиавелли, он сослался на весьма лестный о нем отзыв К. Маркса.

А в то время верховный прокурор Советского Союза тов. Вышинский в своей обвинительной речи против «участников правого блока» приписал этим последним, наряду с разными грехами и преступлениями, также и «макиавеллизм».

Профессор Брачкевич не удосужился еще прочитать номера газеты, где излагалась речь Вишневого, как его обвинили в игнорировании высказываний партийных вождей и, следовательно, в аполитичности.

Впрочем, таких случаев было много.

За Жанной д'Арк последовала для меня история с Мида-сом. Приведя этот миф в качестве какой-то иллюстрации, я допустил неточность в изложении подробностей, вернее, рассказал малоизвестный вариант о судьбе Мидаса.

Между тем, Сталин в своей последней речи, говоря об отрыве партийного руководства от масс, привел для сравнения известный миф об Антее.

Моя критика — в данном случае мой собственный ассистент, типичный представитель молодой генерации, наступающей на старую — бросил мне обвинение такого рода.

В то время, как вождь партии «гениальный, мудрый» и т. д. товарищ Сталин пользуется античными мифами для подтверждения своих выводов, буржуазный профессор Штеппа позволяет себе обращаться с ними (мифами) столь небрежно, что искажает в своих лекциях их содержание.

Следовательно, для профессора Штеппа авторитет вождя не имеет значения, и т. д. в этом роде.

Это похоже на анекдот, но сколько подобных анекдотов можно было бы рассказать из истории описываемого периода советской жизни!

Не успел я залечить раны от Жанны д'Арк и отдышаться после Мидаса, как снова подвергся жестокому обвинению — в игнорировании постановления наивысших советско-партийных органов, а именно: в своем изложении я привел несколько не вполне обычных, а по мнению моих мало компетентных критиков — неверных хронологических дат, вопреки, следовательно, постановлению ЦК от 20 мая 1934 г. о преподавании истории, требовавшему к хронологии особого внимания.

Наконец, наступление на меня началось по всему фронту. Осенью 1937 года в течении многих длинных вечеров меня подвергали жестокой проработке. В моих печатных трудах, в моих лекциях и докладах были обнаружены одновременно и «троцкизм» и «буржуазный национализм», и «преклонение перед буржуазными авторитетами», наряду с «игнорированием наследия классиков марксизма-ленинизма», и многое другое в таком же духе.

В роли критиков выступали преимущественно мои ассистенты и, отчасти, слушатели. Под конец стали уже слышаться

и голоса «распни его» или, на советском языке, «требование организационных выводов» — снятие с работы и даже ареста.

Моя обреченность стала для меня очевидной.

Между тем, волна чисток и проработок переходила уже в волну массовых арестов, охвативших все круги населения, но, в первую очередь, представителей командной верхушки в партии, армии, государственном и хозяйственном аппарате, высшей школе и научных учреждениях.

Массовые аресты начались уже в 1936 г., но своего апогея они достигли только в середине 1937 года, причем эти аресты отличались от арестов прежнего времени именно тем, что им подвергались на этот раз люди известные, видные, а не только какие-нибудь «обломки прошлого», «контрреволюционеры», «антисоветские элементы», «кулаки» или «буржуазные спецы». Аресту подвергались и самые, что ни на есть, крепкие большевики, вожди, партийные вельможи, занимавшие наиболее ответственные посты в государственном или партийном аппарате.

Главным содержанием обвинения, насколько это могло стать известным, был «шпионаж в пользу одной из капиталистических держав». Дело в том, что Сталин в одной из своих последних речей призывал к классовой бдительности, сказал, что капиталисты засылают а Советский Союз тысячи своих агентов — шпионов и диверсантов, а один шпион может-де принести больше вреда, чем целый неприятельский корпус.

Это и дало повод искать везде и всюду иностранных шпионов. НКВД не находило ничего более подходящего для расправы, как обвинение в шпионаже.

Оказалось, что миллионы советских граждан разного общественного положения, национальности, возраста, пола, партийных и беспартийных, военных и штатских, образованных и необразованных, служили наемными или добровольными агентами иностранных разведок.

Не один, а много настоящих корпусов можно было бы образовать из этих «шпионов», попавших в годы «ежовщины» за решетку тюрем или в лагеря НКВД.

Каждый день приносил известие об исчезновении какого-нибудь секретаря обкома, председателя исполкома или наркома.

Официальных сообщений об этом, разумеется, не было. Обычно, заключить об этом можно было по косвенным, но

совершенно неоспоримым данным — таким, как снятие портретов того или иного «вождя» в учреждениях, где они раньше красовались, упорное замалчивание его имени в прессе или, наоборот, появление этого имени с таким эпитетом, как «враг народа», или что-либо подобное.

Так или иначе, аресты не оставались секретом, и о них узнавали на другой же день — аресты происходили, обычно, ночью.

Происходили аресты непрерывно, количество их все более нарастало. Особенности вспышки их были связаны с большими судебно-политическими процессами: процессом маршала Тухачевского и других участников «военного заговора» (весной 1936 года), процессом «троцкистско-зиновьевского блока» (ранней осенью 1937 года), процессом «правого блока» (весной 1938 года) и другими.

Каждый такой процесс служил как бы сигналом к новой волне массовых арестов, прокатывавшейся от угла к углу огромной страны и захватывавшей все без исключения слои общества.

Нельзя не упомянуть о впечатлении, которое эти чистки производили на советское население. Никто не принимал всерьез обвинений, предъявлявшихся на процессах, а в самых процессах видели только средство расплаты.

Но что для большинства оставалось загадкой, это — поведение самих обвиняемых. Почему они признавали себя виновными во всех возводимых на них обвинениях? Почему не делали даже попыток оправдываться? Откуда их непонятная покорность?

Вопросы эти поставил и известный антифашистский писатель Лион Фейхтвангер в своей книге «Москва. 1937 год».

Существовали разные попытки ответить на эти вопросы, но все они были неудовлетворительными. И для меня лично эти вопросы оставались нерешенными до самого своего ареста: я, как и многие другие, не знал, что ларчик здесь открывался очень просто. Правда, и раньше мне уже приходили на память средневековые процессы о ведьмах, но аналогия казалась жуткой. Только позже я убедился в том, что и в данном случае оказалось, что «история — всегда одно и то же, хоть и по-иному».

Тысяча девятьсот тридцать седьмой год занимает особое место в истории большевизма. И не в моей только памяти

оставил он неизгладимый след... Страшный год! С каждым днем становился уже круг знакомых, оставшихся на свободе.

Все чаще доходили известия об арестах далеких и близких лиц. Каждую ночь, идя ко сну, советский гражданин спрашивал себя, где встретит его утро? Всякий гудок проезжающей машины отдавался в душе ужасом. Потолок дрожал над каждой головой.

Это была «ежовщина»!

Глава 3. КРУГ ЗАМКНУЛСЯ

Это было ранней весной 1938 года, в самый канун Дня Парижской Коммуны. Воспоминанию о первой попытке пролетарской революции посвящен день 18 марта. Он проходит, как и все советские праздники: вечером — собрание, доклад, иногда — концерт.

Доклады — всегда одни и те же. Что же нового тут можно сказать? Докладчики же меняются по очереди. Мне тоже приходилось выступать с такими докладами. Сходило более или менее гладко.

Особых подводных камней в этой теме нет. Главное, здесь достаточно высказываний комклассиков. О Коммуне писали и Маркс, и Ленин, и в газетах каждый год ко дню Коммуны пишутся статьи об ее ошибках и уроках. Ошибка — та, что тогда поколебались применить в нужной мере средства террора. А урок — тот, что, захватив власть, не следует останавливаться перед террором. Очень ясно.

И наша партия хочет сейчас доказать, что она-то этих ошибок не сделает: перед террором не останавливается.

Чистка была в самом разгаре. Каждый день приносил известие о новых арестах. Когда кто-нибудь из коллег не приходил в университет, никто не спрашивал, что с ним. Никто не удивлялся, когда вдруг исчезал портрет кого-либо из вождей. Ждали собрания, где становилось известным, по какому поводу благодарить карающие органы за их бдительность.

Над страной навис тяжелый кошмар. Все жили в вечном страхе. Одни — больше, другие — меньше. Это зависело скорее от темперамента, чем от других причин.

В полной безопасности никто себя не чувствовал.

Когда-то некоторую гарантию давало социальное происхождение, революционные заслуги. Теперь ничто не спасало. Даже самые незаметные по своему положению люди не были свободны от чувства тревоги. Помогала разве только непоколебимая вера в режим.

К непоколебимо верующим я не принадлежал. Но если бы какая-нибудь вера у меня и оставалась, факты были достаточно красноречивы, чтобы не давать убаюкивать себя ложными надеждами.

Все последнее время, чуть ли не изо дня в день, я замечал, как теснее замыкался вокруг меня круг.

Дело было не только в проработках. Каждый советский профессор должен был обязательно пройти через испытание критики и самокритики. И не только профессор. Критика и самокритика принадлежат к элементам системы управления. Это одно из средств массового устрашения.

Работники «идеологического фронта» подвергаются ему больше, чем другие. Историки — в первую очередь.

В последние месяцы проработка стала для меня совсем невыносимой. Обвинения были все нелепее и жестче. Чего здесь не было! Кажется, не существовало такого уклона, в каком я не был бы повинен.

А основания? Но именно в том, что никаких оснований для обвинения не было, и заключалось самое главное,

Если бы были ошибки — куда ни шло, кто не делает ошибок? Разве можно было обойтись без ошибок, когда линия постоянно менялась? Ошибки были неизбежны, и их обычно прощали.

Достаточно было признать свою вину и, главное, не оправдываться, наоборот, найти своей ошибке политический эквивалент. Тогда, как тогда выражались, приклеят еще один ярлык, и на этом дело станет... до следующего раза.

Да и что было взять с историка, копавшегося в глубокой древности? Какой убыток для советской власти был бы в неверном освещении событий истории Греции или Рима? Так мне казалось, пока у меня не открылись глаза.

На одном из собраний, когда критика моих ошибок приняла особенно острые формы, я не выдержал и нарушил правило: сделал попытку, если не оправдаться, то хоть немного смягчить свою вину.

Я спросил: как можно показать себя троцкистом — в работе, посвященной греко-римской религии?

И мне объяснили. Совсем просто: так же точно, как можно показать свой троцкизм, будучи ветеринаром в совхозе и прививая чуму лошадям.

Пути врагов советской власти неисчислимы!

На том же собрании кто-то сказал по моему адресу, что о некоторых ошибках, когда они «превращаются в систему» (пользуюсь обычными у нас словесными штампами), нужно говорить не на собрании, а в ДРУГИХ местах.

А что это за «другие места» — по строго установившемуся обычаю органы безопасности по имени не назывались — было, конечно, и мне, и другим понятно.

После такого намека мне стало совсем не по себе.

Неприятное ощущение, раскрывая свежую газету, новый журнал, искать там свое имя и находить его, как объект самых жестоких нападков — всегда несправедливых, всегда грубых. Как будто вас публично раздевают и закидывают грязью.

«Клеветайте, клеветайте! От клеветы всегда что-нибудь останется!» — сколько раз приходилось мне на себе самом испытать верность этой сентенции,

Но самым мучительным было наблюдать действие такого рода критики на окружающих. Незнакомые смотрят с любопытством, знакомые делают вид, что вас не замечают, одни из страха скомпрометировать себя, другие — из чувства неловкости.

На лицах друзей или людей, симпатизирующих вам, читаете сочувствие или жалость. И это еще тяжелее.

Я знал, что многие мои студенты хорошо ко мне относятся — как к профессору и как к человеку. Говорили, что я пользовался популярностью, но это еще больше меня губило.

Один из особенно расположенных ко мне слушателей как-то особенно интимно, дружески сказал мне в утешение: «Профессор, держитесь! Не забывайте одного: кому много дано, с того много и спрашивается. А, если хотите, кого люблю, того и бью. Мы вас любим... и мы вас бьем!»

Это было приятно слушать, но в этом было мало утешительного.

На собраниях же, среди яростно кричавших «распни его», я замечал лица с почти нескрываемым состраданием. У девушек-студенток видел и слезы. Но от этого было не легче.

Были короткие просветы. Среди моих преступлений одно было бесспорным — мое «социальное происхождение». Отец мой был «служителем культа», священником, и сам я учился в духовной семинарии. Происхождение мое было известно, и время от времени мне о нем напоминали. Во время последней проработки напоминали часто.

Как-то на одном большом университетском собрании за меня заступился сам нарком Затонский. «Никто не выбирает себе родителей», — сказал он и тут же сослался на замечание Сталина: «Сын за отца не отвечает». У меня отлегло от души. Но через несколько дней стало известно, что Затонский — «враг народа». Его заступничество обращалось теперь против меня.

Случилось и другое. Среди нападавших на меня — нападали в таких случаях все, и никто не посмел бы выступить с защитой — больше всех выделялся один из ассистентов. Он отличался несомненными дарованиями, и я возлагал на него больше надежд, чем на других. Отношения у меня с ним были самые дружеские. Могу сказать, он был моим любимым учеником. Его активность, обращенная теперь против меня, особенно меня задевала, тем более, что никто другой не изощрялся в выискивании моих больших и малых ошибок так, как он.

Я не мог не знать, что Ефременко, выступая против меня, творит волю его пославших: партийной организации, комсомола — он был комсомольцем спецсектора, может быть. Без указаний партии такие вещи, как проработки университетского профессора, у нас не делались. Это была система: поручать ученикам критику учителя с тем, чтоб они потом заняли его место.

Не то же ли самое происходило в древней Италии, в роще Аретинской Дианы? Место жреца там можно было занять, только убив своего предшественника.

Но он был неприкосновенен, пока держался за ветку священного дерева. Стоило ему выпустить из рук эту ветку, и он делался жертвой подстерегавшего его конкурента.

Это едва ли не главная основа системы. Открытая для всех возможность подыматься по социальной лестнице, хотя бы ценой устранения своих предшественников. Я это знал.

Но каково было бы жрецу Дианы видеть, как на него идет с мечом или дубиной человек, которого он ценил и которому верил?

«И ты Брут»? Правда, Брут не мог поступить иначе.

Но вот однажды, когда я пришел в университет, секретарь факультета, хорошая, симпатичная женщина, относившаяся ко мне очень дружески и искренно сочувствовавшая мне в моих невзгодах, отозвала меня в сторону и сказала: «Знаете, сегодня ночью арестовали Ефременко!»

Я был поражен. Чувства у меня были смешанные. Говоря по совести, злорадства не было. Не было потому, что виновным в моем деле я Ефременко не считал, хотя он выполнял свое поручение с большим усердием, как мне казалось, чем от него требовали.

Но вместе с тем, я не мог не почувствовать и известного облегчения: в компании против меня Ефременко был застрельщиком. Если теперь его признали «врагом», то, следовательно, меня могли не относить к этой категории.

Впоследствии вывод оказался скверным. Но в тот момент все — и мои противники и мои друзья — думали именно так.

Тогда же я мог убедиться и в том, что большинство студентов, даже моих вынужденных критиков, были не на стороне Ефременко.

Оставалось другое обстоятельство, сильно меня беспокоившее.

На одном из собраний, кажется, на том самом, где мне напомнили о существовании «других мест», кто-то обронил фразу насчет моих отношений с Крупеник.

Надежда Николаевна Крупеник, жена председателя Совнаркома Афанасия Любченко, преподавала в нашем университете и была у нас председателем месткома.

Женщина она была обаятельная, достаточно интеллигентная и очень общительная. У меня отношения с ней были чисто служебные и даже на приемах, которые она устраивала для своих университетских коллег, я не разу не был.

Говорил я с нею два-три раза, не больше — просто не было случая. Но она как-то выразила мне свое сочувствие во время гонений, а, может быть, высказывалась в том же духе и где-нибудь в официальных местах.

Летом 1937 года Надежда Николаевна покончила самоубийством — вместе со своим супругом. И ее, и ее мужа причислили к «врагам народа». Намек на какую бы то ни было связь с ними теперь был бы равносителен приговору.

Само по себе все это было бы еще не так опасно: критика, ссылка на происхождение, намеки на политические связи, но общая обстановка была поистине ужасна — совсем так, как во время боя, когда товарищи один за другим выходят из строя, а нужно идти дальше и дальше. Мои коллеги, друзья, просто знакомые выбывали из строя один за другим.

Каждый новый арест усиливал тревогу. А когда арестовывали кого-нибудь из людей, более или менее близких, душу охватывал настоящий животный страх.

В виновность арестованных никто больше не верил — слишком много было арестованных, слишком нелепы были официальные версии их преступлений.

В то же время ползли слухи о пытках, массовом избитии арестованных, исторжении у них показаний. Как могло не быть этих слухов, когда здание НКВД находилось в самом центре города, в бывшем Институте благородных девиц, и по ночам оттуда доносились крики и стоны.

Может быть, этого даже и не хотели скрывать. Люди молчали и дрожали от страха.

Аресту подвергались люди всех категорий. Нельзя было установить никакой закономерности. Это тоже действовало подавляюще.

Раньше, когда подымалась новая волна арестов, говорили: «Берут бывших офицеров... берут попов... лишенцев... специалистов... крестьян-кулаков».

Сейчас всякий критерий исчез. «Брали» одних и других: «брали» и кулаков, и бывших офицеров, участников партийных дискуссий, красных партизан, самых высоких партийных вельмож, незаметных беспартийных специалистов, членов бывших политических партий, иностранных коммунистов — одним словом, брали всех.

Из моих ближайших коллег были «взяты», в сущности, тоже все.

«Взят» был Гриша — Григорий Моисеевич Лозовик, профессор древней истории, единственный человек, с которым я мог отвести душу.

У Григория Моисеевича в прошлом был грех: когда-то давно, еще до революции, он принадлежал к партии меньшевиков. Он относился к немногочисленной уже группе «бывших». Понемногу она была ликвидирована. Пришла и его очередь.

Что-то в прошлом было и у Машкевича, профессора русской истории. А, может быть, его взяли лишь потому, что его жена была сестрой Орлова — большого партийного сановника, недавно перед тем арестованного.

Но какие грехи были у нашего шефа, ректора университета, тоже историка, Сахновского? Правда, в самом начале тридцатых годов, помню, он о Сталине не всегда отзывался с таким почтением, как это стало обязательным после. Но кто из членов партии чувствовал тогда к Сталину особое почтение? Примеры столь непопулярных вождей в истории очень редки.

Впрочем, Сахновский был уже шестым или седьмым ректором нашего университета, которые подверглись аресту.

Нехорошее место!

Но место партийного секретаря Академии было еще хуже. На моей памяти арестован был тринадцатый по счету секретарь. Рок?

Когда-то я должен был занять квартиру в доме, где до меня некоторое время жил известный историк, коммунист Матфей Иванович Яворский. А до него там же жил другой историк, Гермайзе, не коммунист.

Гермайзе судили как заговорщика и националиста, и он бесследно исчез.

Яворский оказался тоже националистом, нашлось у него что-то в прошлом. И он исчез так же, как и Гермайзе.

Идти после этого в отводимую мне квартиру было не особенно приятно.

Встретил я на улице Михаила Сергеевича Грушевского, к которому чувствовал почти сыновью преданность, и поделился своими сомнениями.

«Михаил Сергеевич! Что делать? — сказал я. — Дают, наконец, квартиру, но она — роковая!»

«Не нужно бояться, — ответил умудренный опытом старик, — вся земля наша одинаково роковая.

Не знал я тогда, о какой земле он говорил, но квартиру взял.

Разве уйдешь от своего рока?

В течении ряда лет я работал в Академии под начальством М. Грушевского, который был тогда в большом почете у власти.

Потом начались чистки. Уже после их первой волны институты, которыми он руководил, были закрыты. Самого

Грушевского отправили в почетную ссылку в Москву, запретив ему возвращаться на Украину.

После привезли на родину его прах, с особенной торжественностью предав его погребению. Бывшие его сотрудники, большей частью, были взяты. Остальные разбрелись кто куда.

Работа с Грушевским, я это знал, будет камнем, который потянет меня на дно, больше, чем внимание ко мне покойной жены наркома, и даже больше, чем все мои ошибки вместе взятые.

Дружба с Грушевским, дружба с Лозовиком и Сахновским!.. Первый — националист, второй и третий шли за троцкистов.

Все равно, что Лозовик был моим другом, Грушевский — учителем, а Сахновский — начальником. Этого было более, чем достаточно. На ИХ языке это называется «связями».

Но сколько могло оказаться еще и других таких «связей»?

Профессор Майлис, тоже мой большой приятель, хотя и не столь близкий, как Лозовик. Он работал со мною вместе в Институте по изучению Ближнего Востока — таков был криптоним, которым мы пытались завуалировать одиозное для власти название византологии.

Но как бывает в жизни! Кто из нас думал тогда, что именно этот криптоним когда-нибудь нас погубит, превратив нас обоих в японских шпионов?

Досадное сочетание: интересуясь проблемой Востока, Соломон Геннадиевич Майлис руководил «культурным шефством» над Красной Армией — организацией там лекционной работы.

Не по этой ли самой линии он и «сел»?

Лекции в Красной армии — прекрасный повод для обвинения в шпионаже. Но ведь читал и я, а Майлис был моим другом...

А Евгений Исаакович Перлин — блестящий, остроумный, любимец студентов и еще больше студенток?

Поздно вечером вернулся он с какого-то совещания в ЦК — из беспартийных туда допускались только особо проверенные, а у дома его уже ждал «черный ворон».

Жалко было Перлина. А вместе с тем, мы не раз сживали с ним в кафе за стаканом вина и нас могли там видеть. Вместе с ним мы бывали в одном интимном кружке, типа богемы.

Это было уж совсем плохо, так как там появлялись иногда ненадежные люди.

Например, что нужно было там Герману?

Он так много пил, но никогда не хмелел, а когда хмелели другие, начинал рискованные разговоры. Да и Лизе Б., нашей хозяйке, тоже не верилось: ее муж застрелился при загадочных обстоятельствах. Брат у нее — комиссар и по очень неприятной линии. Лицо у нее постоянно дергается...

Впрочем, и Герман, и Лиза, и даже вельможный ее брат — уже «сели».

Перлина «черный ворон» подобрал после совещания в ЦК. Но Наталия Юостовна Мирза-Аваньянц, моя коллега и приятельница, была приглашена на прием к самому Сталину, в Кремль.

Перед тем ее проверяли, наверно, уж не меньше, чем Перлина. А когда она вернулась с приема в Кремле, ее взяли.

Большой дружбы у меня с ней не было, но что толку? Все-таки еще одна «связь».

Тоже и аспиранты. Ефременко...

Разве нельзя будет представить дело так, что его выпады против меня были лишь хорошо рассчитанным камуфляжем?

Арестованы были и другие: симпатичный юноша, честный, настоящий идеалист, не потерявший еще веру в свой комсомол, Мейлахс.

А вместе с ним и человек другого склада — Фикс, сосредоточенный и замкнутый, о котором я знал только, что у него какие-то симпатии к сионизму.

Кто знает, что они покажут на следствии? Из страха, под влиянием пыток, из желания смягчить свою участь?

У Фикса двое детей, и он почти болезненно их любит. У меня не поднялась бы рука бросить в него камень, если бы он смалодушествовал.

Да и кто из нас без греха? Кто сделан из железа?

Нет. Это далеко еще не все. Всех и не перечесать. Я только чувствовал, что круг замыкается. Нет из него никакого выхода.

В тот день уже с утра на душе была странная тяжесть.

Может быть, какую-то роль сыграл здесь и сон, который я видел в ту ночь. Не то, чтобы я верил снам, но две вещи, виденные во сне, всегда оставляют у меня неприятный осадок: когда меня кусает собака или лягает лошадь.

Наверно это — реминисценции раннего детства, так как случилось со мной и то, и другое.

Видел я, как огромный черный конь подмял меня под себя и затапывал копытами в самую землю. Проснулся в холодном поту. Ощущение чего-то неизбежного, неотвратимого не покидало меня весь день.

Какое-то дело привело меня в Печерск. И домой я не поехал, как всегда, а предпочел пойти пешком, вниз по Александровской улице, вдоль чудесных киевских парков.

Я всегда любил длинные прогулки, хотя обыкновенно хожу очень рассеянно, погрузившись в свои мысли и мало реагирую на окружающее.

На этот раз мне захотелось еще раз посмотреть на родной город — кто знает, может быть, и в последний раз! Для меня нет города красивее Киева! У меня даже сил не хватает описать его, хотя после революции он потерял свой колорит. Да! Он перестал быть тем святым городом, каким он прежде был в глазах народа, благодаря своим монастырям, своим церквам.

Сотни тысяч богомольцев сходились со всех концов русской земли на поклонение его святыням: «Я — от Ладоги широкой, я — от царственной Невы...»

Помню, как и меня в детстве поражали своим говором эти пестрые и шумные толпы людей в разных нарядах, передвигавшиеся по городу от монастыря к монастырю. Их сопровождали казавшиеся мне тогда такими мрачными монахи в черных рясах и клобуках.

Все это исчезло. Нет больше богомольцев, нет монахов... Не слышно и трезвона колоколов.

Наиболее древние церкви исчезли с лица земли. Другие были поруганы, обращены в склады, клубы.

Лавру с ее знаменитыми пещерами превратили в антирелигиозный музей. Мощи угодников были превращены в экспонаты. Под сводами ее церквей, переживших века, видевших и княжеские усобицы, и татарские погромы, слышны были только речи полуграмотных экскурсоводов.

Но от Лавры оставались хоть стены, а Златоверхий Михайловский монастырь, просуществовавший почти тысячелетие, был совершенно разрушен. На занимаемой им площади готовились строить не то дворец Советов, не то здание ЦК партии.

Ни в одном русском городе не было так много памятников старины, как в Киеве — городе, который, может быть, старше самой Руси.

Для людей, понимающих, что это значит, было мучительно больно видеть, как разрушались памятники старинного зодчества, как изо дня в день уродовалось лицо прекрасного города.

Мой друг Ипполит Морилевский, архитектор и археолог, один из немногих у нас знатоков византийского искусства, даже запил с горя при виде страшного вандализма. Что с ним, кстати? Его давно не было видно. Если и его взяли, это и для меня плохо: сколько раз мы бывали с ним на раскопках.

Да! Красивый, все-таки красивый город! Даже лишенный своих святынь, даже изуродованный новыми постройками, он оставался сказочным на своих холмах, среди садов и парков, опоясанный широкой лентой Днепра с открывающимся за ним беспредельным горизонтом.

Весна только началась. Даже лед на реке не тронулся. Деревья стояли обнаженные, и в парках было пусто. Холодный ветер забирался под воротник зимнего пальто. Я не успел сменить его на весеннее. Но весна чувствовалась уже в дыхании воздуха, в голубой прозрачности неба.

И от этого становилось еще печальнее, еще безнадежнее.

Поравнялся с новым зданием НКВД. Оно не было еще достроено, но фасады были уже выведены, и чувствовалось в них невыразимое безобразие: безобразным было смешение стилей — во вкусе Хозяина, ненужное нагромождение колонн и фризов с претензией на величие и роскошь, а главное — несоответствие между настоящим назначением строящегося здания и тем внешним видом, какой пытались ему придать.

Чувствовалась в этом страшная неправда. А что может быть безобразнее лжи?

Я поспешил отвести глаза от этого памятника переживаемой эпохи и начал вглядываться в даль. Но увидел перед собой только Институт благородных девиц, где теперь помещалось центральное управление того же НКВД. Опять несоответствие.

Почему жизнь стала такой тяжелой? Разве легка она для этой женщины, с трудом поднимающейся в гору? Какое измученное, озабоченное лицо. После тяжелого дня где-то на фабрике спешит домой. Нужно накормить мужа, детей. Убрать комнату — квартиры у нее, конечно, нет. Квартир вообще больше

не существует. И это ее счастье: что стала бы она делать с квартирой? А завтра — Коммуна и вечером нужно идти на собрание.

А где же жизнь? Простая, обыкновенная жизнь? Как жили ее мать, бабушка...

Предположим — она работница. Когда и где рабочим жилось хорошо? Но вот я — интеллигент, «ученый». В академической иерархии занимаю не последнее место. Живу, правда, и я со всей семьей в одной комнате. И моя жена тоже после целого дня работы в школе должна варить на примусе обед, кормить детей, штопать чулки...

Мы не голодаем. Кое-как одеты. Нам все же лучше, чем многим другим. Лучше, чем вот этой работнице, чем нашему соседу, бухгалтеру.

Зато меня и «прорабатывают»... Зато надо мной и висит угроза ареста.

Но над кем она не висит? Свободна ли от нее эта работница? Угроза ли это или неизбежность? Или вопрос только в сроке?

Что переживает человек, которому по злой воле или по неосторожности его врача стало известно, что он болен, например, раком. Что никакими операциями, ничем вообще не отвратить конца? Срок неизвестен, но конец близок.

У Бернаноса, в его чудесной книжке, есть такой случай.

Разные люди отнеслись бы к этому тоже по-разному. Большинство все-таки пыталось найти себе какое-то утешение: «Врачи могут ошибаться», «Все зависит, в конце концов, от организма», «Хотя когда-нибудь и надо умереть, но бывают в жизни и чудеса». Каждый «неизбежное» — переживает по своему.

«Заточение. Тюрьма», — думал я в тот вечер, спускаясь вдоль бывшего Царского сада. Но что такое свобода? Есть ли она у кого-либо из нас?

Если говорить о свободе в чисто физическом смысле, СЕЙЧАС я могу передвигаться, скажем, в границах города. Но не больше. И это тоже — относительно, так как я, как и каждый, связан работой, временем. А ТОГДА границы передвижения сузятся до одной камеры.

Так ли это важно? Ведь внутренней свободы у человека никто отнять не может. Свободы думать, чувствовать...

Мне вспомнился тут известный рассказ, как какой-то молодой человек пошел на пари, что он высидит двадцать пять

лет в одиночестве, имея только книги, какие ему понадобятся. Когда пришел срок ему выходить из добровольного заточения, он предпочел остаться в своем уединении, а от денег отказался.

Он пришел к заключению, что высшее счастье, это — мысль. И человеку больше ничего не надо.

И потом, я не раз возвращался к этому сюжету, сидя в камере. Ясно, этот сюжет подходил к обстановке, в которой очутился и я, и те мои слушатели, которым я рассказывал о нем, для их назидания.

По существу своему, он был ложен. Дело даже не в том, что у настоящего, а не выдуманного, заключенного нет ни доброй воли, ни надежды на компенсацию. Нет у него также и книг. Человек по природе своей не может быть одинок.

Каждый из нас — только часть какого-то целого, пусть самого малого: своей семьи, рабочей группы, общества, нации, даже разбойничьей банды. Наша внутренняя жизнь обязательно состоит из элементов этого целого, начиная уже с языка. В нашей природе наряду со стимулами самоутверждения, заложена также потребность самоограничения, жертв и служения.

Наряду с мотивом властвования, живет в нас и мотив подчинения. Когда этого нет, когда человек оказывается действительно одиноким — тогда, в полном смысле этого слова, начинается для него страдание. Кончается оно либо безумием, либо преступлением. Но и преступление — путь к безумию...

Не тюрьма ли вся наша жизнь здесь? — продолжал я думать. Как оно вышло, что ОНИ собирались построить если не рай на земле — в рай-то они, пожалуй, не верили, но все же нечто, основанное на справедливости и велениях разума. А построили только всеобщую тюрьму?

Существует выражение «ступенчатое ограничение свободы». Это — почти официальный термин. Так называли у нас практику налагания наказания в виде последовательного ограничения площади передвижения: передвижение в пределах одного населенного пункта, от рабочего места к дому и от дома к рабочему месту, было меньшей степенью наказания, чем право передвигаться в пределах одного только лагеря.

Право передвигаться в пределах лагеря было более низкой ступенью ограничения свободы, чем право передвигаться в пределах одной только камеры.

Все относительно, конечно.

Но кто пользуется неограниченной свободой передвижения? Например, пойти на вокзал, купить железнодорожный билет, ну, хотя бы до Москвы, не получив на то разрешения?..

А свобода выбора занятия? Можно оставить место работы и отправиться искать себе новую — по своему вкусу и расположению?..

Уложил бы себе колхозник харчей на дорогу, как это бывало в «недоброе» старое время, и отправился бы поискать счастья на заработки где-либо в Таврии?

Об этом сейчас и думать смешно, как смешно было бы думать о том, что какому-нибудь счетоводу или механику захотелось бы в одно прекрасное утро вместо того, чтобы пойти на работу, отправиться рыбу удить.

Свобода занятий, свобода передвижений — все это — сущие пустяки. Зачем Иванову рыбу удить? Пусть стоит у станка.

И когда вся страна занята лихорадочной стройкой — кататься без дела в Москву?

Но есть вещи и похуже. Когда Любченко застрелил милую, обаятельную Надежду Николаевну, а потом покончил с собой, каждый из нас был «уверен в том, что оба они — купленные агенты немецких фашистов». И все мы были обязаны говорить это на специально созванном для этого собрании.

Говорила это и Наталия Юстовна, по-настоящему дружившая с Надеждой Николаевной. Говорил это и ее тайный поклонник, мой друг Могилевский. Говорил это и я, хотя, конечно, этому не верил. Не верил, но говорил.

Был ли Ефременко действительно убежден в справедливости тех обвинений, которые он бросал по моему адресу? — Не могло этого быть!

Он был достаточно умен и достаточно разобрался в тех вопросах, в которых пытался найти мои ошибки.

Но ведь обвиняла меня и Леля, тоже моя аспирантка. Из-за нее я имел немало неприятностей, но в искренности ее расположения к себе я мог не сомневаться. Она же говорила мне, не скрывая этого, как ее инструктировали в комсомоле, как она пыталась сопротивляться, но, должна была уступить.

Она смеялась над своими собственными замечаниями по моему адресу. Смеялась, но делала их.

Это нечто поважнее ограниченной свободы передвижения. Это...

Да. Это — плен. Плен тела и духа... Я вспомнил эти слова. Их подсказал мне Крестьянполь, мой школьный товарищ, с которым я встретился вчера, после очень долгого времени, что мы не виделись.

Мы провели вместе весь вечер. Говорили очень много. Разговор был содержательный и тяжелый. Так давно ни с кем уже не приходилось говорить.

«Сказал — и облегчил душу!»

Нет. Этот разговор души не облегчил. Ни одному, ни другому из нас.

Наоборот — после него душу окутал туман. Холодный, тягучий, непроницаемый и — смрадный.

Именно это: «Душа смердит!»

Так говорил в таких случаях мой брат Владимир.

Да, только неделю тому назад я получил известие о том, что Владимир опять арестован. В который раз?

Петля затягивается. Круг сомкнулся.

Глава 4. АПОСТОЛЬСТВО ИУДЫ

Юру Крестьянполя я знал почти с детства, со школы. И потом наши пути не раз скрещивались. Не могу сказать, чтобы я был к нему особенно привязан, но в моем отношении к нему всегда была теплота, хотя и с оттенком снисходительности. Может быть, мне приятно было сознавать свое превосходство.

Легко было чувствовать себя сильным рядом с Крестьянполем, ибо трудно представить человека слабее его в каком бы то ни было отношении.

Слабый здоровьем, слабый морально, расхлябанный и бесхарактерный. Всегда неряшливо одетый, плохо выбритый, непричесанный, он производил впечатление настоящего чучела. К тому же — низкого роста, с изогнутыми ногами, близорукий, почти подслеповатый...

Глупым Крестьянполь не был. И учился при своей феноменальной лени неплохо. Но во всех его суждениях была незаконченность.

Взгляды свои он менял постоянно. И если он, с большой горячностью, сегодня доказывал одно, никто не мог угадать, что он будет говорить завтра.

В довершении всего, он рано пристрастился к крепким напиткам. Он был, в настоящем смысле слова, алкоголик.

Женился Крестьянполь очень рано, студентом первого курса. И более неудачный брак трудно было себе представить. Его жена во всем была ему под пару, начиная с того, что будучи близорукой, также носила очки. Такая же неуклюжая, до крайности непрактичная, слабосильная.

Поженились они в тяжелое время, сразу после революции. Средств не было. А тут пошли и дети... Нужда была невероятная. Нельзя было без ужаса видеть страдания хрупкой, беспомощной женщины, происходившей из так называемого хорошего круга и очутившейся на дне нищеты.

Юра же топил заботы в «самогоне» и совсем опустился.

В первую войну, еще в качестве рекрутов, служили мы в одном подразделении. Юра как-то был дневальным. В его обязанность входило натопить дровами печи казармы. Дрова были сырые, растопки не было. Юра не отличался ловкостью. Возился он с печами целый день, но все мы легли в ту ночь в не топлёном помещении.

А печальный вид Юры, которого в наказание поставили под винтовку с полной выкладкой, не только нас не утешил, но даже и не забавил.

А на строевых учениях он был настоящим мучеником. Правда, он от них уклонялся, когда только мог. А из казарм старался не выходить.

Все же, раз попробовал пойти в город, получив отпуск. Но беда! Не сумел стать, как следует, во фронт проходящему генералу, и получил за это несколько нарядов не в очередь и больше уж не рисковал подвергать себя такому испытанию.

Потом наши пути разошлись. Когда ж после войны я вернулся в свои родные места и спросил о Крестьянполе, то, к немалому своему изумлению, узнал, что он принял сан и священствует в очень глухой деревне.

Правда, он не был таким воинственным безбожником, как многие из моих однокашников, которых готовили — достаточно плохо готовили — к священству. Он был просто равнодушен. Это, как он сам говорил, его не занимало.

Несколько лет о нем ничего не было слышно. И вдруг я получил от него письмо: По разным причинам, о которых он расскажет при личном свидании, он принужден-де оставить

священство, и просит помочь ему получить какую-нибудь работу.

В то время я уже подымался по служебной лестнице, и мне нетрудно было помочь Юре.

Крестьянполь рассказал мне, что принять священство вынудило его неимоверно тяжелое положение: жена и дети буквально опухли от голода. К тому же он не рисковал искать себе другой службы из боязни, что его офицерство и служба у белых будут раскрыты.

Семья перестала голодать. На первых порах Крестьянполь завоевал себе авторитет среди прихожан: им импонировала его ученость, его проповеди, умение отвечать на все их вопросы, но старый недуг одолел: его приглашали на крестины, свадьбы, поминки... Самогонки было достаточно, и он окончательно спился, чему немало способствовала убийственная монотонность деревенской жизни.

Долгие годы мы с Юрой не встречались, но в тот день, роковой для меня, придя домой, я его застал у себя.

Чтобы свободнее была наша беседа, мы с ним пошли бродить по городу и далеко за полночь просидели в опустевшем городском саду.

Священнику, хоть и добровольно ушедшему от служения в церкви, работу получить было очень трудно. Крестьянполь же получил место директора в средней школе.

«Ты понимаешь, — говорил Крестьянполь, — если мне, человеку с подмоченной репутацией, бывшему попу, да еще с неясным прошлым, дали такое место, то сделали это не даром».

«Короче говоря, — продолжал он, — вызвали меня в некое учреждение. Этого я давно ожидал и даже удивлялся, почему они медлят? Догадывался насчет того, о чем будет разговор».

Но решил держаться.

Собственно почему? Даже не могу объяснить себе толком? — Уж очень оно как-то нечистоплотно. Как будто сунули тебя в навозную жижу и заставили сидеть в ней день и ночь.

Может быть, для чего-то это и нужно, для построения социализма или чего прочего... Но все-таки противно».

«И знаешь что?» — оборвал он вдруг молчание. — Иван Карамазов у Достоевского, помнишь? говорил, что он никакого бы царства Божьего на земле не принял за слезу только

одного ребенка. Я скажу другое: все, что ТАМ о нас говорят, было бы враками, белогвардейской брехней, если бы мы, в самом деле, утопали в довольстве и шли бы к еще более светлому будущему, если бы все, что декларировано нашей Конституцией было не фикцией, а настоящей правдой, все это ничего не стоило бы, раз вся наша система сверху донизу покоится на сексотах».

Он нервно потер руки. Вынул из кармана кусок газетной бумаги, мешочек с махоркой — сколько я его помню, курил он только махорку, и притом какую-то особенно вонючую, не знаю, где он ее доставал, скрутил цыгарку, затянулся, сплюнул с каким-то остервенением и продолжал:

«Но что такое сексот? В чем заключаются настоящие функции секретных осведомителей? Обыкновенно думают — не только за границей, но даже у нас, где сексот давно уже стал бытовым явлением, что он обыкновенный шпион и соглядатай. Его дело — наблюдать, подглядывать и подслушивать, а потом доносить.

Но нет! Не так это просто! Если бы так, в этом не было бы ничего особенного, так как подобные вещи водились всегда. И всюду они ведутся. Особого вреда от сексотов тогда не было бы. Просто люди научились бы быть еще осторожнее — а уж на что осторожны наши люди!

Подглядывать и подслушивать сексоту было бы нечего. Сексоты стали бы не нужны».

«Нет, — Крестьянполь придвинулся совсем близко ко мне и, хотя вокруг не было ни души, продолжал уже шепотом. — Дело сексота в том, чтобы создавать ФАНТОМЫ врагов, снабжать их — ты знаешь, кого — продуктами собственной ФАНТАЗИИ, своего творчества. ОНИ перерабатывают добытый от сексотов материал, пропуская его через свою машину. А в виде готового фабриката ОНИ имеют миллионы рабов, которыми наполнены ИХ тюрьмы и концлагеря».

«Но для чего?» — прервал я.

«Для чего? — Для разного. Во-первых, ОНИ знают, что их ненавидят. И ОНИ помнят, что сказал Калигула: “Пусть ненавидят, лишь бы боялись!”

То есть, они не знают, что это сказал Калигула. Я и сам в этом не уверен. Но эту мысль они твердо усвоили и сделали ее главным принципом своего искусства управлять массами».

«Страх! Ты знаешь, что такое страх? — спросил он как-то в упор. — На фронте, хорошо это помню, ты делал вид, будто не знаешь страха. Я тебе не верил. Я никогда не видел ни одного бесстрашного человека. Но зато я имел одно бесспорное мужество: не скрывать своего страха!

Опять не помню, кто — Макиавелли или Гвиччардини — сказал: “Было бы приятнее управлять людьми, основывая свою власть на их любви и расположении, но куда надежнее править с помощью страха!” Может быть, не совсем так, но в этом роде.

Куда более верные ученики Макиавелли или Калигулы, чем Карла Маркса».

Крестьянполь немного помолчал. Я больше не задавал вопросов. Возражать было нечего. И сам я думал то же.

Страх?.. Да, мой друг, сейчас-то я хорошо знаю, что такое страх!

«Но есть и другое, — заговорил он опять. — Страх — страхом, это еще не все... ИМ нужно, чтобы каждый из нас, как бы нам ни было тяжело, никогда не забывал о том, что есть немало людей, которым еще тяжелее. ИМ нужно, чтобы все мы здесь знали, что во всякий момент каждый из нас может очутиться ТАМ, чтобы мы, таким образом ценили то, что имеем».

«Здесь нам есть нечего? Здесь мы оборваны? Живем в тесноте? Здесь стесняют нашу свободу? — Крестьянполь повысил голос. — А ТАМ?.. Вот она, простая философия власти, до такой философии не доходили ни Калигула, ни Макиавелли! Здесь ОНИ уж вполне оригинальны!»

Крестьянполь замолчал, как будто освободившись от тяжелой ноши, давившей его сознание. Его слова пробуждали чувства, дремавшие в моем сознании, они сливались с тревогой, охватившей меня в тот день, и не было желаний, не было сил о чем-либо говорить.

Город спал. Время шло за полночь. Пора было собираться домой...

Но Крестьянполю хотелось досказать мне свою грустную, но такую обыкновенную, для стольких неизбежную историю...

«Дальше все уже было просто. После короткого разговора о моем священстве, нескольких неопределенных намеков на мое отдаленное прошлое, вызвавший меня энкаведист поставил вопрос ребром — предложил подписать “секретное обязательство”».

Тогда меня осенила гениальная мысль. Я сослался на свою склонность к спиртным напиткам, на то, что во хмелю я совершенно теряю память и не отвечаю за свои слова и за свои поступки.

Я, мол не против того, чтобы своей службой загладить позорное прошлое и т. д. Но, судите сами, какая вам будет польза от такого субъекта?

Представь себе, этот аргумент подействовал. Может быть, я подкупил чекиста искренностью своего тона. Не знаю, но на этот раз, меня отпустили с миром, без колебаний.

Вот, как тогда выручил меня мой алкоголизм!

Но, к сожалению, не надолго... Позже я сообразил, что это был один из приемов вербовки: человеку, когда он получил подобное предложение, нужно дать время переварить его в себе, пережить произведенное им впечатление.

Если у него есть хоть малейшее колебание — большинство соглашается без всяких колебаний, — почему не дать ему время подумать? Рано или поздно он все равно согласится. Короче говоря, через месяц или два, на третьем... или четвертом вызове и я... согласился.

Согласился потому, что увидел полную бесполезность дальнейшего сопротивления. Может быть, бывают такие герои, что... но ты знаешь, героем я никогда не был.

Остальное не интересно. Это уже техника...» — закончил свой рассказ Крестьянполь.

«Пока я думал, — продолжал Юра после некоторого раздумья, — что от меня требуются услуги простого соглядатая, я пытался еще кое-как увертываться. Избегал, например, встреч с людьми, которые казались мне почему-либо сомнительными в смысле их отношения к власти. Избегал их, чтобы не было необходимости на них доносить. Но потом я увидел, что доносить вообще и не на кого, и не о чем...»

«Может быть, у кого-нибудь из моих окружающих и были вредные мысли, но мне-то они во всяком случае, их не вверяли».

«Ни на какие “организации” не видел я и намека. Ну, какие у нас могут быть организации, когда люди боятся собственной тени? Короче говоря, я не наблюдал никаких проявлений контрреволюции — по своей ли неспособности, или, скорее, потому, что ее и не было».

«Нетрудно было предполагать какие-то там “настроения”. Но мое начальство самым категорическим образом требовало от меня не предположений, а фактов, не настроений, а действий».

«Я не понимал, в чем тут дело, пытался отстаивать правду. Но, наконец, понял: меньше всего кому-то нужна была правда!»

Крестьянполь поник головой, как-то весь осунулся и тихо, но отчетливо произнес:

«Но, наконец, я понял... Я нашел нужное слово: Мы в ПЛЕНУ. Пойми! — Юра приблизился ко мне. Его глаза горели лихорадочным огнем и бледное лицо подергивалось судорогой. — Пойми! Ты и я, мы с тобою пленные в БУКВАЛЬНОМ СМЫСЛЕ этого слова».

Да... так оно и было... ПЛЕН!

«Но пленники здесь не только мы с тобою, — заговорил Юра оживленно. — Пленники здесь все! Все — без исключения! Каждый по разному. Есть пленники идеи, в плену своей доктрины... теперь их уже не так много, но они еще есть. Идеалисты, может быть, и перевелись, но доктринеров хватает».

«Большинство в плену страха. Не только те, кого бьют, но даже и те, кто приводит в движение весь этот дьявольский механизм. Все мы здесь — пленники власти. Но и они, и они в плену созданных ими фикций и сотканной ими лжи. Ложь, только ложь источник всего этого ужаса, жестокости, которыми полна наша жизнь».

Крестьянполь закончил свою повесть.

Его долгий рассказ утомил меня. Мне было трудно следить за его мыслями. Я старался уловить удобный момент, закончить беседу.

Но трудно было перебить его, трудно не дать человеку высказать все, что годами накопилось на его душе и что кроме меня он никому не сможет сказать!..

Я сделал движение, чтобы встать, но Юра остановил меня:

«Думал ли ты когда-либо о том, что Иуда Искариот тоже был апостолом, учеником Христа, по Божьему избранию? Думал ли ты, что он, предавая Христа, продолжал апостольское служение? Кто скажет, кто из апостолов имеет большую заслугу перед вечным Престолом?»

«Апостольство Иуды в том, — сказал он почти иступленно, — чтобы каждый человек знал, что бывают в жизни и такие

грехи, после которых, при всем божественном долготерпении, остается только одно — идти и удавиться!»

Крестьянполь увял. Он не успел рассказать мне всего о том, что он назвал служением Иуды, апостольством Иуды, — может быть, это и есть настоящее слово?

Стало совсем холодно. С Днепра подул сырой предрасветный ветер. Где-то слышались шаги первых прохожих, спешивших на работу. Пора было прощаться. Чувствовалась только страшная усталость. Мы простились.

Но одна мысль не покидала меня: «Столько лет я был только пленным, и еще мог думать о какой-то свободе...»

Да, с Юрой мы простились и в этот раз навсегда: придя домой, Крестьянполь последовал примеру Иуды и... удавился.

Глава 5. СВЕРШИЛОСЬ

Произошло все это совсем обыкновенно и просто — как происходило и до меня, и после меня с миллионами других. Трагедия одного человека, трагедия одной отдельной семьи!

Так как этот человек, эта семья терялись среди миллионов других, их трагедия могла быть только предметом статистики. Так, кажется, говорил об этом Иосиф Сталин. Тоже, может быть, пленный? — Чего? Своей идеи или своей мании?

Не все ли равно?

Семья долго не ложилась спать. Завтра жене предстояло ехать в клинику, и она делала последние приготовления. Дочь что-то писала, кажется, дописывала классную стенгазету по случаю праздника. Сын погрузился в чтение Фенимора Купера.

Жили мы, как водится, в одной единственной комнате, служившей нам и спальней, и детской, и моим рабочим кабинетом, и всем, чем угодно. Пытались мебелью кое-как разгородить ее на отдельные кабинки. Но от того стало еще теснее, еще неуютнее.

Я укрылся в своем уголке за книжным шкафом, уткнулся в кушетку и думал о Юре. Думал также о том, что будут делать мои, когда придет, наконец, и моя очередь.

Она пришла.

Когда мы все заснули, нас разбудил стук в дверь. Стук хорошо известный советским людям. Почти всегда под утро.

В комнату вошли двое, один в штатском, другой в форме речной флотилии. Третий, наш дворник, в замешательстве остановился у двери и, как будто, не решался переступить порога.

Тот, что был во флотской форме, назвал мою фамилию, имя, возраст, место рождения. Потребовал паспорт, сверил его с какой-то запиской. После этого протянул мне ордер, который я от волнения, не мог даже прочитать, и начал обыск.

Во всем этом было что-то уничтожающее, как будто в комнату вползло что-то страшное, огромное и втоптывает в самую землю — совсем, как по сне.

Не забуду лица жены в эти часы. В ее больших глазах обыкновенно было выражение как будто вопроса. Бывают такие глаза — придя в мир, человек взглянул на него с изумлением, и это выражение сохранилось у него на всю жизнь.

Изумление было и сейчас. Но оно смешивалось с беспредельным ужасом...

Мне вспомнились слова: «Но легче управлять ими с помощью страха...»

Сын — ему было тогда что-то около двенадцати лет — мальчик бойкий и смелый, всегда старался казаться старше, чем был. На этот раз, изменил своему правилу, взобрался ко мне на колени, охватил мою шею и, не сдерживаясь, плакал.

Эти вели себя во время обыска спокойно, даже с тактом. Увидели на дне сундука венчальные иконы, положили обратно без тени глумления.

Обыск подходил к концу. Брать было нечего. Все это была пустая формальность. Я знал, чем это кончится. Но где-то все еще оставалась слабая искра надежды. А может быть...

О эти лживые надежды!

Хотя без надежды жизнь стала бы невыносимой. Много раз в камерах рассказывал я своим соседям миф о Пандоре.

Боги, сотворив первую женщину, подарили ей ларец, заключавший в себе все возможные в нашей жизни блага, но строго наказали ей не заглядывать в него.

Пандора не была бы женщиной, если бы могла подавить в себе любопытство и не преступить данной ей заповеди. Она только чуть-чуть приоткрыла крышку ларчика, но все, что было ей подарено, было дано для всех будущих поколений людей, внезапно исчезло. Когда Пандора в ужасе захлопнула крышку, в ларчике осталось только одно — надежда!

Но не перепутал ли я сюжет мифа? Может быть, в ларчике Пандоры были совсем не блага, а наоборот, все несчастья и беды, которые потом пошли гулять по свету?

Пандора же успела захлопнуть в ларчике только надежду, оставив ее в удел людям?.. Но нет, теряя надежду, человек, действительно, теряет все, теряет последнее, что у него есть.

Но моя надежда, конечно, была тщетной.

— Одевайтесь, — сказал моряк усталым, безразличным голосом и, прочитав на моем лице вопрос, добавил: «Поедем с нами, вы арестованы. А вы, гражданка, — обратился он к моей жене, — подпишите протокол обыска. Мы ничего у вас не взяли, и ничем вас не обидели».

«Да, трудно привыкнуть к социализму!» Вспомнились мне слова Косенко, одного из моих молодых коллег, слова, стоившие ему, если не жизни, то свободы, несмотря на его пролетарское происхождение.

Но, об этом — после.

Машина — не «черный ворон», а самый обыкновенный легковой автомобиль, стоял почему-то не у входа в дом, а за углом.

Мы прошли туда, трое: моряк, молчаливый молодой человек в штатском — наверное, комсомолец, взятый на специальную работу в порядке «политического воспитания», и я.

Я взял с собою пару белья, еще что-то, что разрешил мой спутник. Долго раздумывал, надевать ли теплое или более легкое пальто. Взял теплое. Жена в последний момент посоветовала надеть калоши, хотя было сухо.

Комсомолец сел рядом с шофером. Мы с моряком поместились на заднем сидении.

Всю дорогу молчали.

Нетрудно было угадать, куда мы ехали. Спустились по Фундуклеевской на Крещатик. Поднялись по Институтской и въехали во двор главного управления НКВД.

По случаю праздника в здании светились только отдельные окна. Работы не было. По этой же причине и в комендантской со мной особенно не возились.

Сделали личный обыск, но довольно поверхностный, без тех унижительных подробностей, с которыми я познакомился позже. Заставили, однако, срезать все пуговицы и отобрали острые предметы — до зубной щетки включительно.

Коридор, куда меня вывели, выглядел совсем мирно, совсем, как в старое время, когда по нему шагали чинные пары институток в белых передничках.

И камера, где я, наконец, очутился, тоже не представляла собой ничего особенного. По размерам она была немного меньше комнаты, столько лет служившей мне квартирой.

Так оно и есть: микрокосм в макрокосме. Малая тюрьма в большой. Плен в плену!

Дверь закрылась, и снаружи щелкнул железный засов. Открылся глазок, и в нем мелькнул глаз, усталый и равнодушный. Но и это не произвело на меня особого впечатления. Я ничего не чувствовал, кроме усталости.

«Ничего не хочу, кроме тишины!» — вспомнился мне почему-то Саади.

Бегло осмотрелся в камере. Заметил, что окна, кроме решетки, закрыты железным щитом. В углу увидел неизбежную парашу. Не раздеваясь, даже не сняв пальто, бросился на койку.

«Гражданин, если хотите лежать, нужно раздеться!» — услышал я через внезапно отрывшийся волчок.

Ах, вот оно что! — Разделся. Потом все куда-то поплыло. Мелькнули какие-то тени... И исчезли.

О надежде можно еще спорить, но сон, это бесспорное благо! Не важно, был ли он в ларце Пандоры. Сон в тюрьме — это ни с чем другим в жизни несравнимая радость. Счастье! Избавление от страданий!

«Неполучение желаемого есть страдание. И встреча с нежелаемым есть тоже страдание, — говорил Будда. Но что же тогда избавление от нежелаемого? Этого Будда не заметил.

Но зато и самое, что есть наиболее тяжелое в жизни, самое большое страдание, которое уделено человеку, это — пробуждение в тюрьме.

Есть такая картина, кажется, одного из передвижников — Ярошенко. Впрочем, я не уверен. Называется она «Утро в тюрьме». Ничего там нет особенного. Но то, что на ней изображено, куда страшнее всех картин ада со всеми ужасами, которые могла изобрести пылкая фантазия самого необузданного воображения.

Ярошенко ничего не выдумал. Он незатейливо, без претензий поразить чем-то необычным, изобразил простую, самую обычную сцену повседневной тюремной жизни: сцену

пробуждения со всеми ее житейскими подробностями. Это — почти фотография. Но как много в ней настоящего, неподдельного ужаса, в этом возвращении от небытия к бытию, от грез к действительности.

Да, только человек способен так исказить созданное Божьими руками, превратив жизнь в нежизнь, сделав ее источником страданий и горя...

Спал я недолго — не больше часа, а, может быть, и того меньше. Усталость прошла. Заработала мысль.

Жизнь многообразна, но и однообразна в одно и то же время. То же и мысль. Нюансы могут быть разные, но главный мотив при одинаковых обстоятельствах, наверное, один и тот же у всех.

Сперва я почувствовал даже какое-то облегчение. «Конеч со страхом лучше, чем страх без конца!» Есть и такое изречение.

В последнее время было слишком много страха, и этого было достаточно, чтобы вконец отравить существование. Но насчет страха я ошибся. Настоящий страх был еще впереди...

Ощущение отдыха продолжалось не долго. Это была только минутная реакция на крайнее возбуждение прошедшей ночи.

Потом пришло отчаяние. Что-то сжало душу. Хотелось кричать, плакать, метаться, как дикий зверь по клетке.

Это самое страшное, что может случиться в жизни — очутиться в тюрьме. Остаться живым, сохранить способность думать, чувствовать, желать — и быть в то же время в могиле... перестать жить и все же быть живым.

Наш писатель Гаршин, покончивший с собой в приступе безумия, но и до того много раз переживавший приступы его, в одну из минут просветления написал, что самое большое несчастье в жизни — безумие.

Сойти с ума — хуже, — писал он, — чем заразиться чумой, сифилисом, пережить паралич, ослепнуть...

Судить трудно. Но человеку, попавшему в тюрьму, кажется, что ничего худшего быть не может.

Нужно учесть своеобразие условий советской жизни. Не надо забывать одного обстоятельства: советский человек, в подавляющем большинстве случаев, попадает в тюрьму не потому, что он совершил какое-то преступление, нарушил

какой-то закон. В факте своего заключения, естественно, он видит какое-то чисто стихийное несчастье — стихийную катастрофу.

Очувтившись в тюрьме, он чувствует себя во власти безграничного произвола. Никто его не защитит. Ничто ему не поможет: ни закон, ни общественное мнение, ни заступничество друзей или родных.

Переступая тюремный порог, советский человек, с одинаковой степенью вероятности ожидает и расстрела, и свободы.

Он во власти бездушной, беспощадной машины, стирающей в порошок человеческие жизни. Миллионы прошли через нее. И пройдут еще миллионы. Какое значение имеет здесь одна человеческая жизнь?

Чувство отчаяния усилилось от щемящей жалости к своим, оставшимся там, за стеной.

Жене завтра надо в клинику. Как оно будет? Что будет с детьми? Семьи арестованных переселяют. Куда? Как пересядут дети клеймо: отец — враг народа?

Очень характерная черта в психологии заключенных, почти всех, кого мне приходилось встречать: о себе думать меньше, чем о близких — своей жене, о детях. У кого нет собственной семьи — о родных, особенно о матери.

Помню, какой-то криминалист, долго и очень внимательно наблюдавший профессиональных преступников в тюрьмах одной из Скандинавских стран, отметил, как у многих заключенных, даже самых закоренелых преступников, воспоминание и любовь к матери принимают почти болезненные формы.

Всякое бывает в семейной жизни. Но в тюрьме для большинства заключенных их жены превращаются в светлых ангелов. Почти каждый из них вспоминает с угрызением совести, как мало он ценил свою жену, ее маленькие заботы, ее незаметный, но изнуряющий труд.

В тюрьме жалеют о многом. Самый частый мотив во всех камерных разговорах — это то, что не умели-де по-настоящему отличать настоящие ценности от мнимых, отметить шелуху от зерна, не умели по-настоящему жить, а, главное, не ценили свободы.

Естественно, здесь она кажется главным — чуть ли не вообще единственным благом.

Если душа еще не убита, то страдания очищают ее. В тюрьме мне стало ясно, что человеку легче нести свое страдание, чем то, что люди считают счастьем.

Счастье, в обычном его понимании, т. е. в смысле чисто внешнего благополучия, никого не возвышает. Но страдание многим помогает подняться. Не всем, конечно, и не всем одинаково. Только одного из двух разбойников, распятых одесную и ошуюю Христа, страдания привели к Богу.

Страдание ведет к Богу только тогда, когда оно сочетается с раскаянием. Раскаяние, зато, редко приходит без страдания. Это — божественная экономия, которую нам не дано постигнуть.

Мера моего страдания только начиналась. Я стоял еще в самом начале пути к своей Голгофе и даже не подозревал, какими терниями он будет услан.

Когда первые эмоции улеглись, я начал лихорадочно думать.

В чем могут меня обвинить? Только бы ИМ не стало известно мое прошлое. Его я тщательно скрывал и раскрытия его боялся больше всего на свете. Боялся не только из-за страха, но также из-за какого-то чувства стыда. Ложь всегда вызывает стыд. Даже ложь во спасение. Ибо и самая невинная ложь противна правде.

Других преступлений за мною, собственно, и не было. Но я тогда еще не знал, что никакого преступления и не нужно, чтобы быть раздавленным этой страшной машиной. Разве в жертву Молоху приносили в чем-либо виноватых?

И все-таки где-то в глубине сознания еще брезжила надежда. Опять ларец Пандоры?.. Не первый раз, думал я, пришлось мне очутиться в таком, как будто совершенно безвыходном положении.

И тут вспомнилась мне история моего настоящего плена.

Мы поспешно отступали от Перекопа. Я был серьезно болен, и отступление, более похожее на бегство, проходило для меня, как в угаре.

Только в Джанкое я пришел немного в себя и стал давать себе более ясный отчет в положении, в каком мы находились. Охватило сознание катастрофы — страшной и непоправимой. Это сознание давило тем больше, что катастрофа была не личной, а общей.

В таком походе, как наш, — ждать можно было всего. И у меня созрело твердое решение, непоколебимое: если дойдет до плена, не сдаваться, а покончить с собой.

Плена я, как и многие другие, боялся больше, чем смерти. И это не была рисовка. Рисоваться было не перед кем, не для чего. Просто, не было другого выхода.

Револьвера у меня не было, и я примерил свой карабин. Хороший был карабин, японского образца, изящный и легкий.

Не успели мы отойти от Джанкоя, по направлению на Севастополь, как в районе Кермин-Кемельчи попали в огонь. Начался бой. Последний для меня лично бой, последний и для белых. Он врезался в память навеки. Отдельные моменты у меня и сейчас стоят перед глазами.

Иногда мне удавалось быть смелым. Помню, как шел я под руку с молодым подпоручиком, только что произведенным из кадетов. Он совсем потерялся. Точно так, как когда-то несчастный Крестьянполь.

Помню досадный и смешной эпизод. В моем взводе ранило шрапнелью солдата. Я приказал доброволке-девушке сделать ему перевязку. А та, почему-то обиделась: «Господин капитан! Я солдат, а не сестра!» Кажется, первый раз за всю жизнь я ответил ей солдатский бранью.

Тогда же я пережил и нечто захватывающее, ни с чем не сравнимое по своей красоте: музыку во время боя!

В наше время обыкновенно этого уж не бывает. Но тогда, не знаю даже с чьей стороны, в самый разгар боя ударил оркестр. И его звуки смешались с выстрелами. Под музыку люди забывают и усталость, и страх...

Но тут началось то, чего я никогда еще не переживал: конная атака. С двух сторон шла на нас лава. С одной стороны — мионовцы с красными знаменами, с другой — махновцы, с черными. Лошади мчались галопом. Всадники — шашки наголо. Дикий, неистовый крик: «Ура!»

У нас все смешалось. Началось паническое беспорядочное бегство. Я сидел у пулемета на своей тачанке и видел, какие лица были у моих солдат и у обгонявших меня знакомых и незнакомых мне однополчан.

Ни в бою, ни под хмелем я не терял способности реагировать на окружающее. Мое несчастье: настоящего опьянения я никогда в жизни не испытал.

Взял в руки карабин. Приготовился. Однако, жизнь человека не в его руках...

Тачанка въехала на вспаханное поле. Лошади стали. Пришлось сойти на землю и бежать по полю, пока лошади не выедут на твердую почву.

Я соскочил, сделал два-три шага и вдруг почувствовал, как одна нога онемела, сделалась тяжелой, как свинец... Шрапнель... Помню даже сейчас лицо моего полкового товарища, полковника Иловайского. Он мчался мимо меня. Видел, что я ранен, но не решился меня подобрать, боясь потерять действительно драгоценное время.

Ни в тот момент, ни после я его не судил. Но не остался ли в его памяти вид погибающего на его глазах товарища, спасти которого у него не было времени?

Мой карабин остался на тачанке...

Ко мне с обнаженной шашкой скакал казак-мироновец, и я ощутил холод стали на своем темени — фуражка слетела.

Конец?..

«Не бойся, парнишка! — услышал я шепот у самого своего уха, — есть и у меня такой, как ты...»

Разве это не было чудом?

В разгаре боя, в момент конной атаки, какая-то сила разбудила в казаке-красноармейце человека. Она не позволила ему рубить голову лежащему врагу. Но подсказала отправить раненого в госпиталь, на лечение.

С верой у меня было трудно. Живого Бога я потерял еще в школе, как и большинство моих однокашников, готовясь стать «служителем культа».

Но спасение мое было в том, что потеряв Его, я никогда не переставал о Нем думать...

Думал я о Нем и теперь, в камере. Но еще не пришло мое время. Чаша моих страданий тогда только начинала наполняться.

В одиночке меня оставили надолго. Тогда мне было даже приятно. Правда, настоящего одиночества не было. Почти каждые пять минут открывался глазок, и там появлялся чей-то глаз — иногда равнодушный, почти невидящий, иногда внимательный и пытливый.

Кроме того, несколько раз в день «процедуры»: прием пищи, проверка, оправка. Время от времени — обыски,

бессмысленные и обидные, но составляющие обязательный ритуал, кажется, во всех тюрьмах.

Раз в месяц — баня, парикмахерская. Все это нарушало внутренний ритм жизни. Многим это доставляло даже известное развлечение, но меня раздражало, отвлекая от моих мыслей.

Думать я мог, так как на допросы меня пока не вызывали. Голод еще не мучил, как позже. Есть тогда мне совсем не хотелось.

Но необходимость все время сидеть очень утомляла. Лежать разрешалось только ночью, на короткое время сна.

Тогда я понял, что значит выражение «сидеть в тюрьме». Мы как-то не задумываемся над значением слов, ставших привычными. Кто из тех, кому не приходилось «сидеть», знает, какая страшная, чисто физическая пытка скрывается за этим невинным словом? Тот не представляет себе, что значит сидеть в течении восемнадцати часов в сутки! А я тогда еще и не знал, что кроме того, бывают и специальные «сидения», как один из приемов «следственного воздействия».

Времени было достаточно, и я начал просеивать свою жизнь.

Хотелось подвести кое-какие итоги, привести прошлое в какую-то систему. Как это вышло, что я очутился здесь, за этими стенами? Могло ли этого не быть? Закономерность ли это, или сплетение случайностей?

Когда я стал перебирать события своей жизни, одно мне стало ясно: насколько индивидуальное и неповторимое в ней переплетались с общим, насколько общее подчинило и проникло собою личное, наложив на него неизгладимую печать.

Это сохраняет свое значение для всех эпох. Известное изречение, согласно которому «под каждой могильной плитой покоится всемирная история», — совсем уж не такой парадокс.

В нашу эпоху и при том строе, который существует в нашей стране, и подавно, индивидуальное является только осколком общего. История любой — даже самой маленькой — жизни может служить здесь историей целой системы.

Тогда уже мне приходила мысль — если случится выйти на свободу, написать историю своей собственной жизни. Но не так, чтобы в ней отразилась, поглотив ее, история системы.

Глава 6. ПЕРВЫЕ УРОКИ

Итак, свершилось...

Арест, наконец, состоялся. Арест, которого я ждал со дня на день, вернее — с ночи на ночь, в течение всего года, не одного этого года, но этого года, в особенности.

Невольно может возникнуть вопрос: а почему нужно было ждать ареста? Какую вину чувствовал я перед властью?

Правду говорю — никакой. Во всяком случае, такой, которая должна была бы повлечь за собою арест.

Нехорошим у меня было только социальное происхождение. Оно всегда служило основанием для подозрительного отношения большевистской власти, несмотря на сталинское: «сын за отца не отвечает».

Со всей откровенностью должен сказать, что ни тогда, ни после активным врагом советской власти я не был, хотя со многим не был согласен, а отдельные явления установившегося режима вызывали у меня недоумение, а подчас и возмущение.

Но как же могло быть иначе? Да разве существовали такие советские люди, согласные со всем, принимавшие без тени критики все, что вокруг них происходило? Я имею в виду не общественную открытую критику, не допускавшуюся режимом, а внутреннюю, интимную, до которой, по настоящему, никому не должно быть дела.

Во время проработки меня обвиняли в «буржуазности», «идеализме», «антимарксизме». Но это были явные преувеличения, что хорошо понимали и мои критики.

Мне претила догматизация марксизма, превращение его в канонизированную официальную доктрину, схоластизм или талмудизм в ее применении.

Но ряд положений так называемого диалектического материализма я тогда разделял.

Я считал их бесспорными, независимо оттого, Маркс или кто другой дал им окончательную формулировку.

В преподавании, в работах я имел перед собой печальный опыт своих коллег, старался следовать принятой доктрине, хотя при извилистости и постоянных колебаниях «генеральной линии» это было не так легко.

И при всем этом, т. е. при моей лояльности в отношении как режима, так и доктрины, я ждал ареста. Почему?

Потому же, почему и все прочие советские граждане, в основной своей массе также лояльные, всегда находятся под страхом ареста, потому, что непрерывные аресты происходят среди знакомых и не знакомых, далеких и близких... Потому, что перманентные чистки и проработки приучили каждого к сознанию за собой какой-то вины, к какому-то почти мистическому ощущению «первородного греха», к ожиданию неизбежной кары.

Когда по выполнению неизбежных формальностей я очутился под утро в одиночной камере, я мог свободно предаться размышлениям, которые, естественно, сводились к такому вопросу: чего мне ожидать? В чем будут меня обвинять? Что я могу сказать в свою защиту? Какого я могу ждать наказания?

Наверно, меня обвинят в том же, в чем уже обвиняли во время «проработок»: в «методических и идеологических извращениях».

Но теперь уже, очевидно, это будут извращения «умышленные», «злостные», «преступные»...

А я повторю то же, что говорил «в порядке самокритики»: ошибался, но кто ж не ошибается? Грешен, но кто из нас без греха?

Конечно, арестованные раньше меня друзья и коллеги могли «наговорить».

И все разговоры в тесном кругу за рюмкой водки или чашкой чая, все эти сомнения, вопросы, критические замечания будут теперь сочтены за проявление «антисоветских настроений» или за «контрреволюционную агитацию».

За это, конечно, придется ответить, но это не так страшно. Года три концентрационного лагеря или ссылки в Сибирь? С этим нужно примириться, как мирятся люди с болезнью. Кто в Советском Союзе не «сидел»? Недаром существует поговорка, что советских граждан можно разделить на три группы: сидящие, сидевшие и тех, кто будет сидеть...

Такие мысли мелькали у меня в одиночке, но их прервали переводом меня в обычную камеру в той же внутренней тюрьме.

В новой камере я получил свои первые тюремные уроки, открывшие мне советскую действительность. Я понял ее в несколько другом свете, чем я представлял ее себе раньше.

Там и началась для меня настоящая «школа большевизма».

Первым моим тюремным товарищем оказался Зуйченко, рабочий-металлист, бывший когда-то активным участником махновского движения. Он отбыл восемь лет царской каторги за принадлежность к анархистам и участие в совершении террористических актов. Побывал дважды и в советских лагерях.

Зуйченко был ярким представителем, по советским понятиям, «бывших» особой категории людей, всегда служивших определенным объектом большевистского террора.

Обвиняли его в участии в «подготовке вооруженного восстания против советской власти». В чем заключалась эта подготовка и само восстание, я расскажу позже.

Вторым моим сокамерником был Иоганн Гресель, германский рабочий, приехавший в Советский Союз в годы безработицы. Он думал найти здесь кусок хлеба, а попал за решетку НКВД по обвинению в фашизме.

Настоящая же его вина заключалась в том, что, живя с женой, тещей, свояченицей и грудным ребенком в одной комнатухе с протекающим потолком, он безуспешно толкался от одной двери к другой и, наконец, выйдя из себя, сказал какому-то начальнику, даже не из особенно высоких: в капиталистическом мире собаки живут лучше, чем рабочие в стране трудящихся.

Гресель был «иностранцем», а очень скоро я убедился, что иностранцы самого разнообразного происхождения и положения являлись, наряду с «бывшими», основным населением советской политической тюрьмы.

Кроме Зуйченко и Греселя, моими товарищами по камере были: бухгалтер, бывший в 1917 году членом Украинской Центральной Рады и обвинявшийся, естественно, в украинском национализме, также — из категории «бывших».

Опять-таки «бывший», казачий полковник, долгие годы работавший в качестве чернорабочего на кирпичном заводе, но теперь, наконец, обнаруженный и «посаженный» за участие, якобы, в Российском Общевоинском Союзе — политической организации «белых» эмигрантов за границами Советского Союза.

Кроме того в камере сидели: какой-то плановик, вина которого была неопределенной, хотя обвинялся он в таком странном преступлении как террор. И еще два специалиста

лесного дела, относившихся к категории «спецов» и обвинявшихся во «вредительстве» и «саботаже».

От своих товарищей по несчастью я получил первые необходимые сведения, касавшиеся моей дальнейшей судьбы и вводившие меня в курс всей практики советского политического судопроизводства во всех его стадиях — от предварительного дознания до приведения приговора в исполнение.

И, хотя кое-что я знал или, вернее, кое о чем догадывался еще на свободе, но многое оказалось для меня совсем неожиданным.

Прежде всего — процедура предварительного дознания и методы судебно-политического следствия. В виде «наглядного пособия» мне был продемонстрирован бухгалтер-националист.

Бедняга неподвижно лежал на животе, так как вся задняя часть его тела была превращена в сплошную рану: такова оказалась процедура допроса.

В последнее время в публику начали проникать слухи о том, что арестованных в НКВД во время допросов жестоко избивают, а порою подвергают и пыткам. Но я относился к этим слухам с некоторым недоверием, считая их, если не вымыслом, то преувеличением, и уж, во всяком случае, не допускал, чтобы подобные «приемы следственного воздействия» применялись совершенно открыто и носили массовый характер.

Это плохо вязалось с общим направлением большевистской пропаганды, с принципами столь торжественно провозглашаемой советской демократии, со «сталинской заботой о живом человеке».

В камере меня познакомили со всеми «приемами следственного воздействия», с тем, чтобы я, идя на допросы, был психологически ко всему подготовлен.

Мои последующие наблюдения и личные переживания подтвердили точность полученных в камере сведений.

Тогда существовала целая «система следственного воздействия», разработанная во всех деталях и применяемая следователями НКВД не без учета личных качеств каждого подсудимого.

Начиналось обыкновенно с «уговаривания»: следователь убеждал подсудимого добровольно сознаться в своей вине и обещал ему в этом случае полное прощение.

Приемы «уговаривания» отличались порой большой изощренностью и тонким знанием психологии и учетом особенностей своеобразного большевистского мировоззрения, которое носит на себе печать настоящей религиозно-мистической веры.

В отдельных случаях стадия «уговаривания», «увещевания», «убеждения» длится довольно долго. В применении к интеллигентам один этот прием чаще всего достигает требуемых результатов, и они подвергаются ему особенно интенсивно.

За «уговариванием» следовали угрозы и устрашение: угрожали тяжелыми последствиями в случае упорства, тюрьмой, каторгой и расстрелом. Угрожали репрессиями по отношению к членам семьи и близким лицам.

Такие угрозы, подтверждавшиеся наглядными доказательствами, также имели свое действие, особенно угроза репрессий по отношению к семье: у большинства арестованных появлялась повышенная, доходящая иногда до болезненности тревога за свою семью, за близких, а следователи хорошо умели пользоваться этим.

Когда были исчерпаны средства убеждения и устрашения, то переходили к разным способам непосредственного воздействия. Например, «конвейер» — допрос, продолжавшийся почти без перерыва в течении многих суток, «выстойка», когда допрашиваемого заставляли стоять в течении многих суток, не позволяли спать и доводили его, таким образом, до бредового состояния, до полной потери воли и самообладания. За всем этим следовали или все это сопровождали побои.

Побои — самый распространенный прием следственно-го воздействия в практике НКВД, причем очень часто он применяется уже в самом начале следствия.

Из всех лиц, встреченных мною за время двухлетнего пребывания в тюрьмах НКВД, избитию не подвергались только единицы, в виде исключения, а как правило, в большей или меньшей мере избитию подвергались все заключенные.

Побои производились самими следователями, а их орудием являлась обычно ножка от стула с острыми концами: НКВД очевидно не хочет оставлять «вещественных доказательств» своей практики применением каких-либо специальных инструментов в виде каучуковых палок и т. п.

Избиение производится систематически, в порядке следственного воздействия, а не в виде каких-то садистических извращений.

Например, я лично видел, как у одного подследственного (профессора Ланге) вся задняя часть тела была черной от побоев, за исключением одного только места для сидения: оно было оставлено нетронутым для того, чтобы подследственный имел возможность сидя писать свои показания после того, как «следственное воздействие» дало на него ожидаемые результаты.

Степень избиения бывает разной в зависимости от упорства подследственного — от незначительных побоев до тяжелого членовредительства.

Я видел людей с оторванными ушами (между прочим, бывшего заместителя народного комиссара по просвещению, Льовшина), с поломанными ребрами, руками, ногами, с отбитыми почками, легкими и т. д.

Немало было случаев, когда избиение кончалось смертью (например, бывшего заместителя народного комиссара внутренних дел Броневого, о котором ниже).

Избиения часто соединялись и с более рафинированными средствами воздействия. Наиболее популярными были «футбол» и «самолет».

«Футбол» заключался в том, что подследственного бросают на пол и затем ударами ног перебрасывают из угла в угол комнаты, а «самолет» состоит в том, что подследственного сажают на стул, поставленный на нагроможденные один на другой столы, и затем вытаскивают из-под него стул так, чтобы он с размаху ударился о пол. Этот прием повторяется до потери сознания допрашиваемого или до полного его искалечения.

Как сказано, избиения были обычным приемом, которому подвергались, в большей или меньшей мере, почти все.

Но существовали и более изощренные методы следствия: подследственным выламывали суставы, искалывали лицо иглой с учетом при этом нервных сплетений; зажимали пальцы дверью и т. д.

Эти приемы не имели массового применения, хотя и не были единичными явлениями. Мне лично пришлось встретить ряд лиц, которые им подвергались.

Необходимо отметить такой характерный факт: наиболее жестоким средствам следственного воздействия подвергались

арестованные сотрудники самого НКВД, члены партии и командиры Красной Армии.

Это — именно потому, что у них труднее всего вынудить признание в преступлениях, которых они никогда не совершали.

Столь своеобразные методы следственного воздействия были первым, о чем я узнал в камере от своих товарищей. Но узнал я еще очень много: прежде всего, что те преступления, в которых обвиняли на следствии и обязательного сознания в которых добивались всеми путями и средствами, вовсе не соответствуют действительной вине заключенных, если вообще такая вина имеет место.

Иначе говоря, все следствие НКВД построено на том, чтобы добиться от подсудимого — во чтобы то ни стало и ценой каких угодно пыток — признания в несуществующих преступлениях, признания каких-то фикций, а не обнаружения действительных фактов.

Схема обвинения строится по очень однообразному трафарету, на основании так называемых «объективных признаков».

«Объективные признаки», на принятом в НКВД официальном жаргоне, это — либо биографические данные обвиняемых, их социальное происхождение, прежний род деятельности, родственные и личные связи и отношения, либо секретные данные из «заявлений» или «сводок» секретных агентов («сексотов»), данные об их политических настроениях, обнаруживаемых в частных разговорах или каким-либо иным путем.

Таким образом получалось, например, что мой сосед по камере — бухгалтер, бывший член Центральной Рады, оказывался «участником буржуазно-националистической организации, готовившей вооруженное восстание против советской власти», хотя за все время своей деятельности он, помня о своем «первородном» грехе, старался быть тише воды и ниже травы. Ни о каких восстаниях против советской власти он и не помышлял.

Старый казачий полковник, скрываясь на кирпичном заводе в качестве чернорабочего, день и ночь боялся, как бы его не обнаружили, и едва ли он даже слышал о существовании за границей такой организации, как РОВС. Но, тем не менее, он должен был дать сейчас показания не только об участии в этой организации, но и о совершении «диверсионных актов».

Самым трудным для обвиняемых было то, что всю фабулу своего обвинения, всю «легенду» или «пьесу» — также почти официальные выражения советской следственной практики — они должны были строить сами, заботясь о том, чтобы эта фабула выглядела наиболее правдоподобно во всех ее подробностях.

Это, быть может, — самое невероятное во всей описываемой здесь истории: каждый обвиняемый, находящийся под следствием НКВД и подвергшийся тем или иным приемам следственного воздействия, напрягал все свои способности, чтобы помочь следствию, т. е., насколько можно, обвинить самого себя, подыскать как можно больше обвинительного материала против самого себя.

Впрочем, практика «самокритики» во время проработок и чисток для многих была хорошей предварительной репетицией: ведь и тогда оправдывать себя или хотя бы пытаться смягчить вину, ссылаясь на «объективные обстоятельства», считалось чем-то совершенно недопустимым. Наоборот, чем человек больше каялся, чем больше обвинял и себя и других, тем больше он имел шансов на признание его «настоящим большевиком».

Создание обвинительной фабулы или «пьесы» для многих подследственных сопровождалось настоящими «муками творчества». Люди с недостаточной фантазией и комбинаторскими способностями от этого прямо страдали. На помощь им приходили «камерные консультанты» — добровольные или подосланные самими следователями.

Из чувства сострадания к своим сокамерникам, по соображениям личной выгоды — рассчитывая подслужиться к начальству, или по каким-либо иным мотивам эти «консультанты» помогали своим товарищам сочинять «пьесы». Они облегчали своим сокамерникам следственную процедуру, освобождали их от разных приемов «воздействия», а самому НКВД облегчали задачу «ликвидации врагов народа».

Я лично встречал подобных «консультантов», известных тогда во всех тюрьмах киевского НКВД.

«Пьесы» отличались иногда большим реализмом и поражали согласованностью своих частей. Но чаще всего они были довольно аляповатыми, однообразными, фантастическими преувеличениями.

Мой сосед, Зуйченко составил «пьесу», более или менее удачную, и она, кажется, помогла ему окончить его бурное и многострадальное существование.

В том городе, где он работал формовщиком на заводе, происходили обычные занятия (Общества Содействия Обороне) с маневрами, походами, состязаниями и пр.

Чего же было проще, как представить эти занятия в виде «скрытой подготовки к мобилизации сил для вооруженного восстания против советской власти»?

И по этой фабуле попали в камеры НКВД, а оттуда в могилу или Сибирь, и сам Зуйченко, и директор его завода, и секретарь районного комитета партии, и очень многие рядовые рабочие, крестьяне, служащие.

Характерно, что Зуйченко сидел на этот раз не по обвинению в участии в махновщине — за это уже дважды сидел, но как «участник антисоветского вооруженного выступления».

Я не могу рассказывать здесь о всех тех «следственных пьесах», о которых узнал в камере. Но не могу умолчать о столь характерной, как показание одного киевского рабочего о намерении взорвать на воздух остров, лежащий на Днепре, против города, или, еще лучше — показание рабочего харьковской мастерской по изготовлению наглядных пособий для школ: он заявил на следствии — неизвестно, после какого «приема воздействия», — о том, что мастерская собиралась с помощью «искусственных вулканов» взорвать на воздух... СССР!

Бедняга не отличался ни техническими познаниями, ни чувством реальности. Хотя, кто знает, может быть у него было достаточно чувства юмора?

Каждая обвинительная фабула должна была обязательно включить в себя пункт о так называемых «вербовках». Обязательные вопросы следователя были: «Кто тебя завербовал?», «Кого ты завербовал?», т. е. кто вовлек воображаемого политического преступника в контрреволюционно-шпионскую, заговорщицко-террористическую, инсургентскую и т. д. организацию, или иначе: кто привлек его к совершению (предполагаемого, конечно) преступления и кого он, в свою очередь, привлек к нему.

Другими словами, каждый обвиняемый должен был называть своих мнимых соучастников — возможно большее число лиц, заботясь при этом о некотором правдоподобии.

Пьеса должна была оставаться более или менее реальной. Неудобно было бы назвать, скажем, духовную особу, да еще преклонного возраста, в качестве вооруженного инсургента — к такой роли более подходил бы какой-нибудь военный, и помоложе; но зато она вполне сошла бы за идеологического вдохновителя, агитатора и т. п.

Этот пункт был особенно щекотливым. Легче обвинить самого себя, чем оговаривать других. Поступали в этом случае по разному: одни, заглушив в себе совесть, называли в качестве своих «вербовщиков» или «завербованных» всех, кого могли вспомнить, и кто хоть сколько-нибудь подходил к приписываемой им роли, другие пытались спасти остатки совести тем, что называли не допросе людей, уже подвергнувшихся репрессии — таких, следовательно, которым, как им казалось, уже нельзя было повредить, третьи приводили имена умерших или несуществующих на свете лиц, что иногда тоже сходило.

Но, как бы то ни было, эти «вербовки» сыграли огромную роль в массовых арестах. На основании их было арестовано и подвергнуто «следственному воздействию» много советских граждан.

НКВД заботилось о том, чтобы иметь хотя бы какой-нибудь формальный повод для ареста известного лица. Этот повод давало показание арестованного — пусть даже это показание было вынужденным.

А дальше все шло, как в заведенной машине: арестованный сам потрудится потом над созданием обвинительного материала, достаточного для его ликвидации, стоит только над ним поработать.

То, что мне пришлось узнать в первый день сидения в камере, дало другое направление моим мыслям: моя обреченность стала для меня очевидной!

«Оставь надежду всяк входящий...»

Глава 7. МОЕ «ДЕЛО»

Из рассказов сокамерников я понял, что мое «дело» принимает более серьезный оборот, чем я предполагал. О таких «приемах следственного воздействия», как ножка от стула, я вообще раньше не думал.

О «вербовках», «объективных данных» и «пьесах» имел только самое смутное понятие. Мало что знал я «на воле» и о судебной процедуре НКВД, которая вполне соответствовала процессу следствия: обо всех этих «особых совещаниях», «тройках», «выездных сессиях военной коллегии» и прочих органах советского правосудия, которые решали дела очень скоро, но «никогда несправедливо».

Судебное разбирательство было упрощено до крайности. Приговоры чаще всего выносились заглазно, не только без участия «сторон», но даже в отсутствии самого обвиняемого, в каких-то таинственных «особых совещаниях» и «тройках».

Но если даже имело место судебное разбирательство — на выездных сессиях военных коллегий Верховного суда, то оно сводилось к тому, что обвиняемому ставили только один вопрос: признает ли он себя виновным в тех преступлениях, которые изложены в его обвинительном акте?

И затем, независимо от его ответа, выносили приговор — почти всегда обвинительный.

В отдельных случаях дело передавалось на доследование, но никогда и никто не выходил из суда оправданным: подсудимый мог быть освобожден следственными органами НКВД, но никогда не мог быть оправдан по суду, вопреки предварительному следствию.

Ведь такое оправдание было бы равносильно покушению на авторитет НКВД, а это в советской системе совершенно невозможно — НКВД непогрешим так же точно, или еще больше, чем правящая партия в лице ее вождя...

Идя первый раз к следователю, я думал о том, какого рода «фабулу» мне придется измышлять, как поставить ее в соответствие с моими «объективными данными», как быть с «вербовщиками»?

Интересно, что об отрицании за собой всякой вины вообще, о своем самооправдании я совершенно не думал: каждому советскому человеку вбито в голову, что самооправдание в таких случаях равносильно сомнению в непогрешимости НКВД и может только ухудшить положение. НКВД, мол, знает, что делает, и если он кого-либо арестовал, то на это есть политические основания. Никому не позволено оспаривать эти основания, хотя бы от этого зависело собственное существование.

Гневного бога еще можно попытаться умиловить, но бороться с ним? Практика самокритики приучила людей не оправдываться...

Мои «объективные данные» подсказывали мне обвинение в «идеологическом саботаже» и «контрреволюционной агитации» — к этому можно было «подогнать» мои «методологические» ошибки и погрешности, о которых я так много наслушался во время проработок.

Дело, однако, оказалось серьезнее.

Мой первый следователь — Шапиро, начальник самого страшного — Третьего отдела НКВД, ведавшего делами о шпионаже, терроре и подобных вещах, встретил меня обычным вопросом: признаю ли я себя виновным в антисоветской деятельности?

Я пытался отвечать уклончиво, в том смысле, что если, мол, считать контрреволюционной деятельностью ошибки в изложении курса, в формулировках, так же как и замечания или высказывания в частных беседах, то, конечно, я должен быть признан контрреволюционером, и т. д. в этом же духе.

На это последовала непечатная брань моего следователя, а после этого — начало следственного воздействия.

Из приемов воздействия ко мне лично применены только «конвейер» и «лишение сна» — об «уговаривании» и «устрашении» я не говорю.

Я подвергался допросу почти без перерыва с 18 марта (дня ареста) до 10 мая — в течении почти пятидесяти дней.

Спать мне приходилось по два или три часа в сутки и то, не лежа, а полусидя, в промежутках между допросами.

Бывали же и такие сутки, когда я не мог заснуть хотя бы на один всего час... Это довело мои нервы до состояния крайнего напряжения, и я не знаю, подействовали ли бы потом избиения, так как я начал терять всякую чувствительность, всякое вообще ощущение внешнего мира.

За это время у меня сменилось тринадцать следователей. Как я уже потом узнал из своих камерных встреч, половина из них была в разное время арестована, разделив, таким образом, судьбу своих подследственных.

Это — тоже одна из подробностей «ежовщины»: наряду со всеми прочими, «изъятию» и «ликвидации» подвергались также и чекисты, сотрудники НКВД, и притом в таком количестве,

что на некоторых местах и должностях сменились по три, четыре и больше занимаемых их лиц.

Даже в должности самого народного комиссара внутренних дел на Украине, например, за это время сменились: Валицкий, Леплевский и Успенский, ликвидированные один за другим.

Каждый следователь начинал мое «дело» снова, с самого начала, даже не интересуясь его предыдущей стадией.

Каждый последующий был требовательнее предыдущего. Дело же непрерывно нарастало, подобно снежной куче, принимая более серьезный оборот.

«Идеологический саботаж» и «антисоветская агитация» не прошли, — этого оказалось слишком мало. Меня обвинили в «подготовке вооруженного восстания против советской власти» и «участии в подготовке террористических актов, направленных против вождей партии и, в частности, против Косиора».

«Объективным» основанием для этих обвинений служило то, что я в течении нескольких лет состоял научным сотрудником академических учреждений, возглавлявшихся известным украинским политическим деятелем и историком М. Грушевским, с которым я лично был знаком.

По каким-то одному НКВД известным соображениям нужно было представить всю научно-организационную деятельность Грушевского на Украине в годы советской власти как средство скрытой политической борьбы, сводившейся, в конечном счете, к свержению советской власти. Следовательно, всякий, кто к этой деятельности имел какое-либо отношение, являлся соучастником антисоветской политической организации.

В этой «пьесе», созданной НКВД, и мне лично отводилась какая-то роль, которую мне надлежало сыграть на следствии, а, может быть, на показательном судебно-политическом процессе, который, как будто, предполагался.

Естественно, я сопротивлялся, тем более, что от меня, как от всякого другого, в подобных случаях требовалось показание не только о себе лично, но и о всех, «вербовавших» меня и «завербованных» мною.

Самому М. Грушевскому я повредить уже не мог, так как он умер за несколько лет до моего ареста. Но оставались еще его дочь, жена, брат и невестка. Оставались и многие так же,

как и я, бывшие сотрудники его учреждений, потенциальные участники «контрреволюционной организации».

Между прочим, «объективным основанием» для обвинения в «участии в контрреволюционной организации может служить не только совместная служба или работа, но также и простое знакомство, дружеские встречи за игрой с карты, за рюмкой водки и так далее.

Благодаря этому, каждый советский гражданин имеет основание быть обвиненным и подвергнуться аресту, особенно, если еще к этому присоединяется подходящее социальное происхождение или другие такие же «объективные признаки».

Спротивление мое было, наконец, сломано «конвейером» с лишением сна и угрозами избиения — угрозами, сомневаться в осуществлении которых у меня не было ни малейших оснований, а главное — «очной ставкой» с дочерью самого Грушевского и с моей коллегой по университету — проф. Мирза-Авакьянц.

Е. М. Грушевская на очной ставке со мной заявила, что я, действительно, был соучастником возглавлявшейся ее покойным отцом контрреволюционной организации, направленной к подготовке вооруженного восстания и к свержению советской власти.

Тут же, во время очной ставки, следователь показал мне и письменное показание покойного М. С. Грушевского, собственноручно им написанное, в котором он признавал свои академические учреждения не более, как внешней формой, за которой скрывалась активно враждебная советской власти политическая организация.

Что мне оставалось делать?

Мирза-Авакьянц заявила также, что Наталия Крупеник, жена наркома Любченко, рассказывала, будто бы, ей лично о том, что я давно состою участником подпольной националистической организации, которую одновременно возглавляли Грушевский и Любченко. Я прекрасно понял, чем были вызваны такие показания, но, вместе с тем, для меня стало ясно, что дальнейшее мое сопротивление бесполезно, так как следствие располагает уже нужным ему обвинительным материалом, достаточным, во всяком случае, для моей ликвидации.

И я признал себя виновным в участии в подготовке на Украине вооруженного восстания против советской власти.

Тогда я понял, наконец, поведение Зиновьева, Бухарина и других вождей оппозиции, фигурировавших на судебных процессах, и так легко, казалось, соглашавшихся со всеми возводимыми против них обвинениями.

Аналогия со средневековыми процессами ведьм перестала казаться мне шуткой.

Со своими «вербовками» я кое-как справился: среди своих «соучастников» я называл либо умерших — М. Грушевского, П. Любченко, М. Скрыпника, что облегчалось для меня содержанием самого «дела», либо ранее меня подвергшихся репрессии, считая, что мои показания им не могут повредить, поскольку они «свое» так или иначе уже получили.

В тех же случаях, когда приходилось называть лиц живых и бывших еще на свободе — акад. Крымского, Ал. Грушевского, проф. Тимченко — я приводил только те общеизвестные данные, которые давно уже были опубликованы в советской прессе или публично оглашались во время чисток и проработок.

Все шло уже, как по маслу. К концу «конвейера» мне разрешили даже спать по несколько часов с сутки, а одно обстоятельство говорило даже о значительном облегчении всего «дела»: неожиданно следователь предложил мне изъять из моего показания пункты о терроре.

Это я сделал очень охотно, так как «террор» котировался серьезнее вооруженного восстания, и я особенно боялся и упорно сопротивлялся прежде, чем включить и его в свои показания.

Согласился я на террор только в состоянии крайней апатии и депрессии, вызванной длительным лишением сна.

Сначала я предполагал, что террор «сняли» у меня только потому, что он не был обоснован «объективными показаниями» и вообще мало вязался со всем прочим содержанием моих показаний.

Однако, потом оказалось, что и у всех других «террористов», которых было немало и которые в своих показаниях о терроре называли имя Косиора, секретаря ЦК коммунистической партии Украины, террор был снят.

Из этого обстоятельства в камерах сделали совершенно правильное заключение: «Косиор — сел», т. е. арестован.

Это и подтвердилось, когда к нам явились свежие арестованные — единственная наша связь с внешним миром и единственный источник политической информации.

Террор-то мне «сняли», но радость моя была преждевременна, так как вместо него, мне «пришили» шпионаж.

подавляющее большинство арестованных в 1937—1938 гг. обвинялись именно в шпионаже. Было какое-то наводнение шпионов, — германских, японских, румынских, польских и т. д.

Мне казалось несколько странным, что в моей обвинительной фабуле фигурировали «вооруженное восстание» и «террор», а не шпионаж — не было, как я думал, «объективных данных».

Но они нашлись и самого полноценного качества, и в нужном количестве. Перечислю их по порядку.

Несколько лет подряд я был руководителем византологической комиссии Украинской Академии Наук.

Так как названия «византология», «византологический» казались реакционными, их заменили названием «Ближний Восток», а в круг вопросов, составлявших компетенцию комиссии, включили и вопросы по истории Турции, Ирана и других стран Востока.

Это обстоятельство «объективно» связало меня с «восточными державами», из которых самой опасной для Советского Союза была, разумеется, Япония. И хотя последняя не принадлежала к «Ближнему Востоку», но это была уже тонкость, которая могла и не интересовать придававших мало значения деталям следователей НКВД.

Второе: в порядке так называемой общественной работы и шефства научных работников над Красной Армией, я должен был читать доклады и лекции по истории военного дела в древности и в средние века высшим командирам Красной Армии, так как советские власти заботились о поднятии их общего образовательного уровня. Это объективно «связывало меня с Красной Армией», давая мне возможность «собирать шпионские сведения».

Необходимы были еще пути и средства связи с представителями и агентами соответствующих держав. Нашлись и они.

Во-первых, в 1937 году я присутствовал на торжественном банкете, который устраивало Общество культурной связи с заграницей в Киеве в честь известного чешского ориенталиста, профессора Грозного.

Я даже разговаривал пять-шесть минут с этим знатным иностранцем, а этого было вполне достаточно, чтобы он успел

«завербовать» меня на службу какой-нибудь иностранной разведки.

Кстати, должен здесь сказать, что сам председатель названного общества, некий Величко, был арестован еще до меня, а его преемника Смирнова я также встретил потом в одной из камер.

Кроме того, председатель комиссии по шефству научных работников над Красной Армией, на котором лежала организация всей лекторской работы, проф. Майлис, мой коллега и добрый приятель, в этом же году ездил читать лекции в частях Красной Армии, расположенных на Дальнем Востоке — очевидно, также с целью шпионажа и установления связи с японской агентурой.

Очевидным это было уже потому, что он был арестован, а «НКВД напрасно никого не арестовывает».

Я отчитывался в своей работе перед Майлисом, а он уже передавал полученные от меня сведения куда нужно, по назначению.

Так он и показал под влиянием соответствующего воздействия.

Облегчил же задачу составления обвинительной фабулы, как ему, так и мне, камерный консультант, проф. Сухов.

Отличаясь живостью воображения и воспользовавшись такими «объективными признаками» своей собственной биографии, как случайная встреча с японским консулом в Одессе, он составил сложную и занимательную «пьесу», в которой роль была отведена и мне, и Майлису, и многим другим, конечно, в том числе известному украинскому ориенталисту Крымскому и даже президенту Украинской Академии Наук Богомольцу.

Между прочим, НКВД занималось и тем, что собирало — так сказать, на всякий случай, заготавливая, как бы впрок — «компрометирующие» и обвинительные материалы вообще против всех высокопоставленных лиц, чтобы пустить в ход эти материалы в надлежащий момент. Делалось это просто: от лиц, подобных Сухову, получали нужные показания против кого угодно и «подшивали» эти показания к «делу».

До поры до времени это не мешало лицам «скомпрометированным» получать советские ордена и высокие звания, но, когда наступал подходящий момент...

Профессор Крымский еще в 1940 году получил орден по случаю своего юбилея, отпразднованного с огромной помпой, а уже в 1941 году, в начале войны, оказался арестованным.

Всем свой черед!..

Итак, я оказался шпионом в пользу Японии. Шпионские сведения я передавал Майлису, а тот через Сухова направлял их японской агентуре. Это получалось довольно стройно. Оставалось еще придумать, какого же содержания были мои «осведомительные материалы»? Что мог я узнавать интересно для Японии о Красной Армии во время моих лекций?

Я не мог придумать ничего более подходящего, как то, что «высшие командиры Красной Армии, до командира дивизии включительно, не могут отличить Наполеона III от Наполеона I, и Цезаря от Александра Македонского».

Это сошло под рубрикой «сведения о морально-политическом состоянии командиров Красной Армии».

Мог ли я сопротивляться? Мог ли отрицать эти обвинения и отказаться от роли, отведенной мне в «пьесе» Сухова и одобренной следователем НКВД?

Рискуя поломанными ребрами, отбитыми почками и пр., мог бы. Но к чему? Ведь два свидетеля — Сухов и Майлис — были уже налицо, а этого было вполне достаточно для обвинительного приговора. А интересы Истины?..

Нет. Я не имел силы ради нее идти на распятие. В этом мой грех.

Все, кто не прошел через чистилище НКВД, не испытал всех приемов его следственного воздействия, пусть со спокойной совестью забросают меня камнями...

Глава 8. В БОЛЬШОЙ КАМЕРЕ

Я подписал показание, в котором обвинял себя в таких страшных преступлениях, как участие в подготовке вооруженного восстания и шпионаже в пользу Японии.

Преступления квалифицировались следствием по п. 1А, ст. 56 Уголовного Кодекса, т. е. как «измена родине». Подавляющее большинство заключенных квалифицировались по этой статье, а она заключала в себе только одну санкцию: «высшую меру социальной защиты» — расстрел.

На что мне оставалось надеяться?.. На возможность отказа от своих показаний, в которых каждое слово было вымыслом, которым следствие так же мало верило, как и их автор?

Но отказ от показаний имел бы смысл в том случае, если бы то же самое сделали и все впутанные или, вернее, впутавшиеся в дело лица.

А какой смысл будет иметь мой отказ, если Майлис, Сухов, Грушевская и другие мои злополучные товарищи будут упорствовать в своих показаниях?

Сговориться же с ними не было никакой возможности при строгой системе взаимной изоляции, принятой в местах предварительного заключения НКВД.

К тому же, отказ от показаний имел обыкновенно только один результат: новое следствие, сопровождавшееся значительно более сильными дозами следственного воздействия, которых уже никто не выдерживал.

Зачем излишняя проволочка? Какой угодно конец лучше, чем ужас без конца...

Правда, оставалась еще одна, последняя надежда. Если аресты и следовавшие за ними репрессии происходили по каким-то политическим основаниям, известным только НКВД, без всякой при этом вины арестованных, а вся следственно-судебная процедура являлась не более, как инсценировкой, мистификацией, то так же точно происходило освобождение заключенных — тоже без всяких видимых оснований, по соображениям, известных только НКВД.

Бывали случаи, когда лица, приговоренные к расстрелу, спокойно разгуливали потом на свободе — без всякого ущерба в своем служебном положении, иногда даже и с повышением.

Это казалось почти лотереей, с одинаковыми шансами проиграть и выиграть. Диапазон возможностей был огромный: от расстрела до возвращения на свободу!

И когда меня после «конвейера», в средних числах мая вызвали «с вещами» из камеры, я был готов как к одному, так и к другому. Но ни расстрела, ни освобождения, не последовало. Это оказалось всего лишь «переброской», т. е. переводом в другую камеру.

Во внутренних тюрьмах НКВД существует порядок, в силу которого заключенные периодически переводятся или, как там выражаются, «перебрасываются» из камеры в камеру.

Активный период моего следствия закончился, мне оставалось ждать решения, и меня переводили из одной камеры в другую следственной тюрьмы.

Новая камера, в которой я очутился, принадлежала к разряду «больших».

Она была рассчитана, приблизительно, на двадцать человек, но помещалось в ней человек сто двадцать или больше.

Это обычное явление в тюремной практике НКВД: на одно место там по норме приходится от пяти до десяти человек. От этого, конечно, происходят всякого рода неудобства для заключенных, но, в сравнении с процедурой дознания и следствия, они большого значения не имеют.

По сравнению с моей первой камерой, как их здесь называют — «одиночкой», так как такие камеры были рассчитаны на одиночное заключение и только по нужде в них содержалось от пяти до десяти человек — новая камера показалась мне целым миром. И, действительно, в ней, как в микроскопе, предстала передо мной многообразная советская действительность во всей ее парадоксальности и трагедии.

Здесь — одно замечание методологического характера: в отношении «источников». В большой камере я непосредственно столкнулся с сотней или несколько большим числом заключенных.

Это, как будто, не так уж много, но, во-первых, эти сто — сто пятьдесят человек постоянно менялись — одни уходили, другие приходили на их место.

Во-вторых, и это очень существенно, каждый из моих сокамерников во время своих «перебросок», т. е. своего скитания по другим камерам, встречался с сотнями других заключенных и делился потом своими впечатлениями, вбирая в себя и их опыт.

Таким образом, в камере со ста — ста пятидесятью заключенными аккумуляровался опыт десятка тысяч людей, очутившихся в одинаковом положении, но людей разного происхождения, разного культурного и социального уровня и т. д.

Мои тюремные переживания, впечатления и выводы теряют от этого субъективный характер и приобретают объективную значимость.

В большой камере я мог ответить себе на вопрос — кто, собственно, является объектом массовых арестов, охвативших

тогда всю страну? Сначала казалось, что здесь не было никакой системы, и аресты падали на головы всех без исключения, но, присмотревшись к арестованным, я пришел к другому выводу: здесь была известная система и, возможно, даже определенная классификация «объективных признаков» или «объективных оснований» для арестов.

Первое место среди арестованных в годы «ежовщины» принадлежало иностранцам, лицам иностранного происхождения, лицам с иностранными фамилиями, людям, побывавшим когда-либо за границей или как-либо связанных с за границей, имевшим там родственников и знакомых.

Все они, естественно, шли «под шпионов», обвинялись в сообщении секретных сведений иностранным разведкам. Среди них были и иностранные специалисты, принимавшие столь деятельное участие в «индустриализации» советской страны, а также деятели иностранных коммунистических партий, порою занимавших очень видные места в Коминтерне.

Были и «братья-рабочие», искавшие в Советском Союзе спасения от капиталистического рабства, как, например, участники Венского восстания 1935 года, и советские ученые и специалисты, побывавшие в заграничных командировках или же принимавших участие в международных конгрессах, и беженцы Первой мировой войны, родившиеся в местностях, отошедших потом к Польше или Прибалтийским странам, и имевшие там родственников, и даже бывшие военнопленные той войны, вернувшиеся на родину из Германии или Австро-Венгрии.

Среди этих лиц большинство было действительно ни в чем неповинно, и единственным «объективным» основанием для ареста многих из них была только иностранная фамилия, пребывание за границей или в плену.

За «иностранцами» следовали всевозможные категории «бывших», уцелевших после всех предыдущих «чисток» и «изъятий»: бывшие офицеры и чиновники дореволюционного времени; бывшие члены дореволюционных политических партий; бывшие участники внутрипартийной оппозиции — «зиновьевцы», «троцкисты», «бухаринцы» и прочие.

«Бывшие» всегда являлись главным объектом карательной политики советской власти, и их присутствие среди арестованных теперь вызывало удивление только потому, что, как

казалось, все они должны были уже быть ликвидированы значительно раньше.

«Объективные основания» для арестов у каждого из них имелись налицо, а то, что обвинительная фабула превышала эти основания, было только подробностью, к которой относились как к неизбежному осложнению болезни.

Но если «бывшие» были наиболее естественными и привычными обитателями советской политической тюрьмы во все фазы истории советской власти, то зато совершенной неожиданностью — и именно особенностью данного периода, особенностью «ежовщины» — являлось то, что, наряду с ними и наряду с иностранцами среди арестованных находились всевозможные категории советских «вождей»: партийные функционеры, начиная от секретарей райкомов и кончая секретарями республиканских Центральных комитетов; советские сановники, до народных комиссаров включительно, командиры Красной Армии — до командующих военными округами и маршалов; сотрудники самого НКВД, кончая их наркомками.

Особую категорию советских вождей составляли представители так называемой «старой гвардии»: бывшие политические каторжане (дореволюционного времени), пользовавшиеся в первые годы советской власти особым почетом и влиянием; старые члены партии с дореволюционным стажем; так называемые «красные партийцы» — участники Гражданской войны, боровшиеся на стороне советской власти.

Если «иностранцы» шли почти всегда за «шпионов», то из «бывших» людей комплектовались либо «террористы», либо «вооруженные инсургенты», а партийно-советские сановники чаще всего котировались как «участники заговорщицких групп» с добавлением террора или шпионажа. В обиходе всех их называли просто «троцкистами».

До какой степени положение партийного сановника связано с перспективами закончить свою карьеру арестом и ликвидацией говорит хотя бы такой пример: из восьми ректоров Киевского университета, сменившихся на моей памяти (1930—1941) один из них умер естественной смертью, остальные семь в разное время были арестованы; из одиннадцати секретарей партийной организации Украинской Академии Наук арестованными оказались все без исключения. А сколько можно было бы привести других таких же примеров!

Немало было среди арестованных и простых людей: колхозников-крестьян, ремесленников, рабочих... Объективные основания для ареста каждого из них отличались несколько большим разнообразием. Обвинительные же фабулы были такими же трафаретными, сводясь либо к шпионажу, либо к вооруженному восстанию.

Могу привести еще один пример того, как в следственной практике НКВД обвинительная фабула-пьеса подгонялась под объективные основания ареста.

Сидевший со мною в большой камере рабочий канатного завода в Киеве обвинялся в подготовке вооруженного восстания. Объективным основанием для ареста послужило следующее обстоятельство.

В 1937 году, на выборах в Верховный Совет в Киеве была выдвинута кандидатура некоего Марчака, сменившего на посту председателя украинского Совнаркома незадолго до того покончившего с собою Любченко.

Марчак был личностью никому неизвестной, но избран он был, как следовало ожидать, почти единогласно.

Однако, чуть ли не на другой день после избрания он неожиданно для всех исчез, т. е. оказался арестованным, как «враг народа».

В Киеве были объявлены дополнительные выборы, причем кандидатом была выставлена работница той же канатной фабрики Гусятникова, еще менее известная населению, чем злополучный Марчак.

На предвыборном собрании, когда присяжные ораторы наперебой расхваливали своего кандидата, мой будущий сокамерник возьми, да и скажи своим соседям: «Вот и Марчака хвалили так же, а он оказался врагом. Сегодня хвалят, а завтра сажают». — И все! Этого оказалось достаточным, чтобы привести автора столь неосторожного замечания в одну из камер НКВД.

В обвинительных квалификациях арестованных в связи с такими рубриками, как «восстание» и «организация восстания», очень часто фигурировало как дополнение слово «националистические».

Наряду с «троцкистами», «террористами» и «шпионами», среди заключенных всех категорий и званий, особенно же среди представителей городской и сельской интеллигенции —

профессоров, врачей, учителей и пр. много было «буржуазных националистов» — украинских, конечно, как где-либо в Минске — белорусских, в Тифлисе — грузинских.

Основная масса «украинских националистов» была ликвидирована еще после самоубийства Скрыпника в 1934 году, но осталось их немало и для тризны по Любченко.

Сравнительно с перечисленными категориями заключенных, только небольшую группу составляли представители технической интеллигенции: время «спецов» миновало в годы «вредительства» — 1928—1934. Но все же и их было немало.

Мне встречались преимущественно специалисты лесного ведомства. Их обвиняли, как и прочих, в шпионаже, терроре, восстаниях и заговорах — националистических или иных, судя по обстоятельствам. Но к этому присоединялись еще «саботаж» и «вредительство», как неотъемлемая принадлежность советских специалистов.

Любопытно, что в годы вредительства их преступление заключалось в том, что они-де «щадиле лес в интересах бывших их собственников, бежавших за границу».

Теперь же, наоборот, им приписывали «умышленное уничтожение лесов с целью обезводить Советский Союз и вызвать в нем систематический голод».

Это — диалектика не хуже моей Жанны д'Арк...

Лесной инженер Гражданский, сидевший со мной еще в первой моей камере, вынужден был показать на допросе, что он лично планировал просеки в пограничных лесах для совместного движения по ним польских и германских танков.

Конечно, будущие международные отношения, как и соотношение сил в будущей войне — в частности, отношения между Германией и Польшей — оставались контрреволюционеру Гражданскому неизвестными.

Почему же ему было не допустить совместного движения польских и германских танков против Советского Союза и не подготовить заранее дороги для этой цели?

Были, наконец, в камере и лица духовного звания всех исповеданий: из тех немногих, которые еще уцелели к тому времени. Их обвиняли обычно в антисоветской пропаганде с такой же последовательностью, как инженеров — во вредительстве, учителей в национализме, а интеллигентов еврейского происхождения — в троцкизме.

Но сейчас их даже не освободили от обвинения в шпионаже. Таково было знамение времени, что даже добродушнейший о. Александр, архимандрит, сидевший со мной, обвинялся в румынском шпионаже. «Объективным основанием» было его происхождение из Бесарабии.

Времена менялись. Было время «бывших», время «спецов», время «националистов», как и время «вредительства», время «восстаний» и время «иностранцев», время советско-партийных «сановников», «красных партизан», политкаторжан, коминтерновцев...

Из впечатлений большой камеры мне особенно врезалось одно, связанное с тюремной прогулкой.

Прогулки обычно продолжались десять — пятнадцать минут и происходили во внутреннем дворике тюрьмы, отгороженном от внешнего мира высокими стенами.

Арестованные шли парами по специально вымощенному кругу молча, с заложенными за спину руками, опустив головы. Зрелище не веселое, что и говорить. Совсем, как в известной картине Ван Гога.

И вот, глядя на идущих впереди, я как-то подумал, что передо мною, действительно «макрокосм» в «микрососме»: подлинная картина советских отношений, кадр из фильма «Советская карательная политика»!

Впереди, в первой паре — пара составлялась совершенно случайно, вне какой бы то ни было зависимости от взаимной симпатии или общности интересов, так как во время прогулки разговаривать запрещалось, шли наш архимандрит, отец Александр, и бывший секретарь Конотопского райкома партии, член Центрального комитета, абитуриент Института красной профессуры и сотрудник Коммунистической академии Левин.

Странное сочетание! Почему эти два такие разные человека, разные по национальности, по мировоззрению, роду занятий, очутились здесь рядом во внутреннем дворике политической тюрьмы, и оба обвиняются по одной и той же статье Уголовного Кодекса УССР?

Оба обвиняются в преступлении, которого не совершили. Оба предназначены к ликвидации в той или иной форме.

За отцом Александром и Левиным шли молодой, еще безусый, красноармеец Вася, бывший рабочий Путиловского завода, не то «бухаринец», не то «зиновьевец», и полковник войск

НКВД Шолох, с трудом волокущий ногу с перебитой во время «доследования» костью, — «шпион» или «заговорщик». За ними — инженер, профессор Ланге — тот самый, которому предусмотрительно оставили необходимое место для сидения во время допросов, и комсомолец Ракита — курьер какого-то советского учреждения, эпилептик, неизвестно каким образом оказавшийся связанным — по следственной фабуле, конечно, с киевскими партийными вождями по участию в контрреволюционном заговоре.

Что общего у Ланге с Ракитой? Или у Васи с Шолохом? Последних, правда, связывает хотя бы общая служба в Красной армии, даже в одном ее подразделении: Вася тоже служил в какой-то части особых войск НКВД. Связывает их, пожалуй, и общее советское мировоззрение, общая принадлежность к людям советской генерации.

Ракита и Ланге? — Люди разных полюсов во всех отношениях — и одинаковая судьба. И так во всех парах. Молох советского террора не делал никакого различия в своих жертвах.

Комсомолец Ракита запомнился мне по одному, также очень выразительному, эпизоду. Непосредственно под нашей камерой находилась комната, где производились допросы с применением особо сильных следственных приемов.

Из этой комнаты день и ночь доносились к нам вопли и стоны допрашиваемых. Сначала это казалось невыносимым, а потом привыкли и перестали на это реагировать.

Даже во время самых страшных криков, доносившихся снизу, жизнь в камере шла своим чередом: так же ели, пили, совершали естественные отправления, слушали рассказы, спорили, ссорились.

Но вот, однажды, когда в камеру ворвались нечеловеческие вопли истязаемой женщины, а может быть, и ребенка — такие случаи тоже бывали — и всем нам стало не по себе, Ракита в совершенном исступлении, вне себя от гнева, вскочил на подоконник и, взявшись за решетку, закричал страшным голосом в открытое окно:

«Бандиты! Фашисты! Что вы делаете?..»

Что значило на языке Ракиты слово «фашисты»? Было ли оно в его лексиконе — лексиконе комсомольца — только обычным бранным выражением, как слово «бандиты», или он, подобно многим советским людям, верил в простоте

души своей, что все то, что делали следователи НКВД, могли делать только фашисты, неизвестно как пробравшиеся в карательный аппарат советской власти, а может быть, даже и выше?

Ракиту посадили в карцер, подвергли там жестокому избиению, продержали несколько дней на каменном полу и голодной диете. Вернувшись в камеру, он уже научился владеть собою и сдерживать свои чувства. Дальнейшая судьба его мне не известна...

Заслуживает упоминания здесь и еще один эпизод, уже другого рода. Камерная жизнь, конечно, жизнь не веселая. Рассказывать о ней после того, как уже было рассказано много раз и разными авторами, не стоит.

Советская тюремная камера в этом отношении мало чем отличается от всех прочих тюремных камер мира, так же, как камера ежовского периода мало чем отличалась от камер предыдущего и последующего времени.

Ничего особенного нет также и в том, что камерное уныние или томление прерывается порою вспышками веселья.

Нашим надзирателям приходилось иногда даже останавливать не в меру громкий хохот. Они, наверно, немало удивлялись, как это люди в таком положении сохраняют еще способность смеяться?

Но не может человек непрерывно плакать! Станным было разве только то, что предметом нашего веселья чаще всего служили рассказы о следственных «легендах» и «пьесах». Поистине, смех каторжников!

Но как же, в самом деле, было не смеяться, когда люди рассказывали, как в своих показаниях они собирались взорвать на воздух Труханов остров на Днестре или готовили просеку на будущее для польско-германских танков? Бывали показания и посмешнее. И, естественно, что в этом «юморе висельников» бывало много цинизма.

Помню, как один рабочий речного транспорта, человек гигантского телосложения и железных нервов, долго сопротивлялся на следствии, не столько из моральной стойкости, сколько из-за недостатка творческой фантазии.

Последнюю ему вбивали довольно решительно и настойчиво: нельзя было отказать следователям НКВД в упорстве. И, наконец, водник сдался.

Вернувшись после очередного допроса в камеру он рассказал со смехом: «Ну, начал-таки и я вербовать. Завербовал служащих нашей конторы — всех решительно, в том порядке, в котором они сидят там. Вот только жаль, пропустил одну машинистку: она сидит за печкой и выпала у меня из памяти. Ну, ничего: вечером вспомню и о ней...»

Завербовал всех служащих Днепроградской конторы! Т. е. поставил под непосредственную угрозу ареста десятки отцов, жен, сестер... Шутки были плохие, все это знали. И тем не менее, на цинизм рассказа реагировали взрывом хохота. Было над чем смеяться...

Глава 9. ЗА ЧТО?

Действительно ли все заключенные были невиновны, как каждый из них искренно или неискренне утверждал?

Одно бесспорно: если за каждым из них и была какая-то вина, то она не стояла ни в каком соответствии с тем, в чем его обвиняли и в чем он обязательно должен был сознаваться в своих показаниях. Получалось, в самом деле, так, как если бы человек стащил коробку спичек или хлеба ломоть, а его заставили потом сознаться в краже со взломом или, еще лучше, в вооруженном ограблении. Но многие даже и коробки со спичками не крали... Отсюда — постоянный и назойливый вопрос: «За что?» Вопрос, мучавший каждого заключенного. Вопрос, на который не было ответа.

Этот вопрос можно было прочесть выцарапанным на стенах камеры. Он бросался в глаза во время сидения в специальных «кабинах ожидания» или — на тюремном жаргоне — «собачках» — перед допросом или после него. Он покрывал собою внутренние стены «черного ворона», как называли в Советском Союзе автомобили, приспособленные для перевозки арестованных.

Этот вопрос наполнял советскую тюрьму.

Одни думали о причинах собственного ареста, другие ставили вопрос более широко: где причины этих массовых, ничем не обоснованных арестов? Какой смысл этой непонятной и странной судебной-следственной практики, направленной на создание заведомых фикций?

И вот, в камерах являлись теории, при помощи которых заключенные пытались решить мучавший их вопрос. Теорий было много, и я постараюсь припомнить наиболее интересные из них.

Их знать необходимо, поскольку в них отражается как мировоззрение, созданное своеобразной средой, так и сама эта среда.

Эти теории можно разделить на две группы: советские, т. е. более или менее соответствующие официальному советскому мировоззрению, и несоветские, с этим мировоззрением не связанные или даже враждебные ему.

Наиболее распространенной среди ортодоксально настроенных советских людей была до крайности наивная теория о том, что в аппарат НКВД, а может быть, и на руководящие посты в партии — «пробрались» фашисты, тайные агенты Гитлера и вообще враги, которые делают свое дело с целью взорвать всю советскую систему.

Нечего и говорить, что для самих советских властей такая теория была очень удобной, и они сами пытались ею пользоваться.

Например, после исчезновения Ежова под сурдинку говорили о том, что он был или психопатом или контрреволюционером.

Вследствие этого он и допускал «крайности» и «излишества» в своей деятельности.

Возможно, что и исчез-то он для того, чтобы был повод пустить в ход подобную версию. Возможно, что именно для этого исчезли многие другие. Кто знает?

Но вот один случай, иллюстрирующий теорию «фашистов».

Уже после моего освобождения я познакомился с вдовой как-то упомянутого мною выше заместителя народного комиссара внутренних дел Броневского, замученного до смерти во время следственной процедуры.

Это была Елена Лобачева, советская журналистка. До 1937 года она занимала высокий для женщины, даже в советских условиях, пост инструктора Центрального комитета коммунистической партии Украины и, таким образом, стояла близко ко всем павшим партийным вождям.

После ареста мужа была арестована и она. Такова практика НКВД: жена обыкновенно разделяет участь мужа, а дети,

если они есть, отдаются в этих случаях на воспитание в государственные воспитательные учреждения или оставляются у родственников.

Между прочим, сын Лобачевой от первого ее брака — тоже с партийным сановником Половцевым — оставался на попечении бабушки и учился в одной школе с моим сыном.

Оба мальчика, как «дети врагов народа», подвергались в школе разным притеснениям со стороны своих сверстников — характерная черта советского «классового» воспитания — и на этой почве сдружились между собой. Впоследствии это послужило поводом и для моей дружбы с Лобачевой.

Во время ареста Лобачева прошла все стадии следственного воздействия. В результате у нее были повреждены почки и сломаны ребра.

Но она не сдалась. Сочинять обвинительную фабулу она отказалась: отчасти, как она мне потом рассказывала, из врожденного отвращения ко всякой лжи, отчасти из-за недостатка воображения.

Как бы оно ни было, когда в 1939 году началась волна освобождения, ее тоже освободили. И не только освободили, но даже повысили в ранге, назначив ее заместителем председателя украинского радиокomiteта — должность, равносильная должности заместителя народного комиссара.

Этим, как будто, хотели загладить причиненную ей несправедливость.

Лобачева принадлежала к числу ортодоксальных большевиков, настоящих идеалистов, каких в последнее время оставалось уже не много, и ее веры не могли поколебать ни гибель мужа, ни собственные ее обиды, ни все то, на что она насмотрелась и что вытерпела во время своего «сидения». Ни на минуту она не сомневалась в том, что все это было «делом врагов» — «фашистов» и «гитлеровцев».

В этом духе она и написала после своего освобождения письмо лично Сталину с описанием всех своих наблюдений и переживаний, а также подала официальную жалобу в Верховную Прокуратуру Советского Союза.

Дальнейший ход дела вполне подтвердил, казалось, предположения Лобачевой и только укрепил ее веру: в начале 1941 года выездная сессия военной коллегии Верховного Суда рассмотрела в закрытом заседании дело тех служащих НКВД,

которые вели следствие Лобачевой с применением по отношению к ней разных приемов следственного воздействия.

Лобачева сама выступала при этом в качестве свидетельницы и обвинительницы своих палачей.

Суд вынес обвинительный приговор, и виновные получили заслуженное наказание — от трех до пяти лет тюремного заключения каждый.

Лобачева торжествовала. Не потому, что было удовлетворено ее чувство мести — для этого она была человеком слишком доброй и чистой души, а потому, что в ее глазах победила справедливость, и еще раз утвердилась ее вера в советскую власть: «враги» понесли наказание!

Я обо всем этом думал иначе, еще тогда, когда убеждал Лобачеву не писать ни Сталину, ни Верховному Прокурору. Кто же из нас был прав? 22 июня 1941 года началась война с Германией. А в ночь на 24 июня Лобачева была арестована во второй раз и теперь исчезла уже навсегда. Очевидно, за свою любовь к правде.

Вариантом теории «врагов» и «фашистов» была столь же распространенная советская теория «извращения линии» и «перегибов». Сама, мол, партийная «линия» направлена на ликвидацию шпионов, диверсантов и прочих врагов советской власти, она вполне правильна и отвечает насущнейшим потребностям страны. Но при выполнении этой «линии» на местах были допущены извращения и перегибы благодаря тупому карьеризму низовых исполнителей — в одних случаях, недостаточной их квалификации — в других, преступности — в третьих.

Кажется, эта теория является официальной версией, которой большевики пользуются еще сейчас для объяснения «излишеств» (существует такое мягкое выражение) «ежовщины».

В подтверждение этой версии и для успокоения общественного мнения после исчезновения Ежова в 1939 году имели место несколько судебных процессов, подобных процессу Е. Лобачевой.

Несколько сотрудников НКВД были преданы суду, многие из них были переведены в другие ведомства, но мало кто — с понижением. Например, мой первый следователь Шапиро, благополучно подвизался потом в роли народного комиссара лесного ведомства — может быть, потому, что он содействовал

ликвидации в этом ведомстве вредительства и вовремя приостановил подготовку просек для польско-германских танков. Может быть, и потому, что во время допросов лесных специалистов успел приобрести некоторый опыт и техническую квалификацию.

Не столь официальной, но не менее распространенной среди советских людей была и теория «рабочей силы». Массовые аресты, согласно этой теории, применялись для набора рабочей силы, необходимой для социалистического строительства в отдаленных местах — Сибири, Камчатки, Колыме, Печоре и так далее.

Советские люди, на кого пал жребий, должны мол пожертвовать собой для конечного торжества коммунизма. А так как не у всех хватает сознания необходимости добровольной жертвы, приходится прибегать иногда и к крутым мерам.

Зато потом какие появляются Беломорско-Балтийский канал, канал Волга-Москва и прочие чудеса советской строительной техники.

Такая теория для многих арестованных служила прекрасным средством самоутешения и примиряла их с выпавшим на их долю жребием.

Более осторожные в своих выводах люди пытались успокоить свою пытливость ссылкой на какие-то таинственные основания и для массовых арестов, и для сопряженной с ними следственной процедурой. Таинственные основания эти известны, мол, только высшему партийному руководству. Они не подлежат никакому обсуждению и не могут быть оглашены. Но они, несомненно, существуют, и сомневаться в них — просто преступление, недостойное настоящего советского человека.

Теория граничит почти с религиозностью по своему содержанию, но она в высшей степени типична для мировоззрения многих советских людей.

Удобнее всего было спрятаться от назойливых вопросов и мучительных сомнений за такой верой в непогрешимость партии и непостижимость ее путей.

Из несоветских теорий очень распространенным был вариант «теории фашистов».

Заключался он в том, что «тайными фашистами» были не только следователи НКВД, но и сам Сталин со своими приспешниками!

Объяснением не столько массовости арестов, сколько принятой следственной процедуры, служила теория «плановости» и «социалистического соревнования». Эту теорию распространяли сами сотрудники НКВД, очутившиеся в камерах.

В Советском Союзе все подчинено строгому плану: хозяйство, наука и искусство, рост народонаселения и... репрессии тоже. Наркомвнудел отдельной советской республики получает контрольную цифру арестов по категориям: столько-то троцкистов, столько-то буржуазных националистов, столько-то шпионов и т. д. Эту цифру он распределяет по областям. В областях она распределяется между районами и, таким образом, доходит до каждого «уполномоченного» — рядового функционера НКВД.

Это — движение «плана» сверху. Затем начинается движение его снизу: в порядке социалистического соревнования — между отдельными республиками, областями, районами и сотрудниками — всякий план обязательно должен быть перевыполнен.

Для этого существует так называемый «встречный план» с увеличенными показателями.

И вот весь состав НКВД, от наркомов до рядовых следователей, начинает в поте лица трудиться над тем, чтобы «выполнить заказ» на такое-то и такое количество «шпионов», «диверсантов», «террористов», «инсургентов» и проч.

В этом случае приходится жалеть и тех, кто служит объектом этих своеобразных поставок, и самих поставщиков: нелегкое дело выколотить из миллионов ни в чем не повинных людей «шпионов» и «диверсантов»...

Популярна была и другая теория, которую можно было бы назвать «библейской». Она сводилась к двум вариантам: «пророка Ионы» и «сорокалетнего блуждания в пустыне».

В каждом из вариантов заключается, между тем, доля истины. Почему пророк Иона был выброшен в море? — Для того, чтобы принести искупление и спасти всех остальных. Он не был виновнее других. Но на него пал жребий.

Советская система дорого обошлась русскому народу — чего стоил, хотя бы, голод 1932—1933 годов! Кто должен был ответить за все жертвы, вызванные несовершенством системы, просчетами в планах, неполадками в аппарате, неумелостью исполнителей и так далее?

Те, на кого пал жребий!..

Чтобы спасти систему, чтобы отвести гнев народа от ее вождей, нужно было принести в жертву миллионы невинных людей, невинных, впрочем, относительно, потому что за практику большевизма большую или меньшую ответственность несет каждый советский человек.

Это — один вариант «библейской теории». А по другому — избранный народ был осужден сорок лет по выходе из Египта блуждать по пустыне.

В землю обетованную могли вступить те, кто родился во время этих скитаний. Ибо после страшных лишений пустыни даже выжженная солнцем и иссушенная ветрами Палестина могла казаться «землей обетованной». Так же точно и обетованный рай коммунизма могли увидеть только те, кто не знал и не видел ничего другого: ни соблазнов капитализма с его общедоступным комфортом, ни «проклятого царизма» с его пятикопеечными булками и мирными, добродушными городо-выми.

Не лишена глубины и подлинного знания советских отношений и «историческая теория», основанная на параллели между сталинским режимом и европейской абсолютной монархией или древневосточной деспотией.

История дает немало примеров жестокой расправы монархов с представителями самовластной и капризной аристократии: стоит вспомнить Людовика XI во Франции, Генриха VII и Генриха VIII в Англии, Филиппа II в Испании, Иоанна Грозного в России...

Монархи находили себе в этих случаях союзников в лице служилого и военного дворянства.

И сталинский режим на своем пути к единоличной деспотической диктатуре столкнулся с противодействием советско-партийной аристократии в лице «старой гвардии», «старых большевиков», «политкаторжан», «красных партизан» и т. д.

Чаще всего это были люди ограниченных способностей и малых знаний, но непомерных претензий, а, главное, связанные известными традициями, принципами и правилами, находящиеся, кроме того, во власти старых иллюзий.

Старые большевики крепко цеплялись за свои места и не давали ходу молодым, более гибким, свободным от утопий и

предрассудков, податливым на все изгибы «линии» во внутренней и внешней политике.

Вместе с тем, они подверглись уже «перерождению» и «моральному разложению» — «впали в вельможество» и своим образом жизни вызывали общее недовольство и жалобы.

Рассказывал же мне мой сокамерник, полковник пограничной службы войск НКВД Молох, о том, как жены наркомов, секретарей обкомов и прочих советско-партийных вельмож ездили в специальных салон-вагонах на заграничные курорты и привозили оттуда домой разную контрабанду.

Сталин, опираясь на «молодых», повел наступление на «стариков» или, выражаясь языком исторических параллелей, — опираясь на «дворян» начал расправу с «вельможами».

С помощью «янычар» он ликвидировал «сатрапов». А так как каждый сатрап или партийный сеньор имел вокруг себя целую свору приспешников или челядников, то, устраняя его, приходилось задевать и тех: лес рубят — щепки летят.

Действительно, вместе с каким-нибудь наркомом или секретарем обкома арестовывали не только его семейных, но и его секретарей, охранников, шоферов, непосредственных его помощников и подчиненных.

«Ежовщина», согласно этой теории, была как бы внутри-большевистской революцией, восстанием партийных низов против партийной верхушки.

Развитием «исторической» теории была своеобразная, не лишенная остроумия, теория «Аретинской рощи», или — на языке советских людей — теория «конвейера», перманентной революции в сталинской интерпретации.

Фрезер в своем классическом труде «Золотая ветвь» описывает обычай древнеримской рощи, посвященной Диане.

Согласно этому обычаю, главный жрец Дианы достигал своей должности, только убив своего предшественника.

Незавидная была судьба такого «царя-жреца», но, тем не менее, всегда находились охотники занять его место.

Советская система вычеркнула из жизни стремление к обогащению, личную заинтересованность, конкуренцию. Она оставила только карьеризм и борьбу честолюбия, борьбу за более выгодные места в жизни, места на служебном поприще.

При демократическом строе служебная карьера делается путем выборной борьбы — со всеми, порою связанными с ней, интригами и махинациями.

Деспотический режим большевизма открывает отдушину для личного честолюбия путем физического устранения одних и замены их другими.

Устранение носит бесчеловечно-жестокий характер. Но зато происходит постоянный отбор свежих сил, отбор более способных или более послушных и податливых. Сохраняется стимул к выдвижению у одних, поддерживается страх за свое положение у других.

А вместе с тем, устраняется призрак безработицы и переизводства интеллигенции — призрак, с которым не в состоянии справиться современный капитализм.

По этой теории «ежовщина» была вполне закономерным, неизбежным явлением советской системы, повторяющимся периодически, как морские приливы и отливы...

В виде курьеза могу назвать еще две совсем своеобразных теории: «этическую» и «астрономическую».

Согласно первой, каждый заключенный в советской политической тюрьме искупает какую-то вину, но совсем не ту, какую ему приписывают на следствии. Эта вина — порядка морального, какой-нибудь грех, преступление против совести.

Передававший мне эту теорию Иван Никифорович, сапожник-ремесленник, обвинявшийся в шпионаже в пользу Польши, искренне был убежден в том, что постигшее его несчастье было моральным искуплением за не совсем благовидные романтические приключения молодости.

«Астрономическая» же теория объясняла «ежовщину» ничем другим, как «периодическим появлением солнечных пятен».

Сообщал мне эту теорию — не без скрытого юмора, может быть, — председатель Союза безбожников и председатель Бюро жалоб при Центральной контрольной комиссии, Дубовой, о котором необходимо сказать здесь несколько слов.

Дубовой — типичный представитель «старой гвардии большевиков», рабочий из Донецкого бассейна, член партии с 1903 года, красный партизан.

Сын его — командующий войсками округа, красный генерал, арестованный, как и его отец.

Дубовой — неперемный член всех советских и партийных съездов. Его лично знал Ленин, знал его и Сталин.

Карьере Дубового, может быть, способствовала и его импозантная внешность: высокого роста, широкий в плечах старик с огромной седой бородой — ее выщипал у него следователь на допросе, волосок за волоском — человек земли, рабочий, которого как-то невольно хотелось видеть с обязательным молотом в руках.

Он служил настоящим украшением всех президиумов, хотя, кроме внешности, никакими особыми талантами не отличался.

Человеком Дубовой был неплохим. А свое безбожие он воспринимал, как новую веру — с наивным фанатизмом неопифита.

Несчастье свое он переживал болезненно. Да и как могло быть иначе, когда он отдал всю свою жизнь и жизнь своих детей — дочь его была повешена на его глазах «белобандитами» — большевизму, а теперь от большевизма же подвергается таким мучениям, физическим и моральным пыткам.

Одна борода чего стоит — говорю это без всякой иронии: старику, заслуженному большевику, одному из патриархов большевизма, с холодной, издевательской жестокостью вырывал бороду — кто? — безусый комсомолец, который выбился в люди, вышел из нищеты и грязи благодаря только ему, Дубовому — если не ему лично, то таким как он...

Было о чем плакать, и старик много и часто плакал.

Одно замечание Дубового помогает уяснить себе вопрос о судьбе «старой гвардии».

В камере как-то зашел разговор о Петре Великом. Тут-то Дубовой и высказал свои сомнения. Как это случилось, что ему, когда он еще учился в подпольных кружках, внушали, что Петр — тиран и кровопийца, построивший столицу на костях украинских крестьян, сгноивший в тюрьмах и на каторге сотни тысяч невинных тружеников — стал вдруг историческим героем, великим политическим деятелем?

Теперь его прославляют, пишут о нем статьи и книги, показывают его в кино, помещают его портреты в учебниках?

Старик плохо разбирался в «диалектике». В этом именно и была его вина, вина всей «старой гвардии». В этом заключалась причина его несчастья, а не в «солнечных пятнах»...

И, наконец, еще одна теория, объясняющая если не массовость арестов, то связанную с ними следственную и судебную процедуру. Она занимает как бы среднее место между «советскими» и «несоветскими» теориями. Быть может, это самое интересное и наиболее отвечающее фактам теоретическое обоснование советского террора. Речь идет о так называемой «социально-политической профилактике».

Эту теорию сообщил мне в порядке полной конфиденциальности сидевший со мной в одиночной камере начальник одного из отделов НКВД Прыгов.

Несколько слов о нем и вообще о «чекистах» или «энкаведистах» — этих служителях системы советского террора, активных деятелях «ежовщины».

Кроме Прыгова, в камерах я встречал и других высоких сановников и рядовых работников НКВД.

Нужно сказать, что из всех заключенных они были наиболее жалкими — не только потому, что их подвергали особенно сильным средствам следственного воздействия, но и потому, что субъективно они особенно болезненно переносили свое несчастье, настоящие причины которого им были столь же мало понятны, как и всем прочим.

Проклятый вопрос — «за что?» — стоял перед каждым из них еще более мучительно, чем перед всеми остальными арестованными. Ведь они-то имели особые причины считать себя настоящими представителями системы, которая вдруг обрушилась на их головы.

Несчастье их заключалось и в том, что имея опыт в составлении обвинительных фабул, они и собственные «пьесы» — этим выражением «пьеса» я тоже обязан одному сидевшему со мной энкаведисту — составляли так тщательно, что к ним нельзя было подкопаться. А это влекло за собой тяжелые последствия для их авторов.

Вообще же энкаведисты были самые обыкновенные советские люди, с отличающим их мировоззрением и поведением. Даже повышенная их нервность была обычной для каждого «ответственного работника», так как ответственная работа у большевиков — административная, политическая, культурная — выматывает у человека нервы, душу.

Чего стоит одна критика и самокритика! А классовая бдительность? Запрет ссылаться, при обвинении, на объективные

причины вины? Вечный страх политической ответственности за всякий вольный или невольный промах, не говоря уже о бесконечных «нагрузках», заседаниях, докладах, отнимающих время и истощающих силы.

Советская система рассчитана на то, чтобы постоянно отравлять существование человеку, и это — тем более, чем выше положение он занимает на общественной лестнице. Завидовать здесь, поистине, некому.

Из рассказов сокамерников я знаю, что Прыгов считался «грозой», что в тюрьмах НКВД ходила слава о его невероятной жестокости.

Я наблюдал за ним и пытался уловить в его мимике, жестах следы психопатии, садизма. Я искал в его словах, замечаниях что-нибудь особенное, раскрывающее тайну его жестокости — не его одного, а и его сотоварищей. Но я видел перед собой человека с издерганными нервами (не забудем, что вся работа НКВД происходила ночью, и энкаведисты могли спать только днем, и то не больше трех-четырёх часов), казавшегося совсем не жестоким, даже добродушным и мягким. До трогательности, например, заботился он о своем слепом отце и о сестре — жены у него не было. И к сокамерникам относился внимательно и мягко, хотя среди них были заведомые «враги».

Единственной особенностью Прыгова была его преувеличенная ортодоксальность, как и у Левина. Но — положение обязывает. Роль ренегата всегда и везде незavidна. А, главное, кто-кто, а он-то уж знал, что такое «сексот»...

Секрет его жестокости заключался в его послушности, в его крайнем ПИЕТЕТЕ по отношению ко всему, что исходило от «руководства», что было покрыто авторитетом «партийной линии» и «директивы».

«Линия» заменяла Прыгову совесть и разум. Она была его верой, его жизнью. Но его ли только?

Может быть, он, Семен Львович Прыгов, был только наиболее законченным выражением той породы людей, которая культивируется большевизмом и которую называют «Хомо советикус».

Другой энкаведистский сановник, с которым я встретился в камерах, бывший начальник иностранного отдела НКВД Михаил Лукич Тимошенко представлял собою иную разновидность того же типа.

Он был интеллигентнее Прыгова, умнее. Он кое в чем сомневался. В своем пиетете перед «линией», и особенно перед ее выразителями, он не доходил до идолопоклонства, как Прыгов. Эксцессы «ежовщины» он объяснял карьеризмом и тупостью исполнителей.

Тимошенко был неплохой — даже очень неплохой — и совсем уж не жестокий человек. Не знаю, приходилось ли ему избивать арестованных — Прыгов, наверно, делал и это, но если и нет, то скорее потому, что это просто не входило в его служебные функции. Если бы ему приказали, он, наверно, делал бы это, хотя, может быть, и без того служебного рвения, которое отличало Прыгова.

Чтобы пока не расставаться с Тимошенко, упомяну о некоторых любопытных вещах, которые я от него слышал и которые имеют тесное отношение к предмету моих воспоминаний.

Тимошенко, как и Прыгов, обвинялся в участии в «военно-заговорщической террористической группе», «шпионаже» и еще в чем-то таком. Но, в отличие от Прыгова, от составления своей обвинительной «пьесы» он решительно отказался.

Прыгов дал показание без особого на него воздействия. Он рассуждал следующим образом — буквально так, как он мне сам об этом рассказывал: «Высшему начальству, народному комиссару Успенскому, прекрасно известна вся моя деятельность. Известно им и то, что я не могу быть политическим преступником. И, если несмотря на это, меня все-таки арестовали и обвиняют в том-то и том-то, то на это у них, очевидно, есть какие-то веские основания. Не дело маленького человека идти против линии. Наоборот, нужно ей помочь всем, чем можно...»

А помочь в данном случае — значило дать требуемое показание, сочинить «пьесу». Бедняга Прыгов тогда не знал, что пройдет совсем немного времени, и носитель линии, нарком Успенский, пойдет вслед за ним в одну из камер...

Тимошенко отказался сочинять «пьесу». Но он мучительно думал над тем, какие «объективные основания» привели его из кабинета начальника отдела в тюремную камеру?

Во время прогулки в тюремном дворике он показывал мне окна своего бывшего кабинета.

Найти «объективные основания» для ареста было необходимо, чтобы знать, как лучше повести дело. В партийную

линию Тимошенко не верил, а авторитет наркома Успенского он не считал непоколебимым.

Некоторое мужество внушали ему его родственные связи с самим Молотовым — через бывшую тогда женой наркома Жемчужину: брат Тимошенко был женат на сестре Жемчужиной.

«Объективные основания» у Тимошенко были очень запутанными. Подробности их неинтересны, но сущность дела сводилась к следующему: Тимошенко был одно время секретарем партийной организации НКВД и, в качестве такового, обязан был выступать в роли, так сказать, «хранителя линии».

По какому-то вопросу произошло столкновение между «партийной линией» и «директивой» наркома внутренних дел. Дело огромной важности — так как отношения между партией и НКВД отличаются большой сложностью: теоретически партия в советской системе стоит выше всего, а практически, ей приходится склоняться перед «недремлющим оком пролетарской диктатуры».

Тимошенко поступил согласно теории, поставил «линию» выше «директивы». Тогда это ему сошло, но было записано, куда следует. А когда наступил подходящий момент, ему это припомнили.

Нашлись «объективные основания» для обвинения Тимошенко не только в политическом заговоре, но и в «шпионаже». Оказалось, что за время своей многолетней чекистской карьеры Тимошенко пришлось поработать и на дипломатическом поприще в качестве консула во Львове — того именно консула, на которого было совершено покушение в начале тридцатых годов.

Между прочим, от него же я узнал, что весь советский дипломатический аппарат, в частности консульский персонал, состоит исключительно из чекистов и находится в непосредственном подчинении НКВД.

Дипломатическая карьера Тимошенко, когда-то чуть не закончившаяся для него трагически, послужила теперь основанием для обвинения его в шпионаже.

Но вернемся теперь к теории социально-политической профилактики. Против этой теории ничуть не возражал и Тимошенко. Очевидно, она была общепринятой в чекистских кругах, хотя и не имела открытого официального хождения.

Содержание ее сводится к следующему.

В то время, как «буржуазное» право и «буржуазная» судебная практика признают только «преступное деяние» или «преступный акт», совершение которого влечет за собой соответствующее возмездие, «наказание», причем допускаются также понятия «покушение на преступление», «соучастие» в нем, пролетарско-классовое правосознание допускает существование и так называемых «потенциальных преступлений», равно, как и необходимость их «предупреждения».

«Предупреждение потенциальных преступлений» для общества настолько же полезно, насколько предупреждение болезни для организма полезнее ее лечения.

Если, согласно этой теории, установлено, что данный субъект страдает, скажем, неисправимой kleптоманией, то нет надобности ждать, пока он совершит кражу, а гораздо целесообразнее заблаговременно оградить от нее общество путем устранения вредного субъекта.

Ведь последний находится в «состоянии готовности» к совершению преступного акта; несомненно, он совершит его в первый же подходящий момент.

Зачем же ждать этого момента?

Таким же точно образом и в области политических отношений существуют, например, «потенциальные организации»: несколько близких друзей постоянно встречаются за рюмкой водки и ведут при этом сомнительные разговоры, рассказывают друг другу антисоветские анекдоты.

Это говорит об их «настроении». Оно может потом перейти в «готовность», а при случае это поведет к «совершению акта».

Не лучше ли пресечь весь этот процесс своевременным вмешательством карательных органов? Заблаговременно избавить общество от таких «потенциальных заговорщиков»? Совершенно таким же образом может быть «потенциальный шпионаж», «потенциальный саботаж», «потенциальный террор», даже «потенциальная агитация».

Тогда нет ничего удивительного, если через аппарат ГПУ и НКВД, наряду с тысячами действительных преступников, активных контрреволюционеров и врагов советской власти проходят миллионы «потенциальных», устраняемых или ликвидируемых в порядке «социально-политической профилактики».

Практика социальной профилактики предполагает, следовательно, не столько обнаружение преступника, сколько установление «преступного настроения», «преступного состояния» и «преступной готовности» — три ступени, предшествующие «совершению преступного акта» или «покушению» на него.

Этой цели служит систематическое наблюдение и изучение соответствующих объектов на основании их «объективных признаков» (социальное происхождение, прежняя деятельность, родственники и личные связи, отношение к работе и пр.) и с помощью секретных осведомителей — «сексотов», которым в системе социально-политической профилактики отводится огромная роль.

После того, как «преступная настроенность» или «преступная готовность» известного лица установлены с точностью, не вызывающей сомнений — отсюда убеждение в «непогрешимости НКВД» — следует его арест — не всегда, а когда это «целесообразно».

Предварительное дознание и следствие преследуют цель не обнаружения преступника — так как фактически он уже обнаружен, иначе не было бы и ареста, — и даже не выяснения обстоятельств или подробностей совершения преступления — так как оно еще не совершалось, а только так называемого «оформления» дела. Оно сводится к квалификации потенциального преступления согласно уголовному кодексу, подведению его под соответствующую статью и приданию ему видимости действительного акта, «деяния».

Суд, вынося ту или другую санкцию, рассматривает потенциальное преступление, как действительное.

Самое трудное во всей этой теории, это — понятие «оформления» дела. Почему эта теория не доведена до логического конца? Зачем нужно придавать «потенциальным» актам видимость «действительных»? Зачем обязательно ставить суд перед фикцией, в которую судьи заведомо не верят? Зачем, наконец, выколачивать у «потенциальных преступников» при помощи разных приемов следственного воздействия показания о фиктивных, предполагаемых, но не совершенных преступлениях?

Не проще ли было бы устранять всех вообще «подозрительных», ввиду их «социальной опасности», не сочиняя при этом «пьес», «легенд» и «фабул»?

Прыгов не дал мне вразумительного ответа на этот вопрос. Предполагалось, по-видимому, что для широких масс понятие «потенциального преступника» казалось было слишком сложным. Удобнее показывать собственному населению, так же как и «загранице», с которой большевики очень считаются, настоящих преступников — в обычном смысле, а не какие-то фикции.

Вот почему и самую теорию «социально-политической профилактики» НКВД сохраняет как ведомственную тайну, для внутреннего употребления.

Глава 10. В КАМЕРЕ СМЕРТНИКОВ

В большой камере я был не долго, меня перевели в камеру смертников.

О камерах смертников в литературе рассказывали немало. Но действительность, когда я с нею столкнулся, оказалась не такой страшной, как я предполагал на основании и прочитанного, и слышанного, и собственного воображения.

Действительность и в прекрасном и в безобразном очень часто не отвечает нашим ожиданиям. На деле все бывает проще и серее.

Мне понятен сейчас доктор Арнольди из «Последней черты» Арцыбашева.

— Зачем ехать в Швейцарию? — говорил он своему другу. — Смотреть горы? Но они никогда не будут такими, как я рисую их в своем воображении. И море тоже не будет таким...

Понимаю я и своего друга, араба Хури, который заплакал, увидев храм Василия Блаженного — потому только, что он увидел его не таким красивым, как это воображал себе с раннего детства.

Жизнь в камере смертников ничем не отличается от жизни в любой тюремной камере. Те же ежедневные процедуры: проверки и обыски, оправка, раздача пищи, даже прогулки в дворике.

Те же рассказы и разговоры...

И сейчас помню «Трех мушкетеров», «Убивца» Короленко, «Блуждающие звезды» Серафимовича в неподражаемом пересказе одного из моих сокамерников.

А другой начал длинный рассказ о собственных любовных приключениях, которых у него, по его словам, было что-то до ста с лишним.

Рассказывал он очень красочно, не упуская никаких подробностей. Дошел до седьмого случая с молодой женой какого-то старика-старообрядца, начал рассказ, но кончить его не успел, так что конца его мы так и не у знали: в урочный час донжуана вызвали из камеры «с вещами».

Жутким был только этот «урочный час»: он продолжался с двух часов и до пяти.

«Вызывали» только в этот промежуток времени. Куда? Этого никто точно не знал.

Один из сидевших с нами энкаведистов рассказывал нам во всех подробностях, как ЭТО происходит. Тоже просто.

Вызванного из камеры «с вещами» ведут сначала в комнату дежурного коменданта. По дороге туда он еще не знает, что ему там скажут: объявят о помиловании, о пересмотре дела или о том, что в ходатайстве отказано и приговор приводится в исполнение.

В последнем случае связывают жгутом руки за спиною и засовывают в рот кляп из пакли или тряпок.

Тех, кто после этого валится, теряя способность к движению, размякая, как мешок с костями — передаю выражение рассказчика — подхватывают под руки и тащат по полу на «место».

Кто может двигаться, того ведут, держа за руки и потом — кусочек гуманности — на одной из ступенек лестницы, ведущей в подвал под шум заведенных автомобильных моторов, без предупреждения стреляют в затылок.

Если ЭТО происходит в самом подвале, то подвал до слепоты освещается прожекторами. И именно в тот момент, когда свет ударяет в глаза, происходит выстрел.

На этом все кончается.

Помню, после этого рассказа, у меня с рассказчиком вышло нечто вроде дискуссии. Я заметил, что раньше, в старину, все это было обставлено торжественно: народ, войска, священники... За этой нарочитой торжественностью скрывалось уважение к человеку и человеческой жизни.

То же и с камерами смертников. Разве нельзя было бы подарить приговоренным к смерти хоть несколько дней относительного комфорта? Не набивать их толпами в камере?

Не заставлять их проводить последние ночи на грязном полу? Не кормить их, как остальных арестантов, вонючей баландой?

Мой собеседник задумался. — Кто знает, — сказал он, — как оно гуманнее? Так, как у нас, пожалуй, умирать легче.

Может быть, он и был прав. Тяжело умирать человеку здоровому, полному сил. Тяжело умирать в сиянии дня, под лучами солнца да еще на глазах тысячи людей.

А ночью, в подвале, с кляпом во рту, после всех приемов следственного воздействия, после долгих дней и ночей томления в тесной и смрадной камере?

Не для того ли и Бог посылает людям страдания в виде болезней, чтобы им легче было расставаться с телесной жизнью?

Умер после продолжительной и тяжелой болезни! Нужно ли жалеть умершего, измученного болезнью? Или порадоваться тому, что смерть пришла к нему в виде избавления...

Когда меня привели в камеру — о том, что это камера смертников, я узнал только потом из рассказов с сидевшими в ней, так как мне приговора тогда еще не объявили. Там было без меня пять человек. Я был шестым.

Люди все, как один, оказались очень интересными. Да, в каждом человеке заключена всемирная история! Мои камерные встречи не раз приводили меня к этой мысли.

Двоих из наших сокамерников взяли от нас уже на второй или третий день после моего прихода — донжуана, на свободе бывшего лесничим, — судьба его осталась мне неизвестной — и какого-то маловыразительного молодого человека, служившего до тюрьмы где-то в Сибири.

Нас оставалось четверо. Потом взяли еще двоих и тогда мы были вдвоем в течении всего моего пребывания там, пока меня тоже не вызвали «с вещами», но не в подвал, как я ждал, а в порядке «переброски».

В камерах редко приходится встречать знакомых людей, даже самых отдаленных знакомых. Но мои новые сокамерники, хотя и не были моими знакомыми в собственном смысле, но двоих из них я встречал, знал в лицо и по имени.

С одним из них, много лет назад, у меня была совсем даже странная встреча. Он о ней забыл, но я запомнил ее на всю жизнь.

Глава 11. КРАПИВЛЯНСКИЙ

Это был Крапивлянский. Перед самым своим арестом он был начальником концлагерей, которые должны были обслуживать грандиозные стройки в бассейне Волги. До того он командовал особыми воинскими частями НКВД или что-то в этом роде. В 1918 году он возглавлял все партизанское движение на Украине, направленное против немцев и гетмана.

Происходил Крапивлянский из богатых крестьян, но до войны еще окончил юнкерское училище, а во время войны дослужился до пехотного подполковника.

Сразу же после революции примкнул к красным и в 19-м году он был начальником ЧК в городе Нежине. Тогда я и встретился с ним в первый и, как я думал, последний раз.

В начале 19-го года меня с группой моих товарищей арестовали, как бывших офицеров, несмотря на то, что мы пришли, хотя и с некоторым опозданием, на регистрацию для призыва в Красную Армию. Прямо из военного комиссариата нас отвели под конвоем в ЧК.

Настроение у всех нас, естественно, было неважное. Некоторые — было нас человек десять — совсем ударились в панику. Правда, и было от чего, так как о том, как ЧК расправлялась с офицерами, мы прекрасно знали. Днем — было туда-сюда, но ночью стало совсем невесело.

Перед рассветом дверь отворилась, и перед нами появился сам Крапивлянский, которого в лицо мы знали все.

Высокая грузная фигура, широкое крестьянское лицо, но с выражением, типичным для старых унтер-офицеров.

В папаше и бурке, сапоги со шпорами, на ремне кавказская шашка и револьвер в кобуре.

— Так вот вы какие, господа офицеры! — протянул Крапивлянский, и от него понесло запахом сивухи. — Да вам еще на печи кашу с молоком есть. За маменькину юбку держаться, а не контрреволюцию разводить! Дети какие-то, а туда же: «бывшие офицеры!» — Он крепко выругался.

— Знаете, что, — он стал вдруг серьезным и несколько мрачным. — Послушайте и запомните, что я вам сейчас скажу. Мы хотели Вас шлепнуть. Это очень просто. Но потом рассудили так, что из вас еще польза может быть. Нужно только, чтобы вы поняли одну вещь: служить надо НАРОДУ!

Лицо его прояснилось. На губах появилась легкая усмешка, как мне показалось, с оттенком едва уловимой иронии.

— Поверьте мне, — сказал он все с той же усмешкой, — нет большей радости, как служить народу! Вы знаете, я ведь тоже офицером был. А теперь вот служу народу. Царь был и нет его. А народ всегда будет... Ну, шагом марш! И больше сюда не показывайтесь. Другой раз отсюда так не уйдете...

Мы были свободны. Так просто тогда происходило. Я напомнил Крапивлянскому этот эпизод. Он, конечно, о нем не помнил. Но его собственные слова о «службе народу», по видимому больно отозвались в его душе.

Служил, вот и дослужился.

В камере он говорил мало, целыми днями лежал на койке, уткнувшись лицом в стенку, а в «урочный час» «психовал» больше, чем каждый из нас.

Что-то шептал, поминутно приподнимался, прислушивался к шорохам в коридоре. Днем, когда настроение более или менее приходило в норму, я пытался узнать у него, какие мотивы побудили его пойти на то, что он сам называл «службой народу?»

Но понял я из его не всегда внятных высказываний только одно: в царское время он много страдал из-за чувства своей малоценности, из-за униженного самолюбия, очевидно ущемленного ложно.

В той офицерской среде, куда закинуло его, крестьянского сына, вообще, среди армейских офицеров старого времени было не мало людей, вышедших из народа. Но в жизни Крапивлянского произошло что-то, о чем он не рассказывал, но что, видимо, заставило его возненавидеть ту среду, в которой он не почувствовал себя вполне «своим» и которую он отождествил со всем бывшим режимом.

На службе «народу» он чувствовал себя более в «своей тарелке», но так как на эту службу он пошел не из любви, а скорей из ненависти, то из этой службы ничего путного у него и не получилось. Сделал он «большую карьеру», но закончилась она, как и для всех из его поколения — подвалом.

Будучи еще на воле, я слышал о некоторых его не совсем чистых делах: о том, например, как он, спасая отцовский хутор, прирезал к нему порядочно соседской земли, превратил его в коммуны. Но во главе ее поставил своих отца и братьев.

Впрочем, от подвала в годы «ежовщины» ничто не спасало. И будь Крапивлянский трижды идеалистом и верующим коммунистом, шансы попасть «туда» от этого только возросли бы.

Странный парадокс — эта самая история с хутором-коммуной морально облегчила Крапивлянскому его последние дни. Она помогла ему осознать превратности судьбы, подсказала объяснение его падения. Иначе, он сошел бы в могилу, ничего не понимая.

О Крапивлянском я знаю, что его расстреляли. Так закончилась его «служба народу». И, конечно, не хутор был здесь настоящей причиной. А что?

Глава 12. ЗИНЬКОВСКИЙ

Сидел с нами и другой чекист, один из самых красочных людей, каких мне пришлось встречать в жизни.

Это особенность советской системы, что наиболее сильные в каком-либо отношении люди здесь либо рано или поздно уничтожаются, либо они абсорбируются властью. Одни — авангардом трудящихся — партией, другие — авангардом самой партии — НКВД.

Второго сокамерника звали Зиньковским (Зинковским).

Это был тот самый Левка Задов, когда-то бывший начальником махновской контрразведки, которого описал в одной из своих повестей Алексей Толстой.

Громадного роста, грузный, с веснушчатым лицом и рыжий, он, действительно, должен был производить жуткое впечатление на людей, попавшихся ему в руки. А таких было не мало, так как махновская контрразведка в жестокости не уступала ЧК.

Признаюсь, и мне стало как-то не по себе, когда я узнал от Зиньковского, с кем имею дело.

Правда, еще в первой своей камере я встретился с его близким соратником и другом, Зуйченко, который был когда-то у Махно же председателем следственной комиссии. Встреча с Зуйченко научила меня не судить о людях ни по занимаемому ими положению, ни даже по их деятельности и поступкам.

Из своих пятидесяти лет, двадцать восемь Зуйченко провел в разных местах заключения: тюрьмах, на каторге, в лагерях.

Человек по натуре мягкий, тихий и глубоко порядочный, он еще мальчишкой попал в кружок анархистов, которых немало было в его родном Гуляй Поле, главным образом, среди фабричных рабочих. Его вовлекли в террористический акт: убийство местного станового пристава. С этого и началось.

В тюрьме Зуйченко получил свое образование и, подобно многим своим современникам, стал «профессиональным революционером». Профессия совсем ему не подходящая, так как его тянуло не к бурям, а к покою тихой незаметной семейной жизни.

Революцию он, конечно, приветствовал, тем более, что она освободила его от очередного «сидения».

Но ни на какую политическую работу он не пошел, обрадовавшись, что может, наконец, порвать с прошлым и укрыться от всех и всего в своем мирном домашнем кругу.

Были у него жена и дети, о которых он говорил с необыкновенной даже для камеры теплотой.

Покой, однако, продолжался не долго. В Гуляй Поле объявился батько Махно, сверстник и друг детства Зуйченко, но человек совсем другого закала, душой и телом преданный своей идее.

И к Зуйченко пришли как к Цинциннату. Оторвали его от очага и его наковальни — в то время он работал кузнецом на заводе — дали в руку винтовку, опоясали пулеметной лентой, посадили на коня, поручили ему дело, к которому он меньше всего был склонен: дело политического следствия...

И снова все завертелось.

Прошла революция. Миновала Гражданская война. Зуйченко отбыл очередной срок, вернулся в свое Гуляй Поле.

Опять тонуций в вишнях домик. Успевшие подрасти дочки. Сынишка, бегающий в школу. Преждевременно состарившаяся, постоянно озабоченная жена. Ежедневная работа на заводе. По воскресениям за рюмкой водки встреча со старыми друзьями. Одним словом — тишина и идиллия.

Но идиллия Зуйченко пять или шесть раз прерывалась «посадками» и высылками. Прошлое висело страшным грузом. Его не хотели забыть. И время от времени о нем напоминали бессмысленно и жестоко, без всякого видимого повода, для того только, чтобы люди ни на минуту не переставали чувствовать потолок над головой.

Последний раз это случилось в конце 37-го года, когда ежовская чистка достигла своего девятого вала. В Гуляй Поле были арестованы не только те, кто когда-нибудь хоть издали видел батьку, но и все районное начальство, в полном его составе, хотя там были только чужие, пришлые люди.

Поводом послужили маневры Осовиахима, в которых усмотрели подготовку к вооруженному восстанию против советской власти.

Зуйченко неизменно брали во все очередные «наборы». Взяли и в этот — и взяли крепко. Больше в Гуляй Поле он никогда уж не вернулся.

От него я кое-что слышал и о Задове-Зиньковском.

«Неплохой человек и большого ума», — говорил он о нем.

«Меня считали жестоким — и, как будто, не без причины, — сказал мне сам Зиньковский, когда судьба свела меня с ним в тюрьме на несколько дней, — но по натуре я добрый и мягкий человек, и ничего мне больше не претило за всю мою жизнь, как всякая жестокость и грубость».

Тогда я невольно вспомнил андреевского Онисима, безнадёжного пропойцу, утверждавшего, что «по натуре он непьющий человек». Его любимым тостом было: «За тихое семейство!» — совсем без иронии. Вот так же, как у обоих моих махновцев.

И когда Зиньковский пел в камере песенки Вертинского о безноженьке в канаве и о буфетном мальчике на корабле, — я нутром своим чувствовал, что он не мог быть жестоким человеком. Он делал жестокие вещи — и на службе у Махно и потом на службе в ГПУ и НКВД, куда он перешел после крушения махновщины — но он не был жестоким человеком.

А то, до какой степени его душа была отравлена пролитой им кровью, — есть такой вид отравления, никем еще не описанный, его я наблюдал не у одного Зиньковского, — я почувствовал, когда он рассказывал нам «Убивцу» Короленка. Рассказчик он был бесподобный.

— Одного мне теперь хотелось бы, — не раз говорил он в камере, — чтобы в последний момент не оставили силы, чтобы встретить смерть с достоинством.

В эти минуты он, видимо, вспоминал тех, кто на его глазах терял это достоинство и тем вызывал у него омерзение. Ему не хотелось показаться мерзким самому себе.

Зиньковский рассказал нам, своим сокамерникам, историю своей жизни.

Сын еврея — арендатора из Слободской Украины, он вырос в довольно состоятельной семье.

Происхождение его напоминает происхождение Троцкого. По каким-то мало понятным мотивам, будучи еще молодым человеком, он принял крещение, стал «выкрестом». Думаю, что здесь сыграла роль романтическая история, так как на духовный перелом это не было похоже.

Но как бы то ни было, этот шаг поставил его вне семьи и вне среды. Может быть, это и привело его к политической деятельности.

Зиньковский стал анархистом. Как и Зуйченко, впутался потом в террористический акт, за что и получил восемь лет одиночного заключения.

Рассказывал, как свыкся со своим положением, полюбил свою камеру. Когда пришло освобождение, он пошел на горку и долго искал окно своей камеры. Почувствовал, что за этим окном осталась немалая часть его жизни, кусочек души, который мы оставляем всюду, куда заносит нас судьба. Мы оставляем этот кусочек и в каждом человеке, с которым доводится нам встречаться...

После тюрьмы начались для Зиньковского годы скитания в поисках насущного хлеба. Это была самая интересная полоса его жизни. Он мог очень занимательно о ней рассказывать. Кем он только ни был в эти годы, и с кем только ни сталкивала его судьба!.. Много из его рассказов я забыл, но особенно врезалось мне в память, как он занимался позолотой церковной утвари под именем Золоторевского.

Чтобы легче добывать клиентуру, он выдумал, будто выполняет свою работу по обету, бесплатно. И так как он по документам был выкрестом, ему верили и охотно давали работу.

Имея дело с золотом и серебром, он жертвовал свой труд, а материалом, которым его снабжали заказчики, себя вознаграждал. Кроме того, его всюду радушно принимали, не подозревая, что имеют дело с бывшим каторжником, да еще и террористом.

Этот род деятельности познакомил Зиньковского близко с духовной средой. В своих рассказах он подходил к ней с добродушным юмором, без почитания и без насмешки.

Перед революцией Зиньковский был чем-то вроде коммивояжера. Успел к тому времени связаться со своей партией, и как только Махно начал формировать свои отряды, он очутился в его лагере.

Благо, Гуляй Поле было недалеко от его родных мест, и многих из гуляйпольцев он знал лично, как и они его знали.

Как случилось, что он, не будучи жестоким человеком, взял на себя жестокое дело, Зиньковский не объяснял.

Так случилось!

Но разве все, кто делал жестокое дело, по натуре были жестокими?

Близкая родственница Феликса Дзержинского, хорошо знавшая его лично, уверяла меня, что он до сентиментальности был человеком мягким.

Лично я помню одного красного партизана, который за чаркой вспоминая со всеми подробностями, как на его глазах и по его приказу вырезывали на ногах кровавые лампасы пленным «кадетам» и как их потом закапывали еще живыми в ими же вырытые могилы.

«Знаете, — говорил он без тени смущения, — засыплешь их, а земля над ними движется, как живая...

И кончил Мехеда, — это было его имя, — плохо. Будучи помощником начальника Допра (так одно время звали у нас тюрьмы: «Дом принудительных работ»), он организовал из своих арестантов уголовную банду, остановил с ее помощью и ограбил пассажирский поезд.

После того его расстреляли вместе со всей его бандой, поймав чуть ли не на самом месте преступления.

Но этот самый Мехеда действительно не был злым человеком. Он способен был заплакать над больным котенком, по-настоящему жалел детей и нищих.

Каждый человек — это целый комплекс, в котором его личное составляет только одну часть. Другие его «части» состоят из окружения, занимаемого им положения, исповедуемой им веры, выполняемых им общественных функций, сознания своей миссии и т. д. А если делить людей на какие-то категории, то не по признаку доброты и недоброты.

Почему, все же, и Зуйченко, и Зиньковский и Мехеда, как будто, добрые люди, очутились в старое время в лагере противников режима, так называемых революционеров, и почему,

став на службу новой власти, они избрали для себя, приблизительно, один и тот же род деятельности?

Не потому ли, что все они принадлежали к породе людей, у которых инстинкты разрушения преобладали над инстинктом созидания, отрицание над утверждением?

Такие лица нужны для общественного прогресса. Без них в жизни наступил бы застой. Но вместе с тем, из них же состоят и всякого рода преступники — политические, криминальные, смотря по обстоятельствам, и в мирные, спокойные периоды времени для них не находится места в обществе.

У некоторых из них это, может быть, даже не столько инстинкт разрушения и отрицания, сколько какая-то сверхактивность, постоянное беспокойство духа, неутомимая потребность движения — то, что в школе отличает так называемых шаловливых мальчиков, превращая их в настоящий бич для учителей, причиняя немало неприятностей для их товарищей, заботу, горе родителям.

Доброта и недоброта здесь тоже ни при чем. Но уже библейское сказание о Каине и Авеле отметило существование этих двух пород человека.

Что побудило Зиньковского пойти на службу в ГПУ, он не объяснил, и выходило так, что альтернативы у него не было.

Может быть, и так.

Мало найдется на свете людей, которые из двух возможностей предпочтут ту, которая, сохраняя их морально чистыми, поведет их к мученичеству. Чаще всего, как это ни грустно, мучениками бывают поневоле.

Впрочем, и Церковь не только не требовала, а даже осуждала добровольное мученичество. Правда, в этом случае имелось в виду мученичество, нарочито вызванное, или, как кто-то сказал бы теперь, «спровоцированное». Иначе мучеников вообще не было бы...

В НКВД Зиньковский дослужился до высоких постов. Перед арестом он был уж начальником отдела областного управления.

Непосредственную причину своего ареста, как и большинство заключенных, он не знал. Бывшая его деятельность на службе Махно была делом далекого прошлого, она всем была хорошо известна и не мешала ему почти двадцать лет двигаться по служебной лестнице.

Так что это, казалось, не могло быть причиной ареста. Зато нашлись связи не столько личного, сколько служебного порядка с людьми высокопоставленными и в «органах» (обычное в кругу чекистов обозначение их ведомства), и в партийном аппарате.

Они оказались «врагами» и по этой причине «сели». За «связи» же сажали даже шоферов и курьеров.

Зиньковский был повыше. Его непосредственным начальником одно время был Лаплевский, сменивший собою Балицкого на посту наркома внутренних дел Украины.

Лаплевский «сел» и, по-видимому, был уже расстрелян. Этого было вполне достаточно и для ликвидации Зиньковского.

Как и каждый приговоренный, Зиньковский надеялся на помилование или пересмотр дела, но вместе с тем мобилизовал свои последние внутренние ресурсы (пользуясь советскими словесными трафаретами), чтобы в момент экзекуции не потерять достоинство.

Глава 13. ВОПРОСЫ

Помню, в один пасмурный день, когда у нас в камере было особенно тягостно, Зиньковский долго ходил из угла в угол, ходили мы по очереди, так как размеры камеры позволяли ходить только одному человеку — пять шагов вперед и пять шагов назад, Зиньковский подошел ко мне и задал мне вопрос, настолько неожиданный, что в первый момент я даже опешил.

— Помогите мне понять одну вещь, сказал он. — Всю жизнь я об этом думал и никогда сам этого не мог понять. Что это значит: «смертию смерть поправ»?

Я был озадачен. Я понимал, что от меня ждут объяснения не по катехизису, а какого-то, если не более глубокого, то более доступного. Но что я мог сказать? Понимал ли я сам тогда великий смысл этих слов?

Точно своих слов я не помню. Но говорил я так, чтобы не выходило «по церковному», так как оно не дошло бы до его сознания, а, кроме того, мне казалось неуместным говорить «по-церковному» с коммунистами, из которых один (Левкович) был даже директором антирелигиозного музея. Говорил же я о том, о чем сказал только что и по поводу жестокости:

то, что называется личностью, состоит из двух совершенно разных частей, — того индивидуального, что отличает каждого из нас от всех других и что, как я тогда думал, подлежит разрушению вместе со смертью. («Земля еси и в землю твою же пойдешь!.. В тот день погибнут вся помышления его!..»), и того общего, что каждый из нас постепенно вбирает в себя, в свое сознание из общечеловеческого достояния в виде духовных ценностей.

Эти ценности — знания, моральные и эстетические нормы, общественные идеалы — никогда не разрушаются, и они будут существовать, пока существует человеческий род.

Между двумя частями человека существует именно то отношение, что, чем больше занимает места одна, тем больше суживается другая.

Человек должен ограничивать в себе свое индивидуальное для того, чтобы дать место тому надличному и вечному, что составляет настоящее содержание его души и что придает ему настоящее достоинство.

От человека требуется постоянная жертва. Она лежит глубоко в его природе. Ибо и во всей вселенной лежит начало Жертвы.

Это тот космический эрос, который проявляется уже в законе тяготения, в химических реакциях, а на высших стадиях — в инстинкте продолжения рода, в материнстве.

В мире есть две изначальные тенденции: тенденция брать и властвовать и тенденция отдавать и подчиняться.

Вторая, это — Жертва. Не даром Жертва находит свое выражение в той или другой форме во всех религиозных культах. Свобода, говорим мы, это познанная необходимость.

Свободная жертва — это искупление. Пожертвовав по своей собственной воле своей ограниченной и смертной частью, человек открывает себе путь к вечности! Это и есть «Смертию смерть поправ».

— А как же с Христом? — спросил опять Зиньковский, — Был Он? Откуда пошел этот миф или как это назвать, о Его воскресении? Знаете, когда я в юности бывал в церкви, меня потрясли эти слова: «Христос воскрес из мертвых!» — эти слова он тихо пропел. — Может быть, — сказал он про себя, — эти слова и заставили меня креститься, так как на пасхальной заутрене я бывал и до своего крещения. Не знаю. Но очень они

мне нравились. Евангелие знаю плохо. Кажется, ни разу не прочитал его — не до того было.

Я пытался объяснить Зиньковскому, как нужно читать Евангелие и, вообще, как относиться к религиозной традиции, оставаясь в границах усвоенной им «новой веры».

Иначе я не мог поступить по разным причинам и, прежде всего, потому, что, поступая иначе, вместо того, чтобы облегчить ему его последние минуты, я бы посеял в его душе только новый разлад.

Для настоящего и полного его «обращения» не было уже ни времени, ни нужных для этого предпосылок — и внутренних, и внешних.

Когда я сидел в большой камере, я видел, как почти все мои товарищи мучились вопросом — за что? — этим ПРОКЛЯТЫМ ВОПРОСОМ советской тюрьмы.

Особенно мучили им себя бывшие партийные сановники. И мне пришлось тогда в голову рассказать моим сокамерникам те места из Евангелия, где говорится о Силоамской башне.

Думаете ли вы, что башня задавила собою самых грешных в Иерусалиме?

Случилось то же самое, что описал Чехов в своем рассказе о вечере Двенадцати Евангелий. Просвирин сын, молодой богослов, увидев у костра знакомую деревенскую женщину, рассказал ей историю троекратного отречения Петра.

Женщина разрыдалась. И рассказчику стало ясно, что евангелийская история вечна.

Две тысячи лет, которые нас отделяют от Евангелия, не имеют никакого значения. То, например, что случилось с Петром, может случиться в жизни с каждым из нас, в любой момент и в любом месте.

Мой сокамерник, молодой Гресель, бывший немецкий коммунист, попавший в тюрьму за то, что разочаровался в своей новой вере, идя на допрос, неизменно произносил: «На Голгофу».

Что же тогда Голгофа? Только один из иерусалимских холмов, на котором некогда распяли Человека, воплотившего в Себе Бога? Или Голгофа — в каждой человеческой жизни, в жизни всего человечества?

В Евангелии нужно искать Вечное, то есть уметь видеть во временном и ограниченном символ вечного.

Религиозная традиция — это своего рода азбука или лексикон. Она содержит в себе неисчерпаемое богатство образов, многими поколениями накопленных. Эти образы и символы служат средством выражения тех особых чувств, настроений и устремлений, которые составляют сущность религии.

Так, приблизительно, говорил я тогда с Зиньковским.

В ту ночь, в урочный час, позвали Крапивлянского. Он торопливо, очень волнуясь, собрал свои вещи. И, может быть, потому, что караульный его торопил, он ушел из камеры, даже не кивнув в нашу сторону.

Весь следующий день мы ни о чем больше не говорили. Левкович и я лежали на своих койках, Зиньковский тяжело ходил по камере, лишь изредка останавливаясь и сжимая виски руками.

Ночью позвали и Зиньковского. Он взял вещи — они у него всегда были собраны, пожал руку Левковичу, подошел ко мне и крепко меня обнял.

— С достоинством бы, — прошептал он.

— Молитесь, — сказал я ему совсем тихо.

— Попробую, — так же тихо ответил он.

Засов задвинулся. Больше я Зиньковского-Задова не видел. Но я узнал после, уже на воле, что его в ту же ночь расстреляли. Удалось ли ему сохранить достоинство, о чем он так беспокоился, не знаю.

Глава 14. СЛАБОСТЬ ПОБЕЖДЕННЫХ

Мы остались вдвоем. Пробыли так около месяца — Левкович и я, — пока нас с ним не разлучили. Мы крепко с ним подружились, чего я никак не предполагал раньше, так как до того он был исключительно замкнут. Говорил почти так же мало, как Крапивлянский, хотя так никогда не психовал.

Наружность у Левковича была очень примечательная. Он был изуродован во время Гражданской войны, в которой участвовал и на одной, и на другой стороне. То, что после операции он лишился ноги, а одна рука у него висела неподвижно, не так еще бросалось в глаза. Но его голова была свернута в сторону, а лицо почти непрерывно подергивалось судорогой — следствие тяжелой контузии.

Я раньше уже знал, что Левкович — бывший кавалерийский офицер из польско-украинских помещиков. Знал и о том, что долгие годы, начиная с Гражданской войны, он служил в «органах» и только незадолго до ареста стал директором Антирелигиозного музея: тогда вообще происходила массовая переброска чекистов на другую работу.

Иногда это их спасало. Но по большей части это было только переходным этапом на пути в тюремную камеру, а оттуда — в «подвал».

Левкович был моим ровесником. В нашей судьбе было много общего. Но еще больше общего оказалось в наших мыслях, в нашем отношении к «первым и последним вещам», несмотря на то, что жизненные пути наши расходились.

— Я слушал вас, когда вы говорили с Зиньковским, с большим интересом, — начал он, когда ми остались вдвоем, но не сразу, а после дневной прогулки, когда впечатления прошлой ночи улеглись, а до «того» часа было еще далеко.

— Вы не удивляйтесь: хотя я происхожу из военной среды и когда-то окончил офицерскую школу, вопросы религии меня занимали всю мою жизнь. Так что и последняя моя работа «на службу народа» — эти слова он произнес с подчеркнутой иронией — была не совсем случайной.

Почему это так было? Может быть, здесь сказалось влияние матери, религиозной до фанатизма. Может быть, — старшего брата. Он был ксендзом и таким же фанатиком, как и мать. А старший брат — это всегда очень много значит.

Я же и любил его без ума. Но в ксендзы я не пошел, как оба они хотели. Бюхнер и меня отравил. Зато я стал, если угодно, тоже своего рода священнослужителем, хотя и другой веры.

Вы безнадежно путались в своих умствованиях. Пытались спасти от своего разбитого корабля то, что, как вам казалось, можно было спасти: символы какие-то, лексики или что там еще, о чем вы вчера говорили.

Я поступил иначе: я сжег все, что осталось от старого корабля, и пустился в плавание на том, что мне казалось тогда крепче крепкого.

В результате, если начинать с конца, меня прибило к тому же берегу, что и вас, и Крапивлянского, и Левку Задова.

Хотя, что касается Крапивлянского, тот, по-видимому, никаких кораблей не сжигал и никаких не искал, а просто плыл

туда, куда вела волна: служил царю, пока был царь, не стало царя, пошел на службу «народу»... У Крапивлянского началось с ненависти, — продолжал Левкович после некоторой паузы, — я его хорошо понимаю. Но у меня началось не столько с ненависти, сколько с презрения: презрения к тем, кто должен был бы своей кровью стать за царя, но предал его раньше, чем пропел петел.

Ведь вы подумайте, защищать царя по-настоящему готовы были только городовые!

Левкович поделился со мною своими впечатлениями от революции — впечатлениями, которые до буквальности совпали с моими собственными.

Левкович ехал с Кавказского фронта в Петроград через Москву. Был первый или второй день революции. На одной из больших станций перед Москвою жандармский полковник или ротмистр совал в руки офицерам листки газеты с текстом Отречения. А в Москве первое, что бросилось ему в глаза, были генералы с красными розетками в петлицах шинелей.

В Петрограде, в Офицерском собрании, пропитанным запахом вина и спирта (революция началась с разгрома солдатами винных погребов), столпилось несколько сотен обалдевших в конец растерянных офицеров всякого звания.

Какой-то старый, заслуженный генерал (начальник Стрелковой школы Филатов, как он узнал потом) держал речь. О чем же он говорил? А о том, что, подчиняясь новой власти, господа офицеры нисколько не нарушают своей присяги, так как сам царь-де им приказал.

Приблизительно то же, вспомнил я, говорил протоиерей Орнатский на молебне в Казанском Соборе, на второй или третий день после Отречения.

Когда я читал лекции по истории войны, я всегда напоминал своим слушателям о том, что, ставя вопрос о причинах побед одних и поражении других, не следует забывать, что в том или другом случае решающим было: сила победителя или слабость побежденного? В том, что называется русской революцией и февральской, и октябрьской, — вне всякого сомнения, решающим была не сила победителей, а слабость побежденных. Доказательством тому была и Гражданская война.

Левкович был сначала на стороне белых. Вернее, сначала по мобилизации он попал в Красную Армию, но оттуда бежал

с опасностью для жизни к белым. Так понимал он свои долг офицера. Новая вера тогда его еще не захватила. Но разочарование началось с первого шага.

С двумя своими товарищами — тоже офицерами, бежавшими вместе с ним от красных — после многих скитаний, во время которых каждый час они находились между жизнью и смертью, очутились они, наконец, среди «своих».

Начальник разъезда, безусый корнет, сначала грозил всех их повесить на месте без суда, но потом смягчился и отправил их под конвоем в тыл.

Там началось следствие, потом суд: почему и как могли они позволить призвать себя на службу в Красную Армию? Только Георгиевский крест Левковича и громкое название полка, где он когда-то служил, спасли их.

Это было первое впечатление от «своих». А затем пошло «одно к другому». «Грабиловка», о которой с горечью вспоминают вожди Белой Армии, как Деникин, Врангель, о ней говорит и проф. Шавельский, морально разложила армию и обессилила движение.

Но «грабиловка» Левковича не так еще возмущала. «Ну, что ж, — думал он, — фронт ожесточил, распустил людей. Не всякий может устоять от соблазна».

Возмущало его другое: то, что когда воинская часть выходила на фронт, большинство кадровых офицеров куда-то исчезало. Оставались одни только бывшие прапорщики.

Когда же часть шла в тыл на отдых, начальники, как тараканы выползали из щелей. Именно те, кому надлежало в первую очередь мстить за своего царя и сражаться до последнего за его поруганное царство, «оказывались» в тылу или при первой возможности уносились за границу.

Гибнуть же за родину предоставляли тем, для кого она, по большей части, была только мачехой, — разночинным интеллигентам, народным учителям.

Они — эти «дроздовцы», «марковцы», «корниловцы» — показывали чудеса храбрости, героизма, жертвенности.

Но все это оставалось без пользы, когда движение в целом не находило поддержки в массах и когда его участники в большинстве своем не имели никакой веры, а, изуверившись, либо занимались проживанием жизни, либо искали возможности «улизнуть» из всей этой каши.

В рассказах Левковича было много субъективного. Чувствовалось также и желание себя оправдать в собственных глазах: того, что я тоже был белым офицером до Перекопа включительно, он не знал, а я не нашел нужным говорить ему об этом.

Но кое-что в его рассказе было и правдой. Судить, однако, легко, понять — трудно. Да, решила здесь — слабость побежденных, а не сила победителей! Но надо сделать одну оговорку: в слабости побежденных на этот раз была и своя сила, так как побежденные не хотели и никогда не захотели бы пользоваться теми средствами, какими пользовались их противники, как для захвата, так и для удержания власти.

Говорят о «белом терроре». Но что такое «белый террор» по сравнению с «красным»? Если у белых не хватило жестокости или моральной силы развернуть террор по отношению и к чужим, и к своим так, как это сделали красные, то эту слабость история едва ли поставит им в суд и осуждение.

Левкович удивлялся, до какой степени доходил моральный маразм у белых, насколько отсутствовал у большинства их вождей даже намек на идейность. Левкович почувствовал, что старые боги, которым он когда-то служил, умерли раз и навсегда.

Во время конной разведки он был тяжело ранен, чудом остался жив и снова попал в стан красных.

К этому времени у него никаких сомнений уже не оставалось. По словам Левковича, на него подействовало и то, что красные его пощадили, оставили ему жизнь, взяли к себе на службу.

Такие случаи, конечно, бывали, но, возможно, что Левкович чего-нибудь и не договаривал.

Новой веры Левкович все-таки долго не находил. Как у Крапивлянского, у него не было любви, а, следовательно, не могло быть и настоящей веры.

Было только одно искушение.

Больше всего хотелось мне тогда знать: какой внутренний путь привел Левковича на службу большевикам. Отчасти он был мне понятен: его оттолкнуло то, что он считал моральной слабостью побежденных. Но в чем он увидел моральную силу победителей? Так как без этого нельзя было идти на службу к кому бы то ни было до того предела, до которого пошел

Левкович. Одно только приспособление ничего здесь не объясняло: очень относительные выгоды покупались бы в таком случае слишком дорогой ценой.

Игра бы не стоила свеч...

Глава 15. ИСКУШЕНИЕ КОММУНИЗМОМ

— Через искушение коммунизмом, как предсказал Достоевский, прошли многие, — так говорил Левкович, отвечая на мой вопрос о том, как он из БЕЛОГО САВЛА ПРЕВРАТИЛСЯ В КРАСНОГО ПАВЛА?

— Искушение «хлебом» здесь не самое главное. Оно для того «народа», о котором лицемерно твердил Крапивлянский.

Крестьяне мечтали о земле, но большевики никогда серьезно не думали ее им давать. Это не было в их интересах — создавать новых буржуев, да еще более цепких и заскорузлых, свободных от того интеллигентского налета, которым отличались старые.

Не думали серьезно большевики и о материальных выгодах для рабочих. Рабочий класс они называли «движущей силой революции». Он — ее живое оружие и, если угодно, ее пушечное мясо. «Диктатура пролетариата» не больше, как эффективная пропагандная формула.

Как только боевая стадия революции прекращается, «движущая сила» ее становится ненужной. Рабочему классу тогда отводится место, которое ему надлежит: место «непосредственных производителей», носителей рабочей силы и — не больше того.

О «союзниках» рабочего класса — крестьянах, ремесленниках, мелких торговцах и говорить нечего: все они обречены на «снос» — в переносном, а, когда это требуется, то и в прямом смысле.

Настоящим же вождем революции, диктатором, и в борьбе, и в конструктивной ее стадии является партия.

Партия — авангард или, точнее сказать, командующий штаб революции. Пусть она авангард рабочего класса, но состоит она не из рабочих.

Она состоит из отборных людей всех классов, ИЗ ЛУЧШИХ людей, то есть, другими словами, из аристократов.

Диктатура пролетариата на деле выходит диктатурой аристократии. Аристократы здесь, конечно, не в смысле выродившихся носителей громких фамилий — у нас, в России, ставших громкими по большей части из-за той или иной «подлости прославившей их отцов».

Аристократизм здесь определяется многими качествами: умом, волей, настойчивостью, а самое главное — умением не брезгать средствами для достижения своих целей, умением подчинять свое подленькое, гаденькое Я, то, что на интеллигентском языке называется сознательной и критически мыслящей личностью, интересам целого, задачам общественного строя, который будет основан на велениях разума и будет свободен от эксплуатации человека человеком.

Что хлеб? Конечно, в будущем обществе голодных не будет. В этом можно не сомневаться. Не будет и раздетых. И под мостами тоже никто ночевать не будет.

Но если бы это оказалось и не так, коммунисты все же не отказались бы бороться за это будущее: во-первых, потому, что это будущее неизбежно.

Ни бывшего, ни будущего никакие боги не устранят!

А, во-вторых, потому, что будущее, за которое они борются, во всяком случае, разумнее настоящего.

В этом и состоит ИСКУШЕНИЕ КОММУНИЗМОМ.

Разумность, научность и целесообразность нового общественного строя — это искушение для интеллигентов.

Но и крестьяне, борясь за землю, думают не столько о хлебе, сколько О СПРАВЕДЛИВОСТИ, О ВОССТАНОВЛЕНИИ СВОИХ ПРАВ. Из-за этого они и пошли на революцию. За один хлеб никто не стал бы умирать...

«Может быть, это и есть “новая вера”, — развивал свои мысли Левкович. — Элементы веры здесь есть. Но вера это совсем не та, что служит основой всякой религии.

В чем конечный смысл религии? В том, чтобы поддерживать в человеке непосредственное и живое ощущение принадлежности его к какому-то единству и готовность ограничивать себя в интересах этого единства.

Это называется социальным чувством. На поповском языке это называется любовью и жертвенностью».

— Не забудьте, — прервал я его, — о чувстве благоговения перед святым, чего в вашей новой вере вы никогда не найдете.

— Может быть, — согласился Левкович, — но зачем и кому нужно это благоговение? Я хочу сказать о другом: всякая религия, в том числе и христианская, — это, в конечном счете, игра, и не больше того.

Игра в высшее знание, игра в искупление, игра в справедливость, игра в любовь к ближнему.

Помните вы уездного смотрителя у Куприна? Чем была для него его вера, когда он с воодушевлением или, как вы говорите, благоговением пел на клиросе в промежутках между двумя доносами на ближнего?

Посмотрите на все эти благоговейные лица в любой церкви во время богослужения! Только что все они выслушали который уже раз о жертвенной любви к ближнему. Только что им дали наглядным образом почувствовать свою причастность к самому высокому единству, которое может представить себе человек, приобщили их к источнику вечной святости.

Но попробовал бы кто-нибудь попросить у этой БЛАГОВЕЙНОЙ бабы чашку молока, или кусок хлеба...

— Да, — сказал я на это, — но они, по крайней мере, знают, как надо и как не надо поступать. Что по Божьи, а что не по Божьи.

— Ну, и что ж? Пусть знает, но голодному от этого не легче... Нет! Не будем ждать, пока в каком-то субъекте проснется совесть. Ее может у него и вовсе не быть. Мы ЗАСТАВИМ его поступать так, как он должен. Я знаю обычное выражение: в добровольном поступке больше ценности. Но что же делать, если люди не хотят быть гуманными добровольно? Пусть тогда будут такими в принудительном порядке.

Весь этот самый рабочий класс, это движущая сила и прочее там... Думаете, они стали бы работать на том пайке, который им дают, — а большего пока им дать не могут, — стали бы работать из одного только «сознательного отношения к труду» если бы их не принуждали к тому? — Так же маловероятно, как то, что старуха поделилась бы с голодным из-за одного благочестия. В том-то и разница между вами и нами: вы начинаете с того, чтобы изнутри переделать каждого отдельного человека, и вы ждете результатов вот уже многие, многие тысячи лет.

А мы, не надеясь ни на благоговение, ни на благочестие, не полагаемся даже и на «социальный инстинкт» или там «социальное чувство», создаем вместо того такие формы жизни,

при которых люди ОБЯЗАНЫ будут, не смогут поступить иначе, чем того требует общественный интерес.

Кто добровольно поедет работать в Арктику? Кто по доброй воле захочет работать под землей? Да еще так, как того требуют интересы родины?

Какой крестьянин вырвет у себя изо рта или изо рта своих детей кусок хлеба, чтобы добровольно отдать государству? А ведь кормить армию и горожан нужно. Добывать руду и уголь из-под земли тоже нужно. Что же нам остается тогда, кроме насилия? Нужна, конечно, и проповедь. Мы ею тоже пользуемся. Но мы не надеемся на то, что проповедями можно ЗАМЕНИТЬ СИЛУ.

Мы не обманываем ни себя, ни других.

Глава 16. НА ГОРЕ МИТРИДАТА

Левкович замолчал. А я, следуя то его, то собственным мыслям, вспомнил одну страницу своей жизни, когда я пережил почти то же самое искушение.

Было это во время раскопок на месте древнего Мирикея и Пантикапея в Крыму.

Я любил раскопки. Они были как бы рекреацией в нелегкой жизни советского профессора. Над головой не висит больше опасность уклона или ошибки, после которых начинается тягостная процедура проработки. Нет и обычного изнурения лекциями, заседаниями, собраниями. Вечера можно оставлять для бесед, даже для «пульки», танцев, невинных забав.

И люди встречаются здесь самые разные, из всех городов, из Ленинграда, Москвы...

Что-нибудь услышишь, чего не услышал бы дома. Над чем-то понаблюдаешь. О чем-то подумаешь.

Сколько хороших часов провел я там за чашкой свежего, не перебродившего вина со своим другом, покойным ныне археологом и архитектором Морилевским, вспоминая о том далеком мире, остатки которого мы открывали в земле.

Как много для понимания окружающего меня всего нашего теперешнего, его людей, с их надеждами и устремлениями, с их новой верой также дала мне дружба с ленинградской комсомолкой С., которая при своей наружности «рязанской

бабы» таила в себе сокровища самой высокой, даже утонченной культуры.

Это был второй случай у меня в жизни, когда я вплотную столкнулся с тем новым поколением, которое я видел только с высоты своей кафедры. Так или иначе, но раскопки были для меня и отвлечением, и школой жизни.

Как-то, в хорошую лунную ночь пошли мы с Ипполитом — так звали Морилевского — на гору Митридата. Долго бродили, вдыхая в себя запах прошлого. Потом уселись у самого края горы, и перед глазами у нас из-за той стороны залива развернулась бездна огня. То были огни одного из самых больших тогда в стране сталелитейных заводов.

— Как красиво! — сказал Ипполит. — Когда-то, в юности, я видел красоту только в природе да еще в искусстве. Позже я стал ценить и красоту всего вообще созданного человеческим разумом и человеческой волей. А теперь я понимаю, что существует философия техники, и думаю, что должна существовать и ее эстетика.

— Даже ее религия, — промолвил я, думая в этот миг о другом. А думал я тогда почти о том, о чем мне говорил сейчас в камере Левкович.

Время было голодное. Это был, кажется, 1933-й год. Я знал, ЧТО получали тогда рабочие в виде пайка: ровно столько, сколько было нужно, чтобы не умереть с голоду.

Крестьяне же — те тогда так-таки и умирали... сотнями тысяч... миллионами.

Знал я и то, что Керченский завод начал работать недавно. И, как видно было хотя бы по освещенной площадке, сей час он работал уже на полный ход. Литье стали я видел. И я живо представил себе весь этот ужас: огненная река, в помещении изнуряющая жара, и над огнем стоят и работают полунагие люди, истощенные от голода и недосыпания. Работают в меру сил и сверх сил.

Почему? Какая нужна воля, какое невиданное сосредоточение власти, чтобы заставить их это делать!

На горе Митридата я тоже пережил свое искушение: искушение всемогуществом власти. Но к этому как раз и перешел Левкович в своем рассказе.

— В Евангелии за искушением хлебом следует искушение чудом. Чуда коммунисты ждали меньше всего. Если не

видеть чуда в том, как ими была захвачена власть и как они ее удержали. Об этом говорил когда-то и Ленин. Но это чудо особого порядка. Если коммунисты обошли искушение чудом и не поддались искушению хлебом, то зато они поддались искушению власти.

Власть не самоцель. Для многих, конечно, и так. Ведь над человеком довлеет больше, чем инстинкт жизни, больше, чем инстинкт продолжение рода, — потребность в ЗНАЧИМОСТИ. Для этого жертвуют жизнью. И из-за этого идут даже на преступления. Но для партии в целом дело не в samozначимости, не в ней одной, во всяком случае.

Власть — это средство перестроить мир так, как кажется разумным и целесообразным, как того требует наука, в строгой объективности которой коммунисты убеждены.

Перестроив общество, они собираются подчинить себе природу. Тогда будут созданы условия, чтобы человек из царства необходимости перешел, наконец, в царство свободы.

— То есть, — прервал я, — все той же необходимости, так как, что же такое свобода, как не познанная необходимость? Другими словами — вы никогда не сделаете людей свободными, а в лучшем случае заставите подчиняться необходимости, подчиняться ей, как будто «свободно».

— Пусть так, — усмехнулся Левкович с несвойственным ему добродушием. — Не переделаем же мы людей. Коммунисты не утописты. О КОММУНИСТИЧЕСКОМ БЛАГОЧЕСТИИ они не думают.

— Но власть, — продолжал он, — искушает не только тех, кто ею пользуется. Она импонирует и тем, кто под нею. Помните, с каким неподдельный энтузиастом комсомольцы бросились на стройки первой пятилетки? Весь народ заразился тем, что тогда называли ПАФОСОМ СТРОИТЕЛЬСТВА. Стройки, «индустриализация» подняли в народе инстинкт значимости, и во многих случаях он оказывал большее действие, чем даже страх. Одним страхом коммунисты никогда не продержались бы. Помните, что было сказано о штыках? С их помощью можно прийти к власти, но нельзя на них сидеть. Вот вам новая вера, если вам нравится это слово, — сказал Левкович, опять с той же мягкой усмешкой. — Это не ваша игра.

— Игра тоже нужна была в свое время, пока люди не вышли из своего детства. Игра нужна детям, как спорт — взрослым.

Но все-таки это не настоящее. Настоящее, это — живая, созидательная работа. Настоящее, это — творчество.

Вы обещаете царство на небе. Ищите его у себя в душе. Мы его создали на земле. Мы творим его своими руками. Усилия здесь мало. Нужны и жертвы. Но попробуйте переустроить мир без усилий и без жертв! Ваша игра тоже стоила не меньше. Но она ничего в мире не изменила.

Вы советовали Зиньковскому молиться, чтобы сохранить свое достоинство, — лицо Левковича при этих словах приобрело свою прежнюю суровость, стало жестким и мрачным. — Не знаю, помогло ли это ему? А убежденному коммунисту никакие молитвы не нужны, и он — уверяю вас в этом — своего достоинства не потеряет. Почему? — А потому, что для него Я состоит из двух частей, но не тех, о каких вы говорили, как о духе и теле. Одной части — вот этой самой «критически мыслящей личности» некоего бывшего чекиста, а перед тем кавалерийского офицера, носившего фамилию Левковича, — мне несколько не жалко. Она, эта часть, сделала свое дело. Плохо сделала. Но сейчас она может, как мавр, уходить.

А то другое, то великое творчество, то пересоздание мира, которое взяли на себя лучшие люди страны, ее аристократы, оно будет продолжаться и без меня с не меньшим успехом.

Вся моя жизнь только к тому и сводилась, чтобы первую часть моего существа подчинить второй.

На своем языке вы называете это аскетизмом и мистикой. На нашем языке это называется партийным долгом.

Глава 17. AUDIATUR ET ALTERS PARS*

Левкович замолчал. Весь следующий день мы оба молчали. Я думал о том, что услышал. Какие-то «концы не сходились». Мне хотелось на многое возразить, но банальностей говорить не хотелось, а, кроме того, для меня самого в моих мыслях не все было оформлено.

«Настоящее» и «ненастоящее». «Игра» и действительность, — думал я. — А что в словах самого Левковича было настоящим, а что игрой? Выполнением роли? Не было ли рисовки

* Следует выслушать и другую сторону. — (лат.).

в его теории «двух частей»? Кстати, эта теория не оригинальна. Я уже слышал ее на похоронах одного сановника-коммуниста.

— Вам было нелегко с вашей верой, — помню, прервал я молчание. — Не буду вам возражать, но, с вашего позволения, задам вам два-три вопроса.

По-вашему, выходит, что это не имеет никакого значения, поступает ли человек в том или другом случае по собственному побуждению, или под давлением чужой воли.

Нечто подобное было и в церковной традиции: *coge intrare*. Заставь войти! Куда? В Царствие Божие. Вот, как у вас: если человек не хочет или не может следовать голосу своей совести, или этого голоса в нем вообще нет, нужно превратить его в автомат и силой заставить его вести себя так, как того требуют интересы какого-то высшего целого.

Это вы называете реальным подходом. А все другое для вас только игра. Но думали ли вы над тем, что с этой самой ИГРОЙ человек прошел уже сотни тысяч лет, а, может быть, и миллионы своей истории? И с этой ИГРОЙ он достиг в своем развитии тех высот, на которых сейчас находится.

«Игра», следовательно, себя оправдала. Ведь это же ваша вера говорит, что критерием истины является практика.

Можете ли вы поручиться за то, что если этот самый ваш РЕАЛЬНЫЙ ПОДХОД долго и систематически применять, люди не потеряют в результате как раз тех своих качеств, которые поставили их выше всякой другой твари: внутреннюю свободу, свободу решения и свободу творчества?

Переменится человек, изменятся и его идеалы. И что получится: вы идете к какой-то цели, не считая жертв, не брезгуя никакими средствами, не щадя ни себя самих, ни всего своего поколения. А когда вы, — не вы, а ваши потомки, наконец придут к этой цели, не окажется ли тогда, что для них-то эта самая цель будет уже ненужной?

Вы думаете о коммунизме, а ваши потомки, для которых вы теперь так стараетесь, выросши в новых условиях, замечают вдруг об индивидуализме да еще сверхгнищанского типа?

Левкович слушал меня, не перебивая, но вяло и без особого интереса. На дворе моросил дождь. Капли монотонно стучали по железному козырьку над окном камеры. Под шум дождя мне думалось: «По ком он плачет? — По нас, что здесь томимся, или по тем, кто остался там, за каменной стеной?»

Очко в двери поминутно открывалось, и чей-то внимательный глаз долго приглядывался к нам. Но мы на это давно перестали реагировать. В коридоре стояла мертвая тишина. В это время никуда не вызывали, ни на допросы, ни на оправку. Приближался вечер. И страстно, до боли, хотелось, чтобы время шло медленнее, чтобы оно вообще остановилось.

— Вы говорили мне об искушении разумом, — продолжал я после долгой паузы. — Вы сказали правильно, что это специально интеллигентское искушение. Когда-то и у меня оно подорвало мою прежнюю веру, не дав мне новой. Вера не рождается из искушений. Вера, это — кому дано...

Но вот насчет разума. Почему мы думаем, что наши познавательные способности исчерпываются, а вся наша духовная жизнь вообще управляется одним только разумом?

У животных мы допускаем существование того неопределенного и неопределимого, что называется инстинктом. Очевидно, он не исчез и у человека.

Один из самых сильных инстинктов — это потребность того соучастия в каком-то высшем единстве, которое составляет ядро всякой религии, в том числе и безбожной религии коммунизма. Здесь начинается то непосредственное ощущение, аналогию которому можно найти разве что в музыке.

Когда-то попалась мне в руки замечательная книга. Там много было и несуразного. Но одна мысль в ней, как молния, осветила мне голову.

Религиозное чувство, — сказано там, — не поддается никакому определению. Но если обязательно нужно иметь о нем какое-то представление, тогда здесь есть нечто, отдаленно напоминающее собою то, что человек, не лишенный музыкальных чувств, испытывает, слушая, например, оратории Баха.

После того, я долго искал случая послушать Баха. И вот, когда этот случай представился, я понял, что такое религиозное чувство. На какой-то миг человек выходит из себя. Преодолевает свою ограниченность. Внутренне сочетает себя с бесконечным: бесконечным не в пространстве и времени, а в том совершенстве, которое на самых высоких ступенях религиозного сознания мыслителя, как вечная святость.

Вы можете сказать, что такого рода экстаз не может быть постоянным состоянием человека. Но помните притчу, которую рассказал Иван Карамазов Алеше о Царстве Божиим?

Бывают самые короткие мгновения, которые стоят целой жизни. Музыкальные переживания тоже длятся недолго. Но важен тот след, который остается в душе от таких мгновений. От человека зависит поддерживать в себе способность переживать их чаще, полнее, длительнее. Для этого нужно воспитывать в себе все, что роднит нас со святым.

Глава 18. «СРАБОТАННЫЙ» ЧЕКИСТ

— А думали ли вы о том, — прервал меня вдруг Левкович, который, как мне казалось, совсем перестал меня слушать, погружившись в свои думы, — что и грех тоже ведет к Богу?

Знаете, все, что я вам тогда говорил, было не настоящее.

Я говорил не от себя, а как бы от имени тех, к кому я пошел на службу и веру которых я пытался усвоить.

Как ненастоящим было многое из того, что вы сказали Зиньковскому.

А теперь, давайте, поговорим по-настоящему. Послушайте мою исповедь. Ведь оба мы смертники, и стесняться нам друг перед другом уже не к чему.

Так вот: последние два или три года службы в НКВД я заболел сильным нервным расстройством. Чуть что — слезы. Стыдно даже признаться: читаю какой-нибудь пустяк, смотрю картину в кино или слушаю оперу, даже ничего особенно жалостливого, — вдруг что-то схватит за горло, и... слезы.

Это — у чекиста-то!

Но у нас многие этим болеют. Вы сидели с Прыговым? Он покрепче меня, вы знаете, никаких контузий у него не было. Дитина пудов семи весом. На пузо смотреть страшно. Шея, как у быка. Настоящий мясник... А то же самое: плачет, да и только.

Потом началось и худшее: специальная чекистская болезнь — ОТРАВЛЕНИЕ КРОВЬЮ.

Сидишь себе, читаешь дело, и вдруг — эти самые «кровявые мальчики в глазах».

Собственно говоря, это чаще всего был один. Не знаю, откуда он ко мне привязался. Так, один попик такой случайный. Плюгавенький, невзрачный. Идет, весь трясется — правда, зимой это было, а он, как водится, в одном белье и босой. И все так лепечет: «Яко разбойника прими!..»

Так вот, он и стал приходить. Сначала изредка, потом — чаще. Придет себе и смотрит этак, не то укоризненно, не то жалостливо. И кровь на нем...

Меня доктор предупредил: «Смотри, не заговаривай с ним! Заговоришь, конец тебе будет. Тогда уж наверное — сумасшедший дом, а из него никуда не выйдешь».

А поговорить мне с ним — страсть, как хотелось. Ну, хоть ргнуться. Но стисну зубы, молчу. Стараюсь не глядеть. Уткнувшись в дело. стакан за стаканом пью. А в глазах марево... красное. И слышу это: «Яко разбойника...» Тьфу ты, Господи! — Левкович весь покоробился, сжался.

Видно было, что он отдался воспоминаниям. Но потом, как бы стряхнув с себя что-то, продолжал:

— Слушал его, становилось все больше и больше не по себе. Я видел, что передо мной вконец искалеченный человек. Искалеченный не только телесно. Было до жути жаль его. Но и страшно...

— В глазах, это еще ничего бы, — продолжал Левкович. — А то — запах свежей крови! И так затошнит, до рвоты.

Это у наших часто, у многих, кто ходил на «шлепку». У нас ведь почти каждому это случается. Палачей у нас нет. А делается это по наряду — в порядке обыкновенного дежурства. Метод «ВОСПИТАНИЯ ЧЕКИСТОВ», есть и такой термин. Своеобразная, видите, подготовка! А дело здесь, собственно, в той самой «партисипации», на которую вы так любите ссылаться: создается, так сказать, корпоративное чувство. Ну, и круговая порука тоже...

Как водится, послали меня в санаторий — раз, другой. Лечили там всякими процедурами. Не помогло! Может быть, потому, что я сам слишком усердно стал лечить себя водкой. Пил я зверски. До зеленых чертей допивался.

Потом меня перебросили на работу в музей. На что, казалось бы, спокойнее. А на поверку вышло иначе. То ли нервы окончательно сдали, но перемена обстановки только ухудшила мое состояние.

Эти иконы, кресты, реликвии пробудили воспоминания далекого детства. И тут я совсем запсиховал. Грехи всей моей жизни, как будто, бросились мне в душу.

Я перестал спать. И раньше я не мог заснуть без хорошей порции водки, а теперь даже водка больше не помогала. Лежу

с открытыми глазами ночи напролет. А тут этот проклятый запах. А в глазах красные пятна. И картина во всех подробностях. Пытаюсь думать о чем-нибудь другом, а в голове это самое.

Принялся, было, за свое новое дело. Сначала — даже со страстью. Вы знаете, коммунисты относятся ко всему, что связано с религиозным культом, совсем эмоционально.

Недаром, закрывая церкви, обязательно снимают с куполов кресты. Так поступали некогда христиане с языческими святынями: две веры не могут ужиться одна с другой.

И у меня эти музейные вещи поначалу вызывали какое-то ожесточение. В каждой из них я видел как бы своего личного врага. Хотелось над ними издеваться, топтать их, раздавить, уничтожить.

Но потом все это как-то мне опротивело. Я въявь почувствовал, что жизнь окончательно постыла, что я свое уж изжил, и что пора, значит, убираться подобру-поздорову. Это было решено и подписано. Сомнений на этот счет никаких не оставалось. Револьвер всегда был со мной...

Левкович встал. Проковылял несколько раз взад и вперед по камере, придерживаясь здоровой рукой за стены. О чем-то напряженно думал. Потом снова опустился на койку и продолжал:

— Тут вот случилась со мною одна неожиданная вещь. Почтище вашего Баха. По какому-то делу спустился я в Дальние Пещеры. Один. С фонариком. Было мне тогда особенно не по себе. Но ничего на этот раз я не пил. Думаю: не пора ли? Не все ль равно, когда и где...

И вдруг вижу я где-то сбоку мягкий свет. Что ж это могло быть? Сжал рукоятку револьвера. Сделал еще два шага и остановился, как вкопанный. За углом маленькая пещерная церковь. Перед Нерукотворным Образом, потемневшим от времени, свеча. А на полу какая-то неопределенная фигура.

Когда присмотрелся, — женщина. Лежит лицом вниз... Руками как будто обнимает землю. Ни одного движения. Ни одного слова. Я стал ждать... долго — не знаю, сколько: может быть, час, может быть, меньше.

Но я узнал, кто это был. Это была наша сотрудница. У нас, среди своих, звали ее «сатанисткой». Слухи о ней были нехорошие. Мне донесли о них сразу же, когда я вступил в должность и начал знакомиться с персоналом.

Был я потом и на ее лекциях. Меня коробило от ее тона. Она шла дальше, чем требовалось, допуская недозволенные кощунственные выражения. Я сказал ей об этом, даже сделал ей внушение.

Но сейчас... Что же это такое? Тут меня вдруг осенило! Я понял, что сюда ее привел груз накопившихся в ней грехов, так же как он привел некогда к ногам Спасителя Марию из Магдалы.

Разве не грех открыл перед разбойником двери в рай? Свет во тьме светит. Ощущение греха — начало спасения... И тот момент, когда Иуда бросил в лицо судей их сребреники, перед ним засветил уже свет. Но, чтобы спастись, ему нужно было пройти еще через другой грех, который, как и все грехи мира, был искуплен Спасителем.

В тот же вечер я подал заявление освободить меня от занимаемой должности. А через несколько дней я очутился здесь. Жду сейчас своего КРЕЩЕНИЯ ОГНЕМ.

На этот раз говорю с вами уже искренне: от своего собственного имени, как велит мне моя и ваша старая вера.

На этом, помнится, разговор наш оборвался. В урочный час меня позвали «с вещами». Уходя я обнял Левковича.

Мы отдали друг другу наше последнее целование.

Глава 19. «ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ»

Конечно, я помню этот путь.

В висках больно стучало. Свет коридорных лампочек казался слишком ярким. Мысли обгоняли одна другую. Они вращались, главным образом, вокруг моих близких. Но, по временам, неожиданно мелькали в памяти совсем чужие люди.

Ноги стали тяжелыми.

Каждый шаг приходилось делать с усилием. Я знаю теперь, что значит, когда говорят «подкашиваются ноги»...

Мы прошли коридор, спустились по лестнице. Прошли другой коридор и очутились в хорошо знакомом дворике, внутри тюрьмы.

Оттуда пошли не в те двери, через которые обычно водили на допросы, а в какие-то боковые, которых я раньше не замечал.

Начали спускаться в подвал.

«Но почему? — блеснула мысль. — Почему мне не прочитали постановления?»

Все ощущения вдруг собрались в одной точке — на затылке. Но в душе неожиданно стало спокойно. Совсем так, как это бывало в последний момент перед экзаменом в школе. Или, когда нужно было выходить из-за бруствера и бросаться в атаку под пулями.

Сама собою пришла молитва: «Помяни меня во Царствии Твоем! Яко разбойника... Яко разбойника...» — шептали губы. Сознание куда-то провалилось. Глаза перестали различать предметы. Все потонуло в сплошном свете.

Лестница окончилась. Открылся новый коридор. Бесконечный ряд дверей. У одной мы остановились.

Конвойный постучал. Мы вошли в какую-то комнату. Сидевший за столом человек указал мне на стул и протянул какую-то бумагу.

— Распишитесь, — вяло и безразлично сказал он, — ваше дело идет на пересмотр.

Он показал мне место, где я должен был поставить свою подпись. Я потерял последний остаток сознания.

Очнулся я в новой камере, где кроме меня никого не было. Когда я пришел в себя, наступила страшная физическая и психическая реакция.

Много дней после того я не мог ни о чем думать. Но после, уже на воле, из всех моих тюремных воспоминаний я чаще всего возвращался и сейчас еще возвращаюсь к нашему разговору с чекистом Левковичем. В который раз я думаю: никого не судите ни по его обнаружениям, ни по его поступкам.

А добрыми намерениями услан не путь в ад, а путь ко спасению.

Глава 20. ГРЕХ ПЕТРА

В одной из камер, в которой мне довелось потом посидеть перед своим освобождением, я услышал еще раз о Левковиче. Услышал я о нем от его бывшего сотрудника по музею, который странным образом был связан с ним по делу: его обвиняли в «совращении бывшего чекиста и антирелигиозника в религиозный дурман».

Странная была история этого «совратителя». Если раньше в камерах судьба меня сводила с «разбойниками», глумителями и иудами, то сейчас передо мною был живой «Петр».

Мой новый знакомый, человек очень уже не молодой, с тонким интеллигентным, даже вдохновенным лицом, до революции и в первые ее годы был священником. Имел он университетское и академическое образование и служил в свое время в Петербурге. Голод загнал его на Украину, его родину. Здесь у него был брат, тоже священник. Сам он не был женат. У брата же были жена и двое детей, совсем еще маленьких. Не успел он приехать, как брата арестовали и расстреляли.

Тут-то и постигло о. Кирилла искушение, воспоминание о котором сейчас в камере его так сильно мучило. Он взял к себе семью брата, уехал с нею в другой город, где их не знали, и выдал ее за свою.

Священство свое он скрыл. Это не было трудно, так как здесь никто не знал, чем он занимался в Петербурге. Стал он музейным работником. Жизнь у него пошла своим порядком.

То, что отец Кирилл скрыл свое священство, помогло ему во многих отношениях: спасло его от участи брата, позволило спасти его осиротевшую семью, которая иначе наверняка погибла бы. Это, наконец, избавило его от необходимости «принести хулу на Духа», то есть публично отречься от сана, со всяким при этом кошунством, как вынуждены были делать немало его собратий, которые предпочли падение гибели.

«НЕ ЗНАЮ СЕГО ЧЕЛОВЕКА!» — таким путем пошел отец Кирилл. Путь был нелегкий. Душу отравило сознание греха. Над ним повисло гнетущее чувство страха. Навсегда скрыть свое прошлое было делом почти невозможным. Доходили куда-то слухи. Кто-то о чем-то догадывался. Нужно было бояться за каждое слово, остерегаться каких бы то ни было встреч.

Одним словом — не жизнь, а каторга! Хуже, чем у других советских людей, у которых не было такого прошлого, или кто, по крайней мере его не скрывал.

Развязка наступила, как всегда, неожиданно и по какому-то совсем нелепому поводу. По специальным музейным делам отцу Кириллу пришлось встретиться с Левковичем. Ему очень этого не хотелось, так как о Левковиче в кругу его сослуживцев ходили самые неприятные слухи.

Рассказывали, что он целыми днями запирался у себя в кабинете и предавался там мрачному пьянству — в одиночку. Иногда оттуда доносился его разговор неизвестно с кем. Это явно были «зеленые чертики».

С таким человеком иметь дело мало удовольствия, хотя бы и по чисто служебной потребности.

Однако, отец Кирилл и Левкович неожиданно для всех подружились. Сначала беседы у них были на чисто музейные темы: Левковичу нужны были знания и опыт специалиста. Он даже пригласил его к себе на работу в качестве консультанта. Потом они стали встречаться чаще и разговор у них становился непринужденнее и содержательнее.

— А ведь мне известно, что вы когда-то были священником, — сказал ему один раз совсем для него неожиданно Левкович. Увидя, что тот был этим смертельно ошарашен, убит, он поспешил его успокоить: — Это ведь было давно, и бояться вам совсем нечего. МЫ, — он подчеркнул это слово, — давно это знали и все-таки вас не трогали. Незачем было. Свою работу вы делали честно, ну, а кто прошлое помянет... Советская власть, вы знаете это, умеет прощать!

После этого дружба стала интимнее.

Стали говорить и на религиозные темы. Рассказал Левкович и о своем «попике». Может быть, это было и не так, но отцу Кириллу почему-то показалось, что это был как раз его брат. Левковичу он этого не сказал. К чему?

Но, странное дело: он почувствовал к палачу своего брата невыразимое чувство жалости.

— Об этом не думают, — сказал он мне и заставил меня крепко об этом задуматься, — но бывают случаи когда преступника нужно жалеть больше, чем его жертву.

Между ними обоими произошло что-то очень значительное в тот самый вечер, когда Левкович, вернувшись из Дальних Пещер, подал заявление об уходе с работы. Похоже было на то, что о. Кирилл принял исповедь, а может быть, дал и Причастие СРАБОТАННОМУ чекисту.

Отец Кирилл ничего об этом не говорил, но это выходило из всего контекста его рассказа. Во всяком случае, эта их встреча повлияла на решение Левковича, ставшее роковым для них обоих. Текста заявления Левкович никому не показывал. Но арест последовал после того на другой же день.

Через месяц приблизительно, после ареста Левковича, «взяли» и отца Кирилла. Особенно тяжелого наказания ему не угрожало, так как формально его обвиняли, конечно, не в «совращении» — это было только отягчающим обстоятельством — а в «АНТИСОВЕТСКОЙ ПРОПАГАНДЕ». Больше пяти-десяти лет концлагеря за это не полагалось.

К своему несчастью отец Кирилл относился с редким спокойствием. Он видел в нем искупление своего вольного и невольного грехопадения.

«Исшел вон, плакася горько!» Он действительно плакал. Но это были скорее сладостные, чем горькие слезы...

Не каждый идущий в Дамаск, увидит на пути своем свет.
И не каждый, увидевший свет, прозреет.

Когда-то, еще до ареста, довелось мне прочитать пасхальную проповедь отца Сергея Булгакова. Ее тема была: САВЛ ИЛИ ИУДА?

Каким путем идет русский народ, искушаемый коммунизмом? Дорогой Иуды, которая ведет к неотвратимой гибели, или дорогой Савла, которая привела его в Дамаск, где из грешного Савла он стал святым Павлом?

Мне хотелось бы ответить на этот вопрос — для этого, собственно, я и написал все это.

Есть в русском народе, как и во всяком другом, разные люди. И те, кто, не задумываясь, сдирают с Него ризы и об одежде Его мечут жребий. И те, кто, кивая головой, издеваются над Ним. И те, что отрекаются от Него, подобно апостолу Петру: «Не знаю сего человека».

Есть иуды, для которых остается только удушение. Есть разбойники, из бездны греха узревающие святой свет вечной Истины. Есть, наконец, немало и Савлов, которые воздвигают на Него гонение, не подозревая, что их ожидает преображение в Павлов.

Но из каких бы людей ни состоял наш народ, для него не закрыт, не может быть закрыт путь к спасению! Может быть, ценою великих и страшных искупительных жертв.

Немало их уже принесено. Немало остается их и впереди. Но сколько бы их ни было, все они растворяются в той величайшей жертве, которая была принесена на Голгофе — за всех одинаково: за равнодушных, за отрекающихся, за глумящихся, за предателей, за хулителей и гонителей.

Э. К. Штепа

НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЛЮДИ!



Э. К. Штеппа. Фото 2000 г.

1. СУДЬБА

Это было в конце 1944 года. Наши жили тогда в Плауене (Средняя Германия). Папа, мама, моя сестра Аллочка и ее маленькая дочь Адочка — вся моя семья. Боже мой, каким счастливым чувствовал я себя в те дни! Только тогда понял я по-настоящему, как дороги мне эти люди. Это были те, кто искренне меня любили, и я их, конечно. Я чувствовал, что люблю их всей своей юной, неопытной душой, люблю на всю жизнь, навсегда.

— А придется ли нам еще увидеться? — где-то в глубине беспокоила мысль. Ведь я уезжал на фронт.

Первый раз в жизни (и как потом оказалось — последний) я наслаждался тем, что был дома и чувствовал на себе любящий взгляд маминых глаз. Боже мой, я вижу эти глаза и сейчас, когда закрываю свои. Глаза говорят мне: «Спокойной ночи, сыночек», и я чувствую нежность и ласку ее руки, глядящей меня по лбу... Ее уже нет, мамочки моей. Так и не пришлось ей увидеть своего Эриньку, непутевого, но ласкового и любящего сына, своего единственного. Теперь я представляю себе, как болело ее сердце в те минуты. Потом последовали долгие годы разлуки и полнейшего неведения о том, жив ли ее сын?.. А если и жив, то как? В каких условиях он живет? Каким стал? Помнит ли, любит ли мать свою?

Тогда я понял впервые, что такое мать, что такое любовь материнская. Нет, тогда, пожалуй, я только думал, что понял. По-настоящему это произошло полугодом позже, когда меня, пленного немецкого солдата, привезли в товарном вагоне в

город Ковель на Украине. Наш эшелон стоял на станции, в тупике. Мы ждали выгрузки. Двери вагона были закрыты. Я лежал на полу и в щелочку с замирающим сердцем выглядывал, робко и виновато смотрел на родную землю. Что ждет меня впереди, на этой земле родной? Тюрьма? Лагерь? Каторга?.. 10 лет каторги — я знал что так будет, и что именно 10 лет каторги. Я их ждал. Еще в детстве бабушка называла меня, шутя, «каторжником», т. к. я родился с длинными волосами. По ее убеждению, это была верная примета того, что не избежать мне каторги. Бабушка даже как-то прислала мне открытку с изображением заключенных. Я и сейчас вспоминаю, как на этой открытке были изображены двое арестантов, которые из окна тюремного вагона с умилением на лицах смотрели на птичек, клюющих что-то у вагона.

Я поискал глазами — птичек не было, но вдоль вагонов ходила женщина. Она не обращала внимания на выкрики прогоняющего ее конвоя, и заглядывала в каждую щель, спрашивая, не видал ли кто случайно ее сына, тоже солдата. Она заглянула и в наш вагон. Я увидел ее плачущие глаза. О, Боже, это были глаза мамы, только не моей. Но и моя мама такими же глазами, полными любви и ужаса, смотрела на меня в те дни нашей последней встречи.

На какой-то миг мне показалось тогда, что это она. «Мама!» — закричал я, протягивая к ней руки. На глаза навернулись слезы. Я и сейчас плачу, вспоминая эту мгновенную вспышку, эту проснувшуюся любовь к маме. А ведь прошло уже 43 года. Мамы уже давно нет на этом свете. Я был у нее на могилке и тихо плакал. Так и не увидела она Эриньку своего...

Пришел день отъезда. Провожали меня папа и Алла. Мама лежала в слезах, была не в силах пойти с нами. Я простился с ней с теплотой и болью в сердце. Никогда не забуду, как крепко обняла она меня и спрятала свое плачущее лицо у меня на груди. С какой неохотой отпускала она меня. Куда?.. На фронт? На смерть? На муки? Мы ничего тогда не знали...

Я взял на руки маленькую Адочку. Об этом моменте я потом вспоминал а лагере:

Двадцать лет уж пробежали,
Год за годом унося,

А давно ли ты лежала
На руках моих, дитя?

Ты так весело играла
Моим носом, глазом, ртом...
И так громко хохотала,
Когда рявкал я при том.

— Прощай дитя! Дай Бог тебе счастья в жизни! Увидимся ли мы еще когда-нибудь?

На вокзале было много людей. Многие, как и мои, провожали солдат на фронт. У всех на глазах слезы, печаль и вопрос: «Почему? Кому это нужно? Кто послал на смерть и муки этих детей рукой недрогнувшей? Чья воля во всем этом?..»

Папа был очень грустным, но молчал. Теперь я понимаю, что тогда он боялся открыть рот, чтобы не зарыдать. Роль отца — быть сильным. Он не хотел расстраивать ни меня, ни Аллу, которая плакала, не стесняясь. Слезы так и текли по ее лицу, такому дорогому лицу сестренки моей, которую я любил всю жизнь — и до разлуки и после. На всех этапах моей жизни, в какие бы переплеты мне не приходилось попадать, я всегда видел перед собой ее любящие ласковые карие глаза. Когда уже в лагере, я начал пробовать писать стихи, то первые были о ней. Вот они, написанные на стене трюма парохода «Дальстрой», когда меня везли на Колыму:

Ночи пасмурной мгла...
Чуть мерцают огни
Фонарей в многолюдном вокзале...
Пара кареньких глаз,
В тени длинных ресниц,
Вы меня навсегда провожали.
Грянул третий звонок,
Поезд тронулся в путь...
Долго ты на перроне стояла...
Белый теплый платок
Прикрывал твою грудь,
А глаза были полны печали...
И пошел роковым
Я путем фронтовым,

Выли бомбы и пули свистали...
Вы со мною шагали,
Пара каренких глаз,
В тени длинных ресниц,
Полны грусти, любви и печали.

Уже в лагере, я добавил:

И пошел я потом
Этим страшным путем,
Где друзья на ходу замерзали...
Вы меня согревали,
Пара каренких глаз,
В тени длинных ресниц,
Полных грусти, любви и печали.

Образ любящей, любимой сестры я пронес в своем сердце через всю свою жизнь. Я знал и чувствовал, что она меня любит, а это так дорого сердцу человеческому, особенно, когда ты никому не нужен, когда вокруг тебя грубые, часто жестокие люди. Это чувство того, что ты любим кем-то особенно важно тогда, когда ты измучен непосильным трудом, голодом и холодом, когда тебе приходится сносить издевательства, надругательства и бесконечное унижение со стороны конвоя, надзирателей и бригадиров. Особенно дорого это чувство тогда, когда ты душевно сломан, обессилен, подавлен, когда уже почти не остается надежды на то, что удастся выжить, что и это пройдет... В такие моменты так хотелось лишь одного, чтобы кто-нибудь поплакал о тебе. В своем воображении ты уже видел себя голым, замерзшим трупом, который раскачивают за руки и ноги и бросают в кучу таких же обтянутых кожей скелетов, в братскую могилу, выкопанную рядом с колючей проволокой. Каждый день, проходя строем «по пять, руки назад, голову вниз» на работу и с работы, ты видишь эту братскую могилу и ждешь своей очереди... Тогда я написал эти стихи:

Будет долго узник бедный
В мерзлоте зарыт, лежать.
Над могилой его снежной
Не склонится, плача, мать.

И не вырастет на камне
Ни былинка, ни цветок...
Путешественник случайный
Не промолвит: «Спи дружок!»
Только ветры и метели,
Да тайга, шумя листвою,
Будут петь, как раньше пели
Над могилкой ледяной.
Спи же, спи — забудь невзгоды,
Путь окончен роковой!
Ни проверки, ни разводы
Не нарушат твой покой!

Все это было потом... А пока что я стоял у окна вагона, уносящего меня от родной семьи.

Долгие годы прошли, пока я узнал об их судьбе. В эти страшные годы медленного, мучительного уничтожения человеческой личности надежда часто покидала меня и я ждал своей смерти... В такие моменты воспоминания о тепле, о любви, о светлом в нашей семейной жизни давали мне силы снова начинать надеяться, были как звездочки в крошечной темноте бесконечной северной ночи.

Где-то там далеко у меня осталась любимая девушка, память о которой неоднократно возвращала меня к жизни. Увижу ли ее когда-нибудь? Это не было так важно, как то, что она была, что была любовь...

Приехав в казарму, я встретился с моими новыми друзьями — немецкими солдатами. Нас переодели в полевую форму, выдали солдатские удостоверения и записали туда винтовки, противогазы и все прочее, что полагалось иметь при себе новобранцу.

Сколько унижений приходится перенести новобранцу! Говорят, что это необходимо для будущего. Есть даже пословица: «Тяжело в ученье, легко в бою». Доля истины, конечно, в этих словах есть. Ведь все в жизни познается сравнением — по-видимому, все тяготы фронтовой жизни были бы совсем невыносимы, если бы им не предшествовала муштра в казармах.

Когда ты попадаешь на фронт, ты уже «что-то». Ты уже солдат, готовый умереть, выполняя присягу. С тобой уже немного считаются и ефрейторы, и офицеры. Да и винтовка у

тебя в руках и в патронташах боевые патроны... Старые солдаты рассказывали, что иногда самые злобные ефрейторы на передовой первыми получали пули — в затылок. Все это принимается во внимание, и солдат на фронте чувствует себя больше человеком, чем в казарме.

Наша дивизия расположилась на участке фронта, граничащим с Восточной Пруссией, туда нас и повезли. Фронтальная линия уже приблизилась к самым границам рейха и остановилась там. Советское командование делало передышку — готовились к решительному наступлению на территорию врага. Исход войны был уже всем ясен — и мне в том числе, конечно.

Прощаясь, папа советовал мне не пускаться ни на какие авантюры, а разделить судьбу немецкого солдата. «В серой массе шинелей ты сможешь остаться незамеченным. Долго в плену, после конца войны, их держать не будут. Наберись терпения и жди, пока вернут вас в Германию и отпустят... Возврата в Россию нам нет!» В таких затуманенных красках я и представлял себе свое будущее после конца войны... Но пока война все еще продолжалась...

Нас выгрузили на какой-то станции в Восточной Пруссии. Мы ночевали на сеновале. Я долго не мог заснуть. Мне вспомнился Беловод, село, в котором мы с Аллочкой провели лето перед войной у бабушки и дедушки. Там иногда мы доставляли себе удовольствие спать на сене. Клуни — украинские сараи — были маленькими, на одну корову. В здешней же «клуни» поместился целый маршевой батальон и еще на два таких места бы хватило.

Утром приехал какой-то генерал и держал перед нами речь. Часто потом я вспоминал его напутственные слова, особенно когда бывали тяжелые моменты... и помогало...

Я не помню точных выражений его речи, но сказал он приблизительно следующее: «Солдаты! Перед вами дни, а может быть, и месяцы суровых испытаний. У вас будут моменты, когда вам покажется, что вы больше выдержать этого не сможете... Снизу вода, сверху дождь, впереди огонь, пули, снаряды... В такие минуты, солдаты, помните только одно: «Человек может выдержать гораздо больше того, что ему кажется!»

Не раз мне приходилось впоследствии убеждаться в справедливости этих слов.

После завтрака началось первое испытание — поход в строю на далекое расстояние. Прошагали мы за день около ста километров, и многим уже казалось, что они не выдержат... Но шли и дошли... Вспомнили слова старого генерала — помогло!

Наша часть остановилась в селе Энгельштейн, и нас расположили в частных домах по отделениям. Нашему отделению было дано задание освоить миномет. Целыми днями мы тренировались, собирая и разбирая его, и меняли позиции. Приятным сюрпризом было то, что командир отделения был смещен. Наш старый ефрейтор Шмидт остался в казармах мучить новобранцев. Нам назначили старшего ефрейтора Ганке. Это был честный, смелый и справедливый человек со множеством наград, за плечами у него были три года фронтовой жизни. Главным было то, что он старался, по возможности, облегчить участь своих подчиненных, а не усложнить ее, как делал Шмидт.

Незаметно подошли Рождественские праздники. Я получил посылку от мамы, поздравление и письмо от Алочки (не сестры моей, а любимой девушки). Письма я не сохранил, но, пока было возможно, носил его на своем сердце и даже целовал тайком от своих друзей. Она сохранила мой ответ, и вот теперь это письмо лежит передо мной как реликвия прошлого... Письмо было написано мной 10 января 1945 года. Вот оно:

Здравствуй милая девочка!

Очень был тронут твоим теплым поздравлением. Я, свинья, конечно, тебя не поздравил, в чем каюсь, и уже наказан угрызениями совести.

Твое поздравление пришло на десятый день после Нового года, мои, получишь, возможно, на двадцатый. Не важно, когда, важно, что я тебе желал, желаю и буду всегда желать много, много счастья не только в Новом году, но и на все будущее время.

Сейчас мне улыбнулось счастье (дай Бог не сглазить), и я послан на учебу. 4—5 недель буду учиться на радиста. Что за это время можно выучить, не знаю, но, по крайней мере, на некоторое время отдых.

Ну, что я могу писать еще о себе, не знаю. К своему существованию пытаюсь привыкнуть. Получается слабо, но, в общем, ничего себе. Говорят, что человек живет надеждой, но у меня ее нет. Привыкаю жить без надежды, как старик — прошлым.

Я сейчас нахожусь в двух десятках километров от тех мест, где мы с тобой были вместе и прожили ряд спокойных и (не знаю, как для тебя, но для меня так) счастливых дней.

Целую, привет маме. Эрик.

Это было последнее письмо, посланное мною с фронта.

Прочитав сейчас это письмецо, я вспомнил, что мне и вправду тогда повезло. Наш батальон ушел на фронт. Начались тяжелые бои. Из моих друзей-однополчан остались в живых очень немногие. А те, которые остались в живых, отяготили совесть свою тем, что стреляли и убивали. Такова уж доля солдатская: или ты убьешь, или тебя убьют.

А я с десятками других таких же счастливиц был отправлен в тыл и занялся там изучением телефонов, радио, азбуки Морзе и прочего, что необходимо знать связистам.

С приближением фронта мы отступали глубже в тыл. Количество курсантов и офицеров вокруг нас росло. Все были рады, что не приходится стрелять и что в тебя не стреляют.

Письма домой я посылал часто, но ответа так и не получил. Только теперь я узнал от сестры, что их город был разбомблен настолько, что нечего было и думать о получении писем. Я прочел в газете о большом воздушном налете на их город, о тысячах убитых там... и предполагал самое худшее.

Учеба продолжалась. Мы жили дружно. Мои товарищи — безусые мальчишки по 17 лет — смотрели на меня, как на «старика» (мне было 19). Многие из них явились на призыв прямо со школьной скамьи. Нравы были еще не испорчены. Все ненавидели войну и мечтали о доме, о любимых друзьях и подругах.

Меня всегда любили и уважали в разных коллективах. Я и сам не знал почему, но факт оставался фактом: плохих людей мне почти не пришлось встретить. А хорошие люди тянулись ко мне и часто помогали... и спасали.

С раннего детства я верил в Добро, был убежден в том, что за хорошие поступки человек награждается, а за плохие наказывается. Я верил в то, что все жизненные невзгоды человек так или иначе сам заслужил, что пенять ему за них надо на самого себя. Благодаря этим убеждениям, я уже в раннем возрасте научился принимать все за должное. Все от Бога! Молился я не о себе, а о близких своих и все молитвы кончал словами: «Да свершится Воля Твоя!»

Очень рано я научился чувствовать свое несовершенство и, желая стать лучше, верил в то, что человек растет в трудностях, даже желал себе их. Мне хотелось испытать все, что может выпасть на долю человека.

Война подходила к концу. В боях наша часть больше не принимала участия. Я был связистом. Моя работа заключалась в том, чтобы налаживать телефонную связь при занятии новых позиций или после отступления. Мы отступали всегда до боев, не соприкасаясь с противником. Когда мы получали приказ отступить, я должен был смотать провода и разобрать телефонные аппараты. Другие укладывали все на грузовики. Иногда приходилось стоять на посту или копать окопы.

Однажды я был засыпан землей в окопе, оказавшемся на пути проезжающего танка. Товарищи выкопали меня, вернули к жизни и утверждали, что теперь уж мне ничего не должно быть страшным, что я переживу войну и буду жить долго. Примета считалась верной. «Кто побывал в могиле и вышел живой, долго уже в нее не попадет» — говорили они, и я им верил, хотел верить.

Я верил в свою судьбу. Я верю до сих пор в эту неведомую силу, охраняющую жизни наши. Сила эта всегда проявлялась в моей жизни в самые критические минуты, когда начинало казаться, что надеяться уже больше не на что.

Мои первые воспоминания о жизни связаны с этой силой. Мне было тогда 3—4 года, и я был болен брюшным тифом. Даже помню, как я заразился — выпил воды из корыта для лошадей. Ярко в памяти моей сохранилось и это корыто, и сестренка моя, которая пыталась не допустить, чтобы я пил грязную воду.

Я долго лежал в кроватке, то засыпал, то просыпался. Неизменно возле меня была моя мама, то плачущая, то целующая меня. Однажды я открыл глаза и вместо мамы увидел незнакомую женщину в белом платье. Я понял, что это был мой Ангел-хранитель, о котором мне часто рассказывала мама, но которого я до сих пор не видел.

Ангел положил свою прохладную руку на мою голову, улыбнулся и тихо сказал: «Не бойся, все будет хорошо!» Я снова заснул, а проснувшись, увидел маму и рассказал ей про Ангела. Она заплакала и положила свою голову на мою подушку, рядом со мной. Я снова заснул...

Когда я начал выздоравливать, мама учила меня ходить. Мне было смешно, что я не мог ходить... Когда я совсем выздоровел и окреп, я перестал думать об Ангеле, но его появления никогда не забыл.

Ангел пришел ко мне в 1942 году, когда я умирал в концлагере в Германии. Я попал в концлагерь после того, как был пойман немецкой полицией при попытке бежать из остовского лагеря. Я был болен мокрым плевритом. Судьба сберегла меня и на этот раз: меня не «добили» на работе, когда я свалился с ног, как это делали с другими.

Мой Ангел на этот раз был в образе конвоира-эсэсовца, который приказал другим заключенным отнести меня к машине и по приезде в лагерь сдать санитарам. Около двух месяцев я лежал в лазарете без всякого лечения, лишенный аппетита и высохший уже до состояния мумии. Я лежал и плакал — жалел себя, вынужденного умереть в 16 лет, и маму, и папу, и Аллочку, которых хотелось хоть раз еще увидеть. Вместо мамы у моей кровати появлялся иногда санитар-румын и спрашивал, жив ли я еще, напоминая, что пора уже освободить койку.

На этот раз мой Ангел явился ко мне одетым в офицерскую форму. Это был врач-инспектор, которого кто-то прислал в наш лагерь. Каким-то образом он заглянул в нашу палату, подошел к моей кровати... и приказал отвезти меня в больницу. Я понял, что буду жить.

Никогда не забуду того чувства радости, которое охватило меня, когда я увидел чудесный сад, голубое небо и гуляющих по саду больных в пижамах. И никто их на работу не гнал, не бил, собаками не травил, не кричал на них громовым голосом... Это был или сон или рай!..

За мной ухаживали сестры. О, как приятно было видеть их, улыбающихся, в белых халатах. Одну звали швестер Инге, другую швестер Лизе. Долгие годы потом я молился о них и сейчас еще вспоминаю с чувством благодарности и любви. Дай Бог им счастья, если они живы, или вечного покоя, если нет! Обе они были моими Ангелами и благодаря им я остался жив. Не только остался жив, но еще — чудо из чудес! — попал еще раз в родной дом, под крылышко любимой мамы. Выходила она меня — родная, незабываемая моя мама.

Жизнь приняла новый оборот: я был солдатом, стоящим с винтовкой в руках на посту у моста. Я стоял там целый день.

Никто меня не сменил. Ночью началась канонада. Снаряды начали падать вокруг меня то справа, то слева. С другой стороны реки ударила пулеметная очередь. Послышалось русское «ура!», а за ним немецкое «хурра!»

Я понял, что пришло время оставить пост. Мимо пробежал солдат из нашей роты. «Бросай оружие и беги за мной! Русские вот-вот будут здесь. Идем на Запад! — прокричал он. — Может быть, удастся попасть в плен к американцам. Все-таки лучше, они хоть кормят и дают курить».

Я бросил винтовку и последовал за ним. Мы шли молча. Ночью пришли в какое-то село. В нем не было ни крестьян, ни солдат. Мы зашли в пустой дом, переоделись в гражданскую одежду, взяли велосипеды, которых оставалось много в немецких селах, и смело тронулись на Запад. Навстречу нам показался отряд полевой жандармерии. Нас остановили, один из жандармов потребовал у нас документы. У меня от страха под ложечкой началась резкая боль и закружилась голова.

— Все! — мелькнула мысль. — Капут!

Вдруг откуда-то прискакал какой-то казачий разъезд (из власовских частей). Жандармы бросились к ним. Крики, споры... Мы с солдатом переглянулись — и были таковы!.. Нажали на педали, и только ветер свистал в наших ушах.

Мы ехали на Запад. Проехали поселок, выехали на автостраду. Вдруг слышу свое имя: «Эрик!» Я оглянулся и обомлел — на остановившейся машине сидели солдаты моей роты.

Нам некуда было деваться. Я бросился к ним и с деланной радостью на лице и начал рассказывать от том, что с нами произошло, как пришлось переодеться в гражданскую одежду с целью маскировки, чтобы не попасть в плен к занявшим село русским.

В части меня вызвал к себе командир батальона, выслушал мою историю, пожал мне руку и приказал выдать мне новое обмундирование и сотню сигарет за храбрость и находчивость. Так и не пришлось мне тогда ни погибнуть, ни дезертировать... Знать, на все Божья воля!

Мы продолжали отступать. Однажды нам пришлось проходить через деревню, в которой до этого побывали русские войска. В одном сарае мы обнаружили бутылок двадцать оставленного ими спирта. Товарищи мои прибежали ко мне, с радостью рассказали о своей находке, думали меня порадовать:

«Ты говоришь, что ты русский, значит, умеешь пить. Покажи нам, как это делается!» Они слышали о том, что русские стаканами пьют водку и налили мне полный стакан спирта. Не желая ударить лицом в грязь, я опрокинул стакан, выпил до дна и глотком воды запил. Мальчики глаза пораскрывали, со смехом еще стакан налили... Я закурил, расхрабрился и еще стакан — след за первым.

За этим занятием застал нас наш фельдфебель. Он всех нас разогнал, а мне дал задание установить телефонную связь с соседним селом, где находилась одна из наших рот. Я взял, что было нужно, и пошел в направлении деревни. Уже вечерело. Я шагал бодро, а спирт по сосудам циркулировал и настроение поднимал еще выше. Я даже украинскую песню «Йихав казак на вийноньку...» затянул, да и заблудился... и попал в другую деревню, где стояла другая часть. Там меня, конечно, задержали, обезоружили и под стражу взяли, как весьма подозрительную личность.

На следующее утро я проснулся в каком-то сарае, охраняемом двумя солдатами. Я, конечно, ничего не помнил из событий прошлой ночи. Мои охранники оказались покладистыми ребятами, посоветовали, что сказать начальству, и через несколько минут меня отпустили. Я перекрестился и пошел в свою часть. После этого я уже с ней не разлучался до рокового дня 9 мая, убедившись в том, что это моя судьба.

Утром 9 мая мы увидели бывших узников концлагерей, идущих по шоссе в полосатых костюмах с номерами. Мы здоровались с ними, поздравляли друг друга с концом войны, обнимались и плакали.

Когда наш гауптман объявил нам о капитуляции, радость наша была смешана со страхом. Мы отдавали себе отчет в том, что мы были на Восточном фронте, и никто не знал о том, как поведут себя победители. Мы перестали быть солдатами, а что теперь?

Я понимал важность случившегося — кончилась Вторая мировая война. Эту дату 9 мая 1945 года человечество никогда не забудет, этот день принадлежит истории. Но для меня этот день оказался роковым!

Постараюсь вспомнить все подробности этого дня. После объявления о капитуляции гауптман Эйхе заявил нам о своей готовности помочь всем, кто хочет, добраться до американцев.

Он сказал, что считает это своим последним долгом перед нами, солдатами.

Мы находились в окрестностях города Раудниц, на восточном берегу Эльбы. По имеющимся сведениям американские войска должны были быть недалеко, на западном берегу реки.

Мы повыбрасывали в Эльбу все имеющееся у нас оружие, включая карабины. Весь день и всю ночь мы ездили вдоль берега реки в поисках моста. Моста мы так и не нашли — все были взорваны...

Сейчас мне хочется описать картину, врезающуюся особенно ярко в мою память. Дорога, по которой мы шли, была забита всевозможным транспортом, как военными так и гражданскими автомашинами. По ней тянулись и крестьянские обозы. Движением никто не руководил, так что создавались пробки.

День уже подходил к концу. Темнело... Шофера зажгли фары... Все машины ехали по левой стороне дороги, т. к. на правой была авария. Мое внимание остановилось на следующей картине: один молоденький жеребенок, по-видимому, заблудился и в ужасе метался между двигающимися машинами. Его громкое ржание разносилось на далекое расстояние, но никто не обращал на него внимания.

Мне пришла мысль о том, что в образе этого жеребенка выразилась и моя судьба. Я, как и этот жеребенок, растерялся и не знал, куда податься. Как и ему, мне было страшно, и, как и он, конечно, я хотел одного — выжить.

Положение мое было не из легких — я был единственным русским среди немецких солдат. Их положение было проще — они находились в своей родной, хоть и оккупированной стране. У каждого из них было или родное село или родной город, где жили их семьи и куда они стремились.

Я знал о том, что моя семья находилась в Плауене. Но вот уже три месяца прошло, и ни одного письма от них не было. В газетах писали о том, что город этот был полностью разрушен, что жертвы насчитывались тысячами. Что, если их больше нет, если я остался один? Куда мне идти?

Теперь я понимаю, что нужно было проявить энергию и во что бы то ни стало стремиться на Запад. Но я тогда растерялся и пошел туда, куда шло большинство.

Мы переправились через Эльбу на лодках. На западном берегу была Чехословакия. Нас встретило гражданское ополчение — вооруженные люди с красными повязками на рукавах. Они нам приказали идти вперед по большой дороге, не сворачивая в сторону и не заходя в поселки.

В одной деревне мы все-таки остановились, зашли в дом. Нам дали поесть. Со стороны местного населения враждебности не чувствовалось. Две чешские девушки подошли к нам. Я вспомнил, что у меня в рюкзаке остался флакон одеколona, и дал его одной из девушек. Она заулыбалась, покраснела, начала благодарить.

Там же мы встретили группу гражданских французов. Французы возмущались тем, что русские отобрали у них часы. Они предложили мне идти с ними, но я не решился... Позже мы встретили группу русских девушек-остовок. Они тоже звали с собой, и снова я не решился — пошел за большинством, которое шло по большой дороге... Куда?.. Уйти в то время было вполне возможно... но куда?

Около сел нас встречали женщины-немки с едой в руках. Одна даже держала в руках подносик с рюмочками и предлагала желающим. Говорили о том, что всех мужчин собирают в лагеря. В деревнях оставались одни женщины и дети.

Чаще и чаще встречались русские солдаты. Они стояли у дороги и спрашивали всегда одно: «Ур, пан, ур?» Некоторые потрясали винтовками и спрашивали: «Русс?» (есть ли среди вас русские?). По-видимому, это были любители острых ощущений, вкусившие сладость убийства. Я старался избегать подобных встреч, молча шел за толпой.

В каком-то городе начали формировать колонны по месту жительства. Я порвал и выбросил свои документы — там было указано место моего рождения город Нежин. Это меня не устраивало.

Через несколько дней мы прибыли в город Дрезден, т. е. в бывший город Дрезден: от него оставались одни стены и развалины. Так выглядел Крещатик у нас в Киеве после того, как были взорваны заложенные в дома бомбы. Так, наверное, выглядел и Плауен... Эта картина еще больше убедила меня в том, что моих больше нет.

Мы зашли в один «дом». Там были женщины. Они плакали, кормили нас, чем могли, и рассказывали об ужасах,

пережитых ими в конце войны. Мы слушали и чувствовали себя виновными.

На стенах развалин висели объявления о том, что все бывшие советские граждане должны регистрироваться в комендатуре.

Проходя улицами Дрездена, на одной стене я прочел: г. Плауен, 97 км. Никогда не простил я себе малодушия, помешавшего мне тогда пойти в том направлении. Я пошел за толпой...

Нас пригнали в городок Генесверда. В этом городке наша часть стояла месяца два тому назад, когда я учился на телеграфиста. В одном из этих домов жила Урсула, дочь хозяина пивной, в которую мы часто заходили по вечерам. Эта Урсула заплакала, когда прощалась со мной, и, прижавшись ко мне, сказала, что любит меня, что плачет обо мне. Как сжалось мое сердце, когда я проходил мимо той пивной, но зайти побоялся. И этого я себе никогда не прощу.

Лагерь, к которому мы подошли, был за городом — еще недавно здесь были русские военнопленные. Ворота были широко открыты, и у входа стояла толпа русских офицеров и солдат, которые спрашивали у проходящих солдат, нет ли среди нас русских или говорящих по-русски? Я, конечно, молча прошел в лагерь.

Огромная территория лагеря была окружена колючей проволокой. Колючая проволока разделяла лагерь на несколько секций, в каждой секции было по несколько бараков. Между секциями были проходы, по которым прохаживались немецкие унтер-офицеры с нарукавными повязками с надписью «лагерполицай» и с палками в руках. Из военнопленных сразу же формировались «сотни» и назначались старшие.

Меня загнали в одну из зон, в которой были не бараки, а палатки. Я был рад, что попал в палатку — в бараках заедали клопы. Не помню точно, через сколько дней нам дали первую пайку хлеба — на третий или на четвертый. Хлеб давали большими круглыми булками, каждая на 2-3 кг. Одну булку — на десять человек.

Я помню, как тщательно делили тогда хлеб. Для меня это не было новым (у меня был опыт немецкого концлагеря), для многих же немцев это было в новинку. Делили так: рисовали на бумаге круг размером в булку, разделяли его на 10 частей по

радиусам, потом переносили этот чертеж на нижнюю часть булки и по проведенным линиям осторожно резали деревянным ножом. После этого проверяли вес каждой пайки на весах, уравнивали довесками и раздавали по списку. Один человек поворачивался спиной ко всем и называл имена из списка, а другой спрашивал, указывая на пайку, чтобы все видели: «Кому?»

О, хлеб-хлебушек! Как скоро научится ценить тебя голодный человек! И какой же ты вкусный!

При дележке иногда бывали споры, но драк я не помню. Через некоторое время стали давать и «баланду» — серую, чуть сладенькую водичку, пахнувшую свеклой. Котелки сохранились у всех солдат, да и ложки тоже.

Я старался поменьше разговаривать, чтобы не вызвать подозрения своим произношением. Я нашел где-то книжку и читал ее все время.

С первой сотней мне повезло: наш сотенный оказался расторопным, и у него было много знакомых. Он договорился с кем-то, и наша сотня начала ходить по ночам на кухню, чтобы чистить картошку. За это мы получали лишнюю порцию баланды, а иногда и картошки. Перепадали нам и кости, на которых бывали остатки хрящей и даже мяса. Мы варили суп в котелках... потом грызли кости и наслаждались. Как они пахли!..

Счастье было недолгим. Нашего сотенного скоро «продали» — он оказался оберлейтенантом авиации, не желавшим идти в офицерскую зону. Такое поведение вызвало подозрение, и его перевели к офицерам, а нам назначили другого.

Солдат подолгу в одной сотне не держали — все время переводили из одной зоны в другую, тасовали, как карты в колоде. Сортировка велась то по месту жительства, то по роду войск, то по возрасту. Везде записывали данные о месте рождения, работе, профессии и проч.

Я говорил, что родился в городе Ратибор, в восточной Силезии, который был недалеко от польской границы (диалект жителей восточной Силезии походил на мой, славянский).

Через некоторое время я подружился с Людвигом из Сабрюккена и решил рассказать ему кое-что из своей биографии. Он был очень тронут тем, что я раскрыл ему свою тайну, и обещал помогать. Но я сам испугался разоблачения и постарался дружбу нашу прекратить.

Было лето 1945 года. Погода стояла хорошая, но мы ей радовались мало. Нас продержали в лагере до середины августа. До этого слухи о нашей судьбе были самые неопределенные: одни говорили, что скоро нас распустят по домам, другие говорили, что всех нас ждет этап в Россию и даже в Сибирь...

Среди пленных было несколько немцев из России, но постепенно они отсеялись. Одни стали переводчиками, соблазнившись на лишнюю миску баланды, других куда-то перевели.

Я решил следовать папиному совету и — терпеть, выжидать, стараться верить в лучший исход, надеясь на своего Ангела... К моему удивлению и удовлетворению мой акцент, по видимому, никого не удивлял и подозрений не вызывал. Это укрепило меня в моем решении — вытерпеть все до конца... Не вечно же в плену держать будут!

В лагере продолжалась тщательная сортировка. Выявлялись элементы, лояльные к новой власти, и другие, заслужившие особого наказания за активную деятельность во время войны. Как для первых, так и для вторых, были отведены особые бараки в отдельных огороженных зонах. Для одних это были бараки облегченного режима и усиленного питания, для других наоборот — усиленного режима и «облегченного» питания.

Из попавших в ряды лояльных, очевидно, формировалась первая администрация восточной зоны. Пока же их испытывали в роли лагерной полиции. Почти все они, а может быть и все, были бывшими унтер-офицерами. Офицеры на это дело пока не шли. Их держали в отдельной зоне, на особой категории питания.

Шла усиленная, многократная перепись пленных. Составлялись многочисленные списки, в которых данные о месте рождения, образовании, партийности и т. д. заносились в разные рубрики.

Из в зоны в зону переводили под разными предлогами. Настоящая цель перетасовок, как видно, была в том, чтобы солдаты встречались друг с другом, опознавали и выдавали «военных преступников».

Я не на 100 % уверен в том, что это так было, но так мне казалось... Может быть, я ошибался? Кто знает?

После всех этих перетасовок я попал, наконец, в ту зону, из которой собирали солдат на этап. Никто из нас не знал, куда нас повезут. Говорили о том, что нас пошлют в разрушенные

города разбирать развалины или вынимать неразорвавшиеся мины... Сохранялась и надежда на то, что нас всех передадут американцам. Об этом, конечно, мечтали все или почти все. Другие утверждали, что повезут в Россию отстраивать разрушенные города...

Нас выстроили в колонну и повели на железнодорожную станцию. Снова мы прошли мимо того трактира, хозяином которого был отец Урсулы, и здесь впервые я понял, какую ошибку я совершил, что не убежал на Запад, когда это было еще возможно...

Прощай, Германия — страна, приютившая нас! Страна, которая напала на нас! Страна, защищавшая нас от большевиков, когда они стали двигаться на Запад! Страна, которая пролила так много чужой, часто невинной крови, но и своей крови тоже! Страна, на которую мы возлагали так много надежд в начале войны!

Мне не хотелось верить в то, что все уже кончено. Неужели Западный мир примирится с тем, что вся Восточная Европа будет занята Советами? Этому не хотелось верить. Это казалось абсурдом, нелепостью, кошмарным сном.

А где же моя семья? Живы ли они? Что будет с бедным папой, если он попадет живым в их руки? А мама и Алла? А маленькая Магдалена?

Когда нас пригнали к станции, мы увидели состав из товарных вагонов, оборудованных для перевозки людей. Несколько раз нас пересчитывали и вызывали по фамилиям. Составлялись новые списки — по вагонам. Один конвой сменялся другим. Спорили, ругались! Давно я уже не слышал отборного русского мата. Мне стало почему-то стыдно. Стыдно и за себя, и за русских солдат, порочивших свой родной язык.

Погрузились, наконец. Двери вагонов задвинули засовами и завязали проволокой. Через переводчика мы были предупреждены, что при попытке к побегу оружие будет применяться без предупреждения. Снова спросили, не знает ли кто русского языка? И я снова смолчал.

В вагоне нас было человек 30. Из не строганных досок были сооружены нары. В полу была прорублена дырка — «параша».

Когда мы вошли в вагон, мы увидели там шесть унтер-офицеров из лагерной полиции. Позже мы узнали, что это были «не заслужившие доверия»; их, как и нас, отправляли в Россию.

Солдаты начали укорять их за сомнительную, непривлекательную роль, которую они играли в лагере. Унтер-офицеры оправдывались, как могли... Я в этот спор не вмешивался, лежал молча, думал...

Около меня лежал пожилой уже солдат по имени Генрих и тоже молчал. Когда мы разговорились, я увидел, что это был образованный человек — до того, как он попал в армию, он был учителем. В армии был он интендантом, но не признался в этом на допросах и предпочел разделить участь рядовых. Может быть, он что-нибудь скрывал? Я не стал расспрашивать.

Генрих говорил мне о том, что при данной ситуации для Германии выгодней быть побежденной, чем победительницей. Он говорил, что Германия стоит выше России в экономическом и культурном отношении, что степень развития науки и техники не подлежит никакому сравнению и что никто не может отнять у нее этого превосходства, как нельзя отнять опыта, знаний и культурного развития у отдельной личности. По его словам выходило, что побежденная Германия, найдет в себе силы и в содружестве с Россией придет к моральному и экономическому обновлению. Немецкий и русский народ близки друг к другу, у них есть взаимное понимание того, что один народ должен дополнять другой. Он приводил примеры из истории, подтверждающие его теорию.

Я слушал его с интересом и поражался его спокойствию, рассудительности и доброжелательному отношению к России. Я начал высказывать ему и свои мысли по тому или иному вопросу. Он иногда соглашался, но чаще спокойно и веско опровергал мои высказывания. Было что-то в этом человеке привлекательное и искреннее. Я почувствовал к нему доверие. Мы подружились и все время проводили в беседах на разные темы, забывая о том, где мы находились, о голоде, о неопределенности будущего.

Мне очень хотелось рассказать Генриху все о себе, но я не решался, а он не расспрашивал. Казалось странным, что он по моему произношению не догадывался, кто я такой. Только теперь я понимаю, что он из-за своей тактичности считал неудобным расспрашивать меня.

Мы были в пути несколько дней. Поезд наш часто останавливался в тупиках и на разъездах — поездов было много, и движение их еще не было отрегулировано.

В щели между досками вагонов мы видели много составов, направляющихся на восток. В этих вагонах везли станки, машины, различное оборудование, скот, оружие и военную технику.

Нас удивляло то, что грузовиков и машин советского производства почти не было — все американские. Становилось понятным, как была достигнута победа, но не укладывалось в голову, когда и как могли американцы доставить такое количество машин. Даже еда была американской — такого белого хлеба, который мы выменивали у солдат за сапоги или часы, до войны мы никогда не видели.

Навстречу нам, в Западном направлении, шли эшелоны с солдатами. Солдаты были веселы и возбуждены победой. Окончилась эта страшная мировая бойня — Вторая мировая война. Из всех вагонов слышались веселые хоровые песни.

В моем сердце это пение вызывало боль и тоску. В глубине сердца я чувствовал, что мое место должно было бы быть там, с ними, что я начал свою жизнь неправильно и недостойно. Росло чувство вины перед своим народом, обострялось восторгом победы, звучащем в этих песнях, заполняло душу, вытесняя все другие чувства, мысли и настроения.

В такие минуты мне было очень тяжело. Мне казалось, что я не смогу долго выдержать принятого решения не говорить по-русски. Все чаще охватывало меня желание броситься на колени на родной земле и, заплакав, воскликнуть: «О, родная земля, о, русские люди, каюсь я перед вами! Накажите меня, осудите! Хочу страданиями и мукой искупить вину свою перед вами!» Я вспоминал «Преступление и наказание» Достоевского и то, как поступил Раскольников, и думал: «Чем я лучше?» И снова предчувствие каторги, жившее в моей душе с детства, давило с гнетущей силой. «От судьбы не уйдешь!» — все чаще думал я.

Думал я и о судьбе моих родных... Где они? Что с ними? Может быть, и их везут вот сейчас в таком же вагоне?..

Привезли нас в город Ковель на Западной Украине. Не помню, кто сказал нам об этом, возможно, что один из русских солдат. Они подходили к нам иногда на остановках и предлагали менять хлеб на сапоги или часы. В этих сделках я играл роль переводчика, правда, усиленно пересыпая свою русскую речь польскими словами.

Однажды один из наших солдат выменял за свои сапоги буханку хлеба и банку тушенки. За мои услуги переводчика солдат дал мне полбанки.

С самого детства я верил в то, что за каждый свой плохой поступок человек должен понести наказание — или сразу, или позже. По-видимому, в тот момент я забыл об этом и пожалничал — угостил маленькой порцией Генриха, а оставшуюся часть съел сам.

Нас начали выгружать из вагонов, строить, пересчитывать, вызвать по именам... а меня пронесло... да так, что штаны не успевал застегивать. Боже мой, как смешно сейчас вспоминать все это, а тогда мне было не до смеха. Ведут меня под руки верные друзья мои Генрих и Ганс, а я штаны в руках держу... А конвой подгоняет, ругается... Ужас!..

Нас пригнали на окраину города. Там была зона метров триста в поперечнике, окруженная колючей проволокой. В эту вот зону нас привели строем, перечитали еще раз и сказали, что жилье сами себе строить будем. На территории зоны всюду были кучи кирпичного щебня, заросшие бурьяном. Ох, много таких развалин оставила за собой война! А сколько жизней было унесено, сколько судеб исковеркано?.. Вспомнились слова Вертинского: «Для чего и зачем, и кому это нужно?..»

В зоне первым делом Генрих принялся меня лечить. Он собрал какие-то травы, раздобыл воду и щепки для костра, в котелке вскипятил «чай». Выпивши это зелье, я заснул праведным сном. Спасибо тебе, Генрих! До конца дней своих не забуду твое доброе скромное сердце.

Позже нас накормили кашей из пшеницы, дали и хлеба, и чаю. Я почувствовал себя совсем здоровым и радовался вместе с другими ощущению относительной сытости. Я пишу «относительной», т. к. тот, кто бывал голодным продолжительное время, знает, как много должен съесть такой человек, чтобы наесться досыта. Кто такого голода не пережил, тому этого не объяснить.

После завтрака началась новая перепись. Принесли доски, соорудили столы... Несколько русских офицеров уселись на кирпичках, сели за эти столы и развернули перед собой большие листы бумаги. Нас построили в несколько очередей.

Я попал к молодому, красивому, кудрявому лейтенанту, очевидно, грузину. Его переводчицей была молодая женщина.

Вопросов было много, очередь подвигалась медленно. Я стоял молча и обдумывал свои показания, одновременно прислушиваясь к тому, что говорили другие. На душе было неважно...

Всю жизнь я ненавидел подобные допросы, копание в душе человеческой. Всегда мне проходилась чего-нибудь бояться.

Еще при немцах я боялся ходить в баню и особенно на медицинский осмотр, и страх мой был не без основания. В десятилетнем возрасте мне сделали обрезание (не из религиозных соображений, а из медицинских). Когда мне приходилось бывать раздетым, мне казалось, что все с подозрением смотрят на меня, и я готов был «сквозь землю провалиться»... Но этого, конечно не случилось... Однако как-то еще в Киеве во время медицинской комиссии врач-киевлянин Дембицкий, покосившись в моем направлении, стал что-то шептать сидящему рядом немецкому офицеру. Тот посмотрел на меня, подозвал солдата, который сразу подошел ко мне и спросил: «Бист ду айн юде?», потом скомандовал: «Одевайся и иди за мной!»

Тогда мне пришлось ощутить холодное дуновение близкой смерти... Слава Богу, это было в Киеве, где нашу семью хорошо знали. Мне было легко доказать мою «невиновность»... Но случись подобное в Германии?.. И хотя это ни разу не повторилось, но страх остался. Неисповедимы пути твои, Господи!

Сейчас же я боялся другого: своего произношения и татуировки на левой руке. Еще в шестом классе я вытатуировал на руке слово «люблю», чтобы таким образом увековечить свое чувство к Асе — предмету моей первой полудетской любви.

Все обошлось без осложнений. Я чем-то понравился моему следователю. Он посмотрел на меня с улыбкой, похлопал по плечу и проговорил с оттенком отеческого внушения: «Ничего, орел! Самое страшное уже позади. Война закончилась, так что жить будем!» Я сделал вид, что не понял, перевел глаза на переводчицу. Она улыбнулась, посмотрела на меня приветливо, мне показалось даже ласково, и сказала по-немецки: «Офицер хотел тебе сказать, что он считает тебя храбрым солдатом и спрашивает, сколько у тебя было отличий?» Я покраснел, но не растерялся. «Я был только 4 месяца на военной службе» — проговорил я с улыбкой. Переводчица что-то шепнула грузину и отпустила меня. Я внутренне перекрестился, был рад успеху моего первого допроса на родной земле.

После этого нам выдали полотенца и послали всех в баню. Я в очередь не стал, а решил прогуляться. Тут произошло следующее: на площади перед вокзалом и на ближайших полянках в огромных кипах лежали тюки и чемоданы. На них сидели и вокруг них ходили люди, в основном, женщины и дети. Это были так называемые репатриированные, т. е. те, кто возвращались на родину. Очевидно, Ковель был и для них пересылочным пунктом. Здесь их делили на группы по месту жительства, формировали транспорты и отправляли домой. Возле каждой группы стоял столб с надписью: Киев, Орел, Воронеж и т. д.

Некоторые из ожидающих, от нечего делать, подходили к нашему лагерю и высказывали свое отношение к нам — немецким пленным. Большинство, особенно молодые женщины и девушки, относились если не сочувственно, то с терпимостью. Лишь немногие выкрикивали: «Довоевались, вояки! Попробуйте теперь русского хлеба!»

Я всматривался в их лица, нет ли среди них мамы моей или сестренки Аллочки с маленькой Магдаленой?.. О, конечно, они должны быть где-то здесь... И ведь так близко — только перейти улицу...

«Чего мне бояться? Ведь там “свои” люди»...

«А хватит ли у меня смелости? Дай-ка испытаю себя, на что я еще способен?»

Недалеко от меня сидел пленный, у которого было на голове что-то вроде шляпы. Я подошел к нему и предложил ему обменять его шляпу на мою пилотку. Он посмотрел на меня с удивлением, с нескрываемым удовольствием протянул мне свой головной убор и взял мой, который, несомненно, больше подходил к тому, что оставалось от его формы.

Получив шляпу, я лег на землю и осторожно снял мундир, под которым у меня был пиджак гражданского образца — я его подобрал в пустом доме где-то под Дрезденом.

Наши конвоиры стояли у ворот и весело о чем-то болтали. Особой бдительности они не проявляли — какому немцу взбрет в голову бежать на русской земле?

Лежа на земле, мне было удобно наблюдать за ними. Я убедился в том, что никто из них на меня не смотрит, резко поднялся и бодро зашагал в направлении одного из них, стоявшего ко мне спиной. Солдат вздрогнул, направил на меня автомат и крикнул: «Куда идешь, Фриц? Назад!»

Я посмотрел на него со спокойным презрением, засмеялся громко, как только мог, и весело ответил: «Сам ты Фриц! Что уж и пройти мимо нельзя?» — и как можно спокойнее, не оглядываясь назад, прошел мимо, шел все дальше и дальше... Так и ушел!

Я не знаю, что подумали потом о случившемся мои немецкие товарищи. Я никогда в жизни их больше не встречал и ничего об их судьбе не знаю. В тот момент я перестал быть немецким военнопленным и превратился в изменника родины, скрывающегося от правосудия.

Свою ошибку я понял сразу. Но, что сделано, то сделано. Бывают в жизни роковые ошибки, которые не подлежат исправлению, это была одна из них. Возврата больше не было!..

Я ходил среди русских людей, подошел к киевлянам. Одна девочка пекла блины на построенной из нескольких кирпичей примитивной печке. Начался разговор. О моей семье она, конечно, ничего не знала. Были там какие-то люди, которым наша фамилия была знакома, но о судьбе моей семьи никто ничего не знал.

Люди вступали в разговор без особенного желания. Настроение у всех было подавленное. Особой радости от возвращения домой ни в ком не чувствовалось.

У всех было много вещей — чемоданы, тюки, мешки... Уже позже, в лагере, мне рассказывали, что многие «остовцы» хорошо поживились за счет бежавших на Запад немцев. Некоторые занимались грабежом, за что попали под военный трибунал, который «шутить не любит», и попали прямиком в Сибирь.

Бродя по городу, я наткнулся на базар. Там я обменял свой свитер на несколько пирожков, поел и стал думать: «Куда же теперь?»

На скамье я нашел газету «Правда», подобрал ее и начал читать. Голова стала кружиться, буквы прыгали перед глазами. Высокопарный знакомый с детства стиль, прославление вождя, теперь уже генералиссимуса, его усатая физиономия, от которой я отвык и уже «свидеться не чаял», все это подействовало на меня весьма удручающе. Я лег на траву и стал думать...

Давно уже я не был на «воле», давно не действовал самостоятельно... А теперь нужно было что-то делать... Но что?

Я гнал от себя тревожные мысли, но они возвращались. Думал я и о том, что думать вот я еще могу, но совсем отвык

действовать самостоятельно... Может быть, лучше попасть в тюрьму — к людям с судьбой, подобной моей? Может быть, и папа уже там? Возможно, встречу знакомых, друзей?.. Во всяком случае я не буду один, не буду загнанным волком. А 10 лет каторги мне все равно суждено отбывать... Для чего же откладывать?

И как это красиво, как смело — прийти и сказать: «Вот я, такой-то и такой-то. Я виноват перед родиной! Судите меня! Хочу честным трудом искупить свою вину!» Так я и сделал...

2. ТЮРЬМЫ

Следователь железнодорожного отдела милиции, в кабинет которого я вошел и назвал себя, оказался, по его словам, бывшим папиным студентом. Он выслушал мое признание без особого удивления. “Для проформы” он повозмушался тем, что профессор истории, да еще достигший общественной известности, мог стать изменником родины, высказываться против советской власти и служить фашистам, редактируя их «черносотенную» газету. После этого он аккуратно запротоколировал все мои показания: кто я, откуда пришел и чем занимался в годы оккупации. Когда он закончил писать, то прочел мне все записанное и попросил подписаться. После этого был вызван конвоир, и ему было приказано отвести меня в камеру.

Это было 1 сентября 1945 года, в день начала учебного года в советских школах и институтах. «Вот и я начинаю свое образование в великой сталинской академии», — подумал я.

Через три месяца Киевским военным трибуналом войск МВД я был приговорен по статье 58 п. 1а с применением Указа от 17.04.43 г. к 20 годам каторжных работ и пяти годам поражения в правах.

А пока что меня отвели в обычную КПЗ (камеру предварительного заключения). В своей девятнадцатилетней жизни я во второй раз попадал за решетку — когда мне было 16 лет, в 1942 году, мне пришлось побывать в немецкой тюрьме.

Сейчас, когда меня ввели в советскую тюрьму, невольно вспомнилась та, немецкая. Тогда мне бросилось в глаза то, что в немецкой тюрьме была абсолютная чистота. Полы в камерах

были деревянные, покрытые линолеумом. В каждой камере был эмалированный металлический унитаз, водопроводный кран и отдельная койка для каждого заключенного. Правда, в первую ночь нас в камере оказалось трое лишних, поэтому я и двое французов, которые попали в тюрьму за попытку бегства из лагеря, одну ночь спали на полу.

В камере советской тюрьмы пол был бетонный и нары сплошняком занимали всю стену против дверей. На нарах лежало два арестанта. Мы разговорились. Один, пожилой уже человек, на воле был бухгалтером и сидел, по его словам, по недоразумению. Вторым арестантом был мальчик, лет шестнадцати, и сидел он за украденный чемодан.

Я честно рассказал им свою историю, после чего бухгалтер задумался, а воришка расхохотался. Насмеявшись досыта, он взял меня за руку, посмотрел мне в глаза и другой рукой постучал мне по лбу, а затем по доске нар. Я понял, что этим жестом он образно показал мне, что он обо мне думал. Я не обиделся: со своей точки зрения он был прав.

— Если тебе так уж захотелось попасть в тюрьму, — проговорил он наконец, — нужно было украсть чемодан. Эх, ты! Назвал бы любую фамилию, получил бы не больше года лагерей, а через год освободился бы. И самые чистые документы получил бы на новое имя. И начинай жизнь сначала... Эх, ты!..

И он снова повторил свой глубокомысленный жест, но больше уже не смеялся.

— Плохи твои дела, парень! Меньше десятки ты не получишь, а то и всю катушку откатают, и загремишь ты вместе с бендеровцами на Колыму или на Печору. А оттуда мало кто возвращается.

Я вытрусил карман, в котором были остатки махорки. Мы порвали газету и скрутили по самокрутке. Тут я впервые увидел, как добывается в камерах огонь: трут твердый комок ваты о бетонный пол. Закурили... Бухгалтер кашлял. Оказалось, что он был участником войны, был ранен в грудь пулей навывлет и после этого демобилизован. Он был коренным сибиряком, но во время войны решил остаться на Украине. «Сибирь подождет, — говорил он шутя. — Сам не поехал, а теперь повезут... Я уж знаю, лет пять мне влепят... А тебе, брат, «вышки» не миновать... Но ты не отчаивайся, сейчас не стреляют, рабочие руки нужны. Сам знаешь, скольких на фронте уложили под «чутким

руководством», а теперь отстраивать надо... А кто будет работать, когда мужиков то нетути?..»

Сашка (так звали воришку) вмешался в разговор:

— Ты, батя, не пугай! Эрик молодой еще, приспособится. Одно тебе нужно усвоить, брат, — не слушай басен о честном труде. Честным трудом еще никто пока срока не отбыл. От работы и кони дохнут, а человек?.. Да еще в лагере! В лагерях говорят так: «Ложку кашки не доложь, на работу не тревожь! А тот, кто за ложку кашки вкальвает, быстро попадает на «девятый лагпункт» (т. е. в общую могилу).

На следующий день меня вызвали на допрос. В кабинете начальника милиции за его столом сидел какой-то полковник. Он жестом пригласил меня подойти ближе.

— Штеппа?

— Да, Эразм Константинович...

— Почему врешь?

— Не вру, говорю правду...

— Какая там правда? Почему врешь, что из лагеря военнопленных бежал? — закричал он громовым голосом. — Сознавайся!

Я еще раз рассказал ему про свой побег из лагеря. Он долго смотрел на меня в упор — не то с удивлением, не то с недоверием, но больше уже этого вопроса он не задавал. Поверил ли? Он произнес одно слово: «Сволочи», поднялся и вышел из кабинета. Тогда я так и не понял, кого он выругал.

Только много лет спустя, когда пересматривалось мое дело, я узнал о том, что мой побег не был зафиксирован. Или конвой, или следователь из каких-то соображений сумели это скрыть... Позже я узнал, что по отчетности из лагерей военнопленных никто не убегал... Выходило, что я или «с неба свалился» или врал... До сих пор не могу понять, почему меня не пытали и не заставляли признаться... но факт остается фактом.

— Где отец? — прогремел полковник уже в другой раз, допрашивая меня. Он пристально уставился на меня своими неподвижными, рыбьими глазами. Я повторил, что ничего о семье не знаю.

— Ладно, иди! Мы его и без тебя достанем, и не таких доставали.

Я вышел, сопровождаемый конвоем.

Боже мой, какое счастье! Значит, папка жив. Спасибо тебе, полковник, за радостное известие! Помогите, Господи, отцу моему не попасть в ваши лапы! Я как-нибудь переживу. Я еще молод, и это моя судьба. Я должен познать все стороны жизни нашей, узнать всю подноготную, понять самого себя, научиться понимать людей и ценить добро, разгадать тайну человеческого счастья, найти путь к нему и указать людям, как делал Данко в рассказе М. Горького.

С такими мыслями я вошел в камеру. Здесь, в камере, я узнал о брошенной американцами атомной бомбе и о капитуляции Японии. Все арестованные по «бытовым» статьям надеялись на амнистию. Мне было хорошо известно, что никаких амнистий политическим заключенным советская власть никогда не давала, но в глубине души мелькнула надежда. Без надежды человек жить не может, даже самой ничтожной... Но реальность была против меня, я был готов к худшему, даже к расстрелу. Кто знал, как все повернется?..

Меня повезли в Ровно. За мной прислали того самого следователя, к которому я пришел с повинной. Он был очень весел. Я подумал, что он получил поощрение за «поймку» такого серьезного преступника, каким казался я. Может быть, именно поэтому о моей добровольной сдаче в руки правосудия в протоколе ничего не было записано. Бог ему судья, если это было так, моего дела это не меняло...

Следователь шел первым с пистолетом в руках. Какой-то большущий, даже громоздкий чекист сопровождал нас. Когда мы проходили мимо товарных поездов на станции, этот громада взял меня своей огромной рукой за шиворот и буквально ткнул пистолетом в спину, предупреждая, что курок взведен. Я слышал о том, как расстреливают сзади, и мороз пробежал по спине...

Ничего страшного не произошло. Втроем мы вошли в пассажирский вагон. Мне указали на третью полку, на которой между тюками и чемоданами оказалось свободное место. Мои сопровождающие уселись напротив и глаз с меня не спускали...

В вагоне было много народу — и солдат, и гражданских. В соседнем купе кто-то пьяным голосом пел «Катюшу». До меня никому не было никакого дела. Я подумал о том, что у меня есть некоторое преимущество по сравнению с моими сторожами:

я лежу, а они сидят и боятся того, что если я убегу, то им не слобровать. А я вот никого не охраняю, ни за кого не отвечаю... Перед судом, правда, отвечать придется... Хоть бы скорее...

По приезде в Ровно меня пересадили в «черного ворона» и отправили прямым назначением в тюрьму. На Западной Украине в то время был самый разгар подавления партизанского движения. Тюрьма была переполнена бендеровцами, западными украинцами, которые боролись и против немцев, и против «москалей-большевиков».

Камера, куда меня втолкнули после многочисленных допросов и проверок, была битком набита. Было уже поздно, и потому все арестованные лежали на нарах (днем это не было разрешено). Все лежали «валетом», т. е. так, чтобы ноги одного были рядом с головой другого. Я буквально втиснулся с самого краю, вытянувшись у дверей на бетонном полу.

— Кто такой? — спросил меня кто-то из лежащих. Я по-украински ответил, что был солдатом немецкой армии.

— Украинец?

— Да, украинец.

— Звидкиля?

— З Кийива.

— Спы! Завтра поговоримо.

Я закрыл глаза и молча лежал, притиснутый к стене. На мне была надета только одна рубаша, которая начала уже разползаться после многочисленных «прожарок».

— Йисти хочешь?»

— На що ты пытаешь?

— Бери, йишь, нам передають з воли, не голодни поки що!

Так начался мой второй день в Ровенской тюрьме. С удовольствием я съел протянутый чей-то доброй рукой кусок хлеба домашней выпечки, пахнувший чесноком. Какой же он был вкусный! Я жевал медленно, чтобы продлить процедуру, и про себя думал: «Здесь я не пропаду».

С грохотом открылась кормушка в окованных железом дверях, и громкий голос произнес команду: «Кончай ночевать!»

В камере уже было светло. Свет пробивался через расположенное высоко под потолком окно с решетками и от маленькой лампочки, вделанной в нишу над дверью. В камере по противоположным углам стояли два деревянных бачка. Один

бачок — параша. Он был прикрыт деревянной крышкой, но вонь от этого не уменьшалась. Второй бачок был с питьевой водой, он тоже был прикрыт деревянной крышкой и тоже вонял не меньше первого.

Выслушав команду, все «зеки» поднялись, подбросали к стене свои пожитки и уселись на них вдоль стен — спиной к стене, лицом друг к другу. У меня пожитков не было, так что я сел по-турецки и начал рассматривать своих сокамерников...

Под окном камеры сидели, один против другого, два человека с бородами и длинными волосами. Потом я узнал, что это были священники. Остальные были возраста примерно между 17 и 40 годами, крепкого крестьянского телосложения и с крестьянскими лицами.

— Помолимось! — сказал один из священников, ставши на колени лицом к окну, через решетку которого в этот момент заглянул в камеру веселый солнечный луч. Все стали на колени и повторяли за священником молитву. Я присоединился к ним.

Рядом со мной стоял на коленях молодой человек в польской военной форме (конечно, без погон и пояса). Он молился по-своему, как выяснилось потом, он не знал достаточно хорошо украинского языка. Я даже фамилию его запомнил: пан Пшевлотцкий. За что он был арестован, я так и не узнал. Но помню, что «бендеровцы» подшучивали над ним: «Що, дослужився москалям? А вони тобі и виддячили!» Пан Пшевлотцкий не очень спорил с ними, но в свою очередь придирался ко мне за мою службу у немцев. Он пытался убедить и меня в том, что меня расстреляют, и, что, по его мнению, это будет справедливо.

Сами «бендеровцы» относились ко мне благосклонно, довольные тем, что я говорил по-украински и был тоже врагом «москалив». Их вражда к немцам поблекла: ведь в последний период войны они боролись против советских войск и сидели сейчас в советской тюрьме. Их избивали на следствии, многие возвращались после допросов с синяками на спинах и черными кровоподтеками под глазами.

После молитвы меня подозвал к себе отец Володимир Маркович и начал спрашивать о том, кто я и откуда. Я рассказал о себе все. Мой рассказ слушали все в камере. Кое-что они одобряли, другое порицали, но, в общем, отнеслись ко мне благожелательно и терпимо.

Принесли пайки. Пан Пшеволоцкий принимал их через кормушку и, к моему удивлению, отдал мне свою пайку. Несколько других заключенных последовали его примеру, и я насытил свою изголодавшуюся утробу — впервые за долгий период. До сих пор я благодарен этим добрым людям...

Я постепенно осваивался в камере. Мне рассказали, что мы находимся сейчас в так называемой «нулевке», т. е. в камере, в которой держат новоприбывших в тюрьму до бани. После бани арестованных рассылают по другим камерам по никому не понятному усмотрению. «Пан знае, що робить!»

Я забыл здесь рассказать о том, что до завтрака была проверка, или, как ее называют в тюрьме «поверка». В камеру вошли корпусной с надзирателем, и сразу все заключенные встали и выстроились в две (за неимением места) шеренги. Корпусной вызывал каждого по имени и фамилии.

На таких «поверках» вызванный должен был назвать свое имя, отчество, фамилию, год рождения, статью, по которой он сидел после суда, и срок, к которому приговорен. Я не любил эту процедуру по двум причинам: я картавлю — это раз! Во-вторых, мое имя «Эразм» всегда вызывает удивление, и его переспрашивают несколько раз. Имени этого никто не слышал, кроме интеллигентов, которые помнят, что был когда-то такой Эразм Роттердамский, но среди надзирателей мне таких знатков не приходилось встречать...

После завтрака нас всех повели в баню. Я предвидел вопросы. Так и случилось: как только я разделся, мои сотоварищи были поражены моей худобой, темным цветом кожи и тем «дефектом», о котором я уже рассказывал. «Да ты узбек!» — воскликнул один из бендеровцев. Я оправдывался, как мог, указывая на белизну моих ног и части ниже спины. Бендеровцы хохотали, и один из них даже хлопнул меня по этой части, за что получил по затылку от старшего: «Не займай хлопця!»

После бани мы вместе с паном Пшеволоцким попали в одну большую камеру, где было человек сто арестованных. Все сидели на своих вещах, только уже не в два ряда, а в четыре. Воздух в камере был ужасным. Счастье человека в том, что нос его быстро привыкает и уже через несколько минут вони не чувствует.

В этот период лета жара была просто невыносимая. Многие из находящихся в камере были по пояс голыми, большинство в кальсонах домотканного полотна.

В камере был полный порядок. Старосту камеры сотника Гнатюка все слушались беспрекословно. Я держался вместе с паном Пшевлочким — нас сблизило то, что оба мы были чужими, т. е. не бендеровцами. Он перестал упрекать меня за служение немцам и все время рассказывал о своей Марысе, которая его любит и ждет. Он старался убедить меня в том, что Польша никогда не станет советской, т. к. поляки русских не любят. Я ему на это говорил, что русским и не нужно, чтобы их любили, «абы боялись!»

Я беседовал со многими бендеровцами. Все они верили в то, что «не сегодня — завтра» вспыхнет война между американцами и русскими, «Москвою», по их выражению, и что на них будут рассчитывать как на большую силу... Понимающих настоящее положение дел и то, что на данном этапе надежды не осталось, и что ехать им на долгие годы, а может быть, и навсегда в Сибирь, было очень мало.

В своих молитвах они часто молились за Украину. «Боже Единый, Боже Великий, на нашу ридну землю поглянь!»

Целый месяц я чувствовал себя, как на курорте — отсыпался, отъедался и совершенствовал свои знания родного украинского языка, привыкая к жаргону «западников». Вместе со всеми я молился «Отче наш»... Никто меня не тревожил, но каждый раз, когда открывалась кормушка, сердце начинало усиленно биться. Я понимал, что вот-вот займется моим дальнейшим жизнеустройством. Я понимал, что меня оставили в покое на этот месяц из-за большой перегрузки — тюрьма была набита людьми «под завязку», и все прибывали и прибывали новые «постояльцы»...

Юзика Пшевлочкого давно уже вызвали с вещами и ничего больше о нем я не слышал. Меня приютил Степан Працюк, который пожалел меня и предложил лечь рядом с ним, на его подстилке. До этого мне приходилось спать на голом полу

Дни шли за днями... Меня вызвали, как всегда, неожиданно. Это произошло 7-го октября, за 2 дня до моего дня рождения. Как видно, судьба позаботилась о том, чтобы 9-го октября в день моего двадцатилетия я прибыл на дорогой сердцу моему Киевский вокзал. Меня повезли в «столыпинском» вагоне. Впервые в моей жизни мне пришлось познакомиться с этим видом транспорта еще в 42 году, когда меня отправляли в немецкий кадет.

В купе (если так можно назвать железную клетку) нас было двое: я и рецидивист Король, человек с черной бородой и серыми, с металлическим блеском глазами, в военной форме. Он меня ни о чем не расспрашивал и о себе не рассказывал. Всю дорогу он или спал или спорил с коридорным, требуя от него то табаку, то прикурить, то передать записку корешам, едущим в другом «купе». Надзиратели отнекивались, но чаще всего выполняли его требования. Куревом он щедро делился со мной, приговаривая: «Кури, фашист, быстрее подохнешь!», и в его металлических глазах сверкало не то сочувствие, не то насмешка.

В «воронке», который вез нас в Лукьяновскую тюрьму, мы были еще вместе, но в тюрьме нас разлучили.

Вот я и в Киеве! Боже, какое смешение чувств охватило меня! Я выглянул в окно, как те каторжники на бабушкиной открытке. По перрону ходили люди, много людей... Многие из них киевляне, земляки... Среди прохожих я увидел двух знакомых девочек, с которыми когда-то учился на курсах... Снова мысли, снова воспоминания, фантазии, мечты и даже надежда... На что?

Я вспомнил, как почти 2 года тому назад, осенью 1943 года я приехал на Киевский вокзал из Германии. Тогда, чудом оставшись в живых, я вернулся домой и потом целый год прожил в семье, счастливо и беззаботно, под крылышком любящих мамы и папы. И как дружны мы были в эти месяцы с моей сестренкой Аллочкой...

Тот поезд прибыл в Киев ночью, и я с большим нетерпением ожидал конца комендантского часа, чтобы выйти на улицу. Как только меня выпустили, я бегом помчался по знакомым улицам к родному дому.

Боже мой, как радостно билось мое сердце! Хотелось смеяться, петь, кричать, целовать каждый знакомый дом, деревья, киоски...

Я ворвался в наш дом, одним махом взлетел на третий этаж, где была наша квартира, подошел к знакомой двери, нажал на кнопку звонка, услышал его стрекот, затем шаги Алочки и знакомый родной голос: «Кто там?» — «Да это же я, Эрка твой! Открывай скорей!» А она от радости дверь открыть забыла, а побежала звать маму и папу. Втроем они подбежали к двери и начали все вместе открывать... Дверь почему-то не

поддалась сразу... Слезы... Объятия... Поцелуи... Сколько было радости!.. Боже, да повторится ли еще когда-нибудь подобное счастье? Нет! Конечно, нет! Счастье не повторяется! На то оно и счастье, чтобы случиться один только раз...

Я прижался лицом к холодной решетке тюремного окна и вспоминал о пережитом тогда счастье... и слезы градом капились из моих глаз. «Боже, — молился я, — сохрани и помилуй родных моих, папу, маму и Аллочку... а теперь еще и Адочку (Магдалену)».

О чем еще мог бы думать арестант? Или о хлебе, или о тех, кого любил когда-то... и кто любил его... Недаром самые отъявленные преступники выкалывают на груди, возле самого сердца, слова: «Не забуду мать родную»...

И я первое свое стихотворение, написанное в тюрьме, посвятил маме. Я его никогда не забуду. Вот оно:

Очень часто, знаю,
Сидя у окошка,
Иногда бывает —
Ты всплакнешь немножко.

Ну, зачем же слезы,
Мама дорогая?
Брось ты эти грезы,
Сына вспоминая.

Ты забыть не можешь,
Знаю ведь я это,
Кто тебе дороже
Всех на белом свете,

Кого ты так часто
На ночь целовала...
При себе напрасно
Удержать мечтала.

А теперь не зная,
Жив ли твой сыночек,
Сидя да гадая,
Плачешь до полночи.

Карты разложила,
Долго ворожила...
Угадать не в силах,
Оттого и плачешь.

Жизнь или могила?
Счастье? Неудачи?
Иль домой дорога?
Иль казенный дом?
На душе тревога,
Где уж правда в том?

Правды той не зная,
Слезы льешь, гадая,
Если б угадала,
Горько б зарыдала.

Вместе с мамой вспоминалась сестренка Аллочка — с ней мы всегда были так дружны. В любви своей подруги, тоже Аллочки, я не был уверен — «найдет себе другого, а мать сыночка никогда», как поется в песне. Так и любовь сестры, с тюремной точки зрения, кажется более надежной...

Вернемся к Лукьяновской тюрьме. Хочется вспомнить мою первую камеру — это, конечно, была «нулевка». Камера эта была в общем корпусе с «бытовиками». После бани все сидящие «по 58-й» попадали в спецкорпус, в котором содержались только «политзаключенные». Я взял это слово в кавычки, т. к. к этой категории относились все, кто не совершил уголовного преступления, но сидел. Для «политических» такое разделение было настоящим благом. В некоторых тюрьмах «политические» попадали к уголовникам в полное подчинение, и часто это влекло за собой терзания и пытки, бесконтрольно наносимые невинным людям этими «чудовищами в человеческом облике». Такое положение бывало не редко...

В Киевской тюрьме смешение всех видов преступников происходило в «нулевках». Мне приходилось неоднократно попадать в эти «нулевки», т. к. мое дело велось СМЕРШем, а у него почему-то не было своей следственной тюрьмы.

Если бы я попал в руки органов госбезопасности, то мое дело вел бы следователь КГБ, и я сидел бы до суда в тюрьме

на Короленко, 33, и мне пришлось бы пройти гораздо больше тюремных «процедур» подследственного характера. То обстоятельство, что я отдал себя в руки НКВД, а не КГБ, облегчило мою участь до суда и, очевидно, послужило причиной того, что мое дело не было использовано в качестве приманки для поимки моего папы (только недавно я узнал от сестры Аллы, что моего отца ни разу не шантажировали мною, и этот факт поддерживал надежду папы до конца его дней, что меня «у них» нет). Вот где поговорка «Нет худа без добра» оправдала себя... Каким ужасом было бы для меня и моих родных, если бы...

В первой «нулевке» мне повезло. В этот день привезли группу «студентов», арестованных за групповой грабеж церкви. «Студенты» в действительности были «блатными». Они держались группой, не только не давали себя в обиду, но задавали тон, верховодили... Их боялись все другие «блатные».

Я разговорился с одним из них. Он был выходцем из интеллигентов и даже помнил нашу семью. Он познакомил меня со своими товарищами и пригласил расположиться рядом с собой. С другой стороны возле него сидел еще один киевлянин — Костя Козлов. Костя был еще молод и силен, несмотря на то, что он был уже опытным зеком. Он успел уже побывать в лагерях и теперь был на доследовании. Как и я, он пользовался покровительством группы «студентов».

Костя отнесся ко мне с большой теплотой, симпатией и искренним сочувствием. Сам он был осужден за то, что при немцах работал шофером на «воронке» (не исключено, что и на «душегубке»). По-видимому, его привезли на доследование, получив в отношении его новые сведения. Его дело пахло «вышкой», но сам он был относительно спокойным, так как где-то слышал, что теперь уже не стреляют, а заменяют наказание каторгой.

Костя дал мне много советов о том, как жить, или вернее, как выжить в лагерях. Конечно, с точки зрения высокой морали, советы Кости были, не совсем безупречными, но в дальнейшем его советы сыграли большую роль в том, что я остался жив.

Суть его советов сводилась к следующему: зеки в лагерях больше всего гибнут от голода и тяжелого труда. Для того, чтобы выжить, необходимо стараться при всех обстоятельствах «держаться черпак в руках» и избегать изнурительного труда.

В лагерях существуют для этого различные возможности — и честные, и нечестные.

— Честный и самый приемлемый для тебя способ выжить, — говорил Костя, — это получить должность санитаря в лагерных больницах, стационарах и т. д. При тюрьмах тоже есть больницы и камеры для слабосильных — «слабошки». Старайся попасть туда и становись или санитаром или старостой, иначе ты и до лагеря не доедешь»...

О последней возможности я не хотел думать... Как и все живое, что топчется на нашей планете, я хотел выжить. Я внимательно слушал Костины наставления и старался вдуматься в их суть, понять ситуацию, в которую попал, и найти свое место в ней. Моя позиция казалась мне ясной — я сам выбрал свой путь, я отдал себя в руки правосудия для того, чтобы научиться жить, выковать сильный характер и разгадать тайну человеческих отношений.

Я понимал, что за свое существование нужно бороться, но методы этой борьбы не должны выходить за рамки определенных моральных ограничений. Выдержу ли я такое условие?

Костя был, как и я, обвинен по 58-й статье, и поэтому мы попали в новую камеру вместе. Он предложил мне попробовать взять власть в камере в свои руки.

— Камера, — говорил он, — это государство в миниатюре. Люди любят чувствовать над собой власть, и власть эта должна быть не только насилием, но и сторожем порядка. Для того, чтобы прийти к власти, прежде всего нужно к ней стремиться. Второе — нужно дать почувствовать свою силу другим, чтобы люди поняли необходимость подчиниться и чтобы увидели, что от этого им будет выгоднее.

Нам повезло — мы вошли в эту камеру первыми и сразу заняли место у окна, в правом углу. Камера была большая, потолки высокие, и под самым потолком были два больших окна с решетками и козырьками. Пол был, как и в других камерах, цементным, а мебель — две бочки. Это — стандарт.

У Кости была «торба с шмотками», т. е. сумка с вещами, которыми мы поделились.

Камера наполнялась постепенно. Каждого вновь вошедшего мы с Костей подзывали к себе и начинали расспрашивать. Мы интересовались именем зека, местом рождения, по какой статье он сюда попал. Мы оценивали новых сокамерников

и сообразно с нашей оценкой указывали им места, где им придется сидеть днем и лежать ночью. Никто с нами не спорил, большинство заискивающе улыбались. Некоторые после устройства пытались вступить с нами в разговор, чтобы развлечь нас и войти в доверие.

Ближе всех к нам сидели люди помоложе, поздоровее, и, как нам казалось, посмелее. Казалось, что все были довольны нашим распределением обязанностей. Мы назначили раздатчика и установили дежурства: дежурные должны были выносить «парашу» и приносить воду.

Загремела кормушка: принесли хлеб. О, какой это радостный момент в жизни арестанта!.. Я подошел к кормушке, командовал всем сидеть на своих местах, подозвал к себе раздатчика и стал принимать пайки и передавать ему. Одному раздатчику было трудно справиться, сразу нашелся добровольце-помощник. Все прошло удачно: все сидели на своих местах и молча, деловито и без спешки жевали драгоценный источник жизни — хлеб. Споров не было — все были довольны.

В обед раздавали «баланду» через кормушку. Я следил за ходом раздачи, а когда в кормушку подали миску, наполненную погуще, сказал: «Для старосты!» Никто не протестовал. Я был в восторге.. Как это просто делается!..

Мы с Костей опустошили миску. «Ну как?» — спросил Костя, когда наполнение желудков закончилось. Я улыбнулся в ответ и пожал ему руку.

Вечером кормушка снова открылась, и мы слышали команду: «На проверку стройся!» Эта процедура тоже была в моем полномочии: я встал перед строем и, когда вошел корпусной, доложил ему, что в камере насчитывается 93 человека и — «Больных нет!»

Корпусной пересчитал всех, что-то отметил в блокнотике и начал вызывать каждого по фамилии. Вызванный должен был назвать свои имя и фамилию, отчество, год рождения и статью, по которой сидел.

Проверка закончилась.

«Садись!», а иногда по-тюремному — «Падай!» Зеки начали стелиться (раскладывать, что у кого имелось) и готовиться «ночевать».

Было еще два вида деятельности в камере, о которых я упомянул раньше — прогулка и оправка, а для дежурных

вынос «параш» и доставка питьевой воды. Все остальное время каждый занимал по своему усмотрению, желанию и призванию. Кто сидел и размышлял, кто беседовал или слушал, некоторые играли в самодельные шахматы (фигурки вылепливали из хлеба), или в карты (их делали из газетной бумаги и склеивали тем же хлебом).

Иногда по вечерам бывали всеобщие слушания «романа». Попадались большие мастера-любители рассказывать прочитанное или слышанное. Бывали и любители рассказывать о себе. Я к этой категории не относился, предпочитал слушать и делать соответствующие выводы.

По-видимому, у меня была способность слушателя. Я знал, что люди любили мне рассказывать о себе, о своих переживаниях и сокровенных мыслях. Я умел войти в положение каждого, почувствовать его душу и, главное, — не осуждать. Это последнее особенно нравилось людям.

Моему «Я» было свойственно и понимание того, что справедливо, что не справедливо, что хорошо и что плохо. Мне казалось, что эта моя способность вызывала больше всего уважения среди арестованных, и вокруг меня создавалась атмосфера благожелательности. Люди чувствовали себя хорошо в моем присутствии, искали со мной сближения и дружбы, в трудные минуты советовались, как поступить, как отвечать следовательно, как найти выход из трудной ситуации и т. д.

Может быть, главной силой, которая притягивала людей ко мне, была моя вера в Бога и то, что я этого не скрывал, а, наоборот, всегда старался говорить об этом и находить необходимые ответы в Священном Писании и Библии. Я верил в Бога — не только, как в Создателя и Творца всего сущего, но и как в активного руководителя всех человеческих действий и строгого судью всех его поступков. Верил я и в то, что «все, что ни делается — все к лучшему». Этой верой я внушал и себе, и окружающим, что в оптимизме есть неоспоримая истина.

Я рассказал Косте притчу про двух лягушек. Вот она.

Налила баба молока в две банки и, чтобы молоко не скисло, бросила в каждую по лягушке. Лягушка-пессимист сразу впала в панику, стала плакать о своей горькой доле, быстро захлебнулась и пошла ко дну. Лягушка-оптимист прыгала всю ночь, стараясь выскочить из банки, и утром нашли ее сидящей на кусочке сбитого масла.

Ну, и кто из них умнее? Кто счастливее? Вот и нам так нужно поступать — прыгать, пока есть силы, может быть, и выскочим...

Все, кто слушал, весело посмеялись от души и были довольны тем, что всегда у человека есть последнее средство к спасению — надежда. И еще — Молитва, но о последней многие забыли, а я помнил и мне помогала Она... или Он... Если и не физическому моему спасению, то хоть душевному... А это уже много!..

Одного было жалко — не долго мне пришлось быть вместе с Костей. Меня вызвали «с вещами», и я попал на Короленко, 15, в тюрьму уголовного розыска. Меня втокнули в большую и холодную камеру-одиночку. Перед моим уходом из камеры, прощаясь навсегда, мы с Костей обнялись, и он подарил мне свою лыжную куртку. Но даже в куртке было холодно. Камеры не отапливались. Хорошо было на Лукьяновке — там много людей, там и зимой жарко от тепла живого, человеческого.

Был уже конец октября, точных дат теперь не помню, но хорошо помню, что дрожал я от холода всю ночь. Я присел на корточки и хлопал себя по бедрам, чтобы не дрожать, немного согревался и тогда дремал. Надолго это не помогало... Я просыпался, бегал по камере, как загнанный волк, и выть хотелось по-волчьи. Так понятно мне стало то, как голодный волк воет один в снежной пустыне под звездным небом, от которого и света мало, а тепла уж совсем нет: «В-ув-ув-у!..»

Вдруг загремел в двери волчок, послышался звук поворачиваемого ключа, затем грохот засова. Открылась дверь, и я увидел перед собой маленького кудрявого еврейского мальчика, лет 13-14, и за ним, конечно, надзирателя.

— Что воешь, ты?.. Замерз? То-то, не попадайся в лягавку! Ты кто такой? Карманщик? Фильку Карзубого знаешь? Я вижу, что ты фраер натуральный. За что посадили? За политику? Так, небось, ты фашист? А почему так поддался? Ты же фитиль настоящий. Так и в жмурики легко попасть. Курить есть? Ничего у тебя нет! Эх, ты! — эту тираду мой новый сосед выпалил одним духом и, не дожидаясь моих ответов, стал тарабанить в двери. Надзиратель открыл кормушку:

— Чего тебе?

— Как чего? Табаку давай, а то я тебе всю ночь тарабанить буду. А в карцер вопрешь, кричать начну. Я малолетка,

скажу, что лупил меня, так у тебя твои лычки сразу отнимут. Давай махорки!

Я не поверил своим глазам: солдат выматерился, но полез в карман, достал пригорошню махорки и со смехом высыпал в расставленные ладони Аркаши.

— Кури, быстрее подохнешь!

— Вот так бы и сразу... А то манежишься, как целка...

— Ладно уж, не болтай много, да не шуми! А то загремишь, куда следует, а чтобы не вертухался, наручники надену, — грозился надзиратель.

У Аркаши была с собой газета, и мы скрутили по самокрутке. Аркаша ловко сделал фитиль, вырвав кусок ваты из своей телогрейки, прокрутил его башмаком по полу, и мы закурили.

— Хотя бы еще нам какого-нибудь фраера с шубой подбросили, а то с тобой замерзнешь, — смеялся мой новый друг. — Давай ложиться! Снимай свою лыжницу, на нее ляжем, а моей телогрейкой укроемся. Мы с тобой не жирные, поместимся.

Так мы и сделали. До утра спали спокойно — бывший немецкий солдат с еврейским мальчишкой согревали друг друга теплом своих тел и душ.

Аркаша рассказал мне о том, что его родителей сослали еще в 1937 году без права переписки. Он жил у тети на Урале во время войны, а сейчас убежал, вернулся в родной Киев и надеялся, что найдет своих родителей. До сих пор его поиски не увенчались успехом..

— Наверное, заморили их фашисты красноголовые, — сказал он, горько ухмыляясь, и замолчал...

Я долго не мог заснуть, все думал о том, как богата наша жизнь парадоксами. Вот теперь я согревался в объятиях этого мальчишки, судьба которого чем-то похожа на мою, и в чем-то совершенно иная, но в данный момент нам было хорошо друг с другом.

Утром меня вызвали на допрос. Моим делом занимался следователь СМЕРШа Польшер, как он представился мне. Польшер был в меру вежлив, не торопился, и, как мне тогда казалось, не очень серьезно относился к моему делу. У меня создалось впечатление, что он был озабочен чем-то посторонним, к моему делу не касающемся. Может быть, это был продуманный тактический ход?

Он запротоколировал все мои показания, задал еще несколько несущественных вопросов и посмотрел на часы. После этого он начал торопиться куда-то. Польнер перечитал мне все записанное им, подал для подписи и сразу позвонил дежурному. Меня снова отвели в ту же камеру. Аркаши там больше не было...

В этот же день меня снова отвезли в Лукьяновскую тюрьму, в «нулевку». После бани я попал в новую камеру, вполонину меньше предыдущей. Когда двери с грохотом захлопнулись за мной, кто-то из правого угла под окном громко крикнул: «Яма!» Хорошо, что Костя меня предупредил, что таким образом зеки делают испытания новичкам в их осведомленности в тюремных обычаях. Я не вздрогнул, только слегка усмехнулся и остановился посреди камеры, спокойно рассматривая новых сокамерников. Ситуация сразу стала мне ясна — «блатных» здесь нет, власть находится в руках молодчиков вроде меня.

В правом углу под окном на толстой подстилке сидело три молодых человека. На голове одного из них была кубанка набекрень. Я смело подошел к ним и поздоровался: «Здорово, урки! Подвиньтесь, что ли... Видите, у меня “шмоток” нет, так я с вами лягу».

Я протянул руку для рукопожатия, все три приняли мою руку и рассмеялись: «Какие мы урки? Мы по 58-й». О характере «преступления» расспрашивать было не принято: все мы были здесь подследственными.

Лицо одного из сидящих мне показалось знакомым, да и он смотрел на меня, как будто напрягая свою память. Через некоторое время я вспомнил: это был следователь украинской полиции во время немецкой оккупации, с которым мне когда-то пришлось иметь дело. Я приблизился к нему и назвал свою фамилию. Тот сразу поднялся с места, и мы обнялись.

— Вот судьба! Старый знакомый! Садись! Голоден?

— Спрашиваешь!

Ребята получали передачи, так что голода особенно не чувствовали. Они положили передо мною краюшку домашнего хлеба. Кто-то даже дал кусочек сала. «Спасибо...» — вот все, что я мог сказать, слезы навернулись на глаза. «Свет не без добрых людей, — думал я. — Власть здесь мне не нужна, я и так не пропаду».

В этой же камере оказался врач Дембицкий, тот самый, который предал меня когда-то немцам, решив, что я еврей. Он утверждал, что не помнил этого случая. Только когда его вызвали «с вещами» через несколько дней, он подошел к мне и взволнованно проговорил:

— Не поминай лихом!..

— Иди, Бог тебе судья!

— Спасибо, друг! — сказал он, опустив глаза, сгорбился и вышел. Надзиратель уже подгонял его в дверях.

В этой камере меня продержали около двух недель. Эти полмесяца прошли сравнительно безбедно — спасибо ребятам, которые поддерживали меня тогда. Спасибо!..

После очередного следствия и подписания «двухсотки», т. е. обвинительного заключения, меня перевели в новую камеру, в которой я и оставался до самого суда, который состоялся в декабре, перед самым Новым годом.

В этой камере мне пришлось совершить «государственный переворот». В течение нескольких дней я наблюдал следующее явление — некоторые заключенные получали передачи, а делиться с сокамерниками даже и не думали. Наоборот, отвернутся лицом к стене... и уплетают. Староста Шандак, бывший полицай из Переяслава, тоже получал передачи. Он окружил себя такими же, как и он, жмотами, которые делиться не собирались и еще добавку баланды получали...

Я решил действовать — поговорил с другими зеками, заручился их поддержкой и подошел к старосте. «Самозванцев нам не надо! — сказал я твердым голосом. — Бригадиром буду я! Понятно?» Шандак ответил, что его корпусной назначил. А я ему: «До Бога высоко, а до корпусного — далеко!»

Подошло время проверки: все построились, и Шандак перед строем стал. Я набрался смелости и стал рядом.

— Стань в строй, дядя! Твоя власть кончена!

Шандак не послушался. Вошел надзиратель и спросил: «Кто староста?» Я ответил: «Я», и Шандак тоже сказал: «Я». Надзиратель был молодым парнем. Он смерил взглядом нас обоих и сказал Шандаку: «Стань в строй, пусть молодой командует!» Камера одобрительно зашумела. Власть переменялась.

Когда принесли бочку с баландой и стали ее раздавать, я получил черпак и вспомнил Костю, разливая порции. «Черпак

в моих руках! Твой урок, Костя, не пропал даром! Спасибо еще раз!»

В двадцатых числах декабря меня вызвали «с вещами» и повезли на суд. Военный трибунал войск НКВД Киевского военного округа находился в административном здании дореволюционной постройки по адресу: улица Короленко, д. 15, одним концом это здание выходило на площадь Хмельницкого.

Я знал, на что еду... Не могу сказать, что был спокоен. Тогда «высшая мера» не была еще отменена — осужденные нет-нет да и получали «вышки». Говорили о том, что после сидения года или больше в камерах смертников заключенным давали помилование и осуждали на каторгу (КТР). Но — каждый случай индивидуален...

Нас, привезенных на суд, поместили в прихожей перед дверью со страшной надписью «Трибунал». Среди нас были и уголовные преступники. Каждого вызывали отдельно. Рассмотрение дела было недолгим, по времени занимало не более 15 минут, после чего арестованный снова возвращался в прихожую. Судьи совещались несколько минут и потом арестованного снова вызвали в зал и зачитывали ему приговор. Перед тем, как вызвали меня, несколько человек были осуждены таким образом. Это были «бытовики», и получили они по 2—3 года лишения свободы, во всяком случае не больше 5 лет.

Со мной тоже долго не возились. Я вошел в зал и остановился у порога. Это была небольшая комната, в глубине которой была еще одна дверь — в судейскую комнату. Посреди зала был большой стол, покрытый красной скатертью. За столом сидели два офицера и одна женщина — секретарь суда, брюнетка с коротко подстриженными волосами — ее лицо я и сейчас помню! Черты лица женщины были правильными, глаза ее были темными и выразительными. Я смотрел только на нее, прямо в лицо. Она не выдержала взгляда и опустила голову...

Прокурор, стоя, зачитал мое дело. Его голос, хоть он и стоял почти рядом со мной, звучал так, как будто между нами было большое расстояние. Я продолжал смотреть на женщину, и она стала ерзать на стуле под моим взглядом. До моего сознания дошли только последние слова прокурора: «...Активно боролся с оружием в руках против Советской власти, чем и изменил своей Родине — Советскому Союзу». Дело мое было ясным. Против меня не было ни одного свидетеля, у меня

не было ни одного соучастника, ни одного пострадавшего от моей деятельности, кроме меня самого...

— Ваше последнее слово, — буркнул судья и зевнул. Очевидно, ему уже наскучило выносить приговоры и выслушивать эти «последние слова».

Я постарался говорить коротко:

— Прошу суд учесть мой несовершеннолетний возраст во время совершения преступления. Прошу учесть мое искреннее раскаяние. Прошу учесть и то, что за всю жизнь я не совершил ни одного аморального поступка, от которого пострадал бы хоть один советский гражданин. Прошу суд учесть все это и найти возможность не применять ко мне всей строгости предусмотренной меры наказания. Прошу суд сохранить мне жизнь и дать возможность честным трудом искупить свою вину перед Родиной!

Мне приказали выйти, и суд ушел на совещание. Я стоял за дверью и слышал, как кровь циркулирует по телу... Я слышал биение своего сердца, чувствовал каждый удар своего пульса. Позвали скоро. Я стоял и снова смотрел на лицо секретаря, а она — бледная, с широко раскрытыми глазами, смотрела прямо на меня, не опуская головы.

По-видимому, она поняла то, что больше всего беспокоило меня, и чуть заметно покачала головой, что значило: «Нет, не высшая мера!». Ее глаза стали влажными, и она отвела взгляд. Я успокоился. До моего сознания дошли последние слова судьи: «...К 20 годам каторжных работ, с поражением в правах на 5 лет. Началом отбытия наказания считать 1 сентября 1945 года».

Вот и свершилось! Я был удовлетворен — ведь впереди была жизнь, хоть каторжная, но все же — жизнь. Слава тебе, Господи!

Я вышел из комнаты с табличкой «Трибунал» с просветленным лицом. Мальчишки, ожидавшие своей очереди, стали задавать вопросы:

— Что? Оправдали?

Они ведь не знали, ни кто я, ни в чем я обвинялся. Я засмеялся в ответ на их расспросы: «20 лет каторги». Они тоже засмеялись, думали, что это шутка...

Опять лукьяновская тюрьма, опять «нулевка». Мальчишки-воры считали меня за «своего». На радостях я сел играть с

ними в «очко» и проиграл лыжную куртку, подаренную мне Костей.

— Не пужайся, кореш, конвой оденет! — подбадривали меня воришки. — Голого на этап не отправят!

После бани меня завели в камеру приговоренных к КТР (каторжным работам).

«Вот я и в кругу своих людей!» — думал я, все еще возбужденный, в хорошем бодром настроении. Правда, ни устраивать «перевороты», ни добиваться власти мне не хотелось. Я чувствовал приближение полной апатии: «Плыви мой челн, по воле волн»...

В этой камере я встретил несколько знакомых по предыдущим камерам. Меня посадили на почетное место, рядом со старостой. Старостой здесь был некто Иван Васильчук из Белой Церкви, парень жизнерадостный и добродушный, который, как и я, получил 20 лет каторжных работ... Меньше пятнадцати здесь ни у кого не было...

В этой камере я встретил Окинчица, который был корреспондентом у папы в редакции. Он сказал, что был в Плауэне и видел моих родных в лагере репатриированных. Теперь я знаю, что он просто лгал, но тогда это известие меня совсем доконало... Неужели? Папа? Мама? Аллочка с Адочкой?.. Неужели и они попали в лапы коммунистам? Господи, помоги родным моим, любимым! Спаси их!

Окинчиц же или действительно помешался, или делал вид, что сошел с ума. Он ходил по камере, втянув голову в плечи, бормотал что-то невнятное и вертел белками глаз, как невменяемый. А получил он только 15 лет. Его забрали на следующий день в больничную камеру, и больше я его уже не встречал. У некоторых из сокамерников были подозрения в том, что он был «наседкой», но я в этом не уверен... Бог ему судья...

В этот же день из камеры смертников в нашу камеру привели Сашку Капралова. Ему заменили «высшую меру на 20 лет каторжных работ, и он был счастлив, как и я. Мы с ним сразу подружились.

Сашка был родом из Астрахани, 1923-го года рождения. Он был маленького роста, но коренастый и крепкий. У него был веселый нрав, доверчивый, компанейский и неунывающий характер. Мне с ним было легко. Почему-то он называл меня Паганелем — то ли за мою худобу или еще за что-то, что ему

запомнилось об этом замечательном герое романа Жюль Верна. Как и я, Сашка был гол, как сокол, и у него не было никого на белом свете. Он был, как и я, голодным псом, и это сблизило нас.

Еще несколько слов о Сашке — у него был низкий голос с каким-то очень приятным моему уху великоросским произношением. Рот у него был крупный, с красивой, располагающей к себе улыбкой и чуть-чуть крупноватыми зубами. Я его полюбил и запомнил навсегда его круглое, открытое, осыпанное веснушками, задорное лицо.

О Сашке я еще и сейчас вспоминаю. Где он теперь? Хорошая была у него душа. Мы жили с ним в буквальном смысле слов: «Хлеба горбушку — и ту пополам». А горбушка эта чаще доставалась Сашке, чем мне, т. к. у него не было стеснительности, которая всю жизнь мне мешала, особенно в лагерях. Сашка мог подойти к жующим передачу, подсесть к ним и попросить кусок, да так категорически, что ему не отказывали. Никогда Сашка не ел выпрошенного куска без меня — все пополам! И как это я мог забыть Сашку? Как только мы в лагерь приехали, наши дороги разошлись.

А пока мы были вместе и на этап попали вдвоем. Нам выдали по бушлату и ватным брюкам, по паре кирзовых сапог. Все это было б/у, довоенное, но все-таки лучше, чем одна только рубаха. У Сашки и у меня от рубах наших одни только манишки и оставались.

Нас пересчитали, еще раз перепроверили все данные и передали в распоряжение конвоя. Мы были в приподнятом настроении — все же перемена, какая она ни есть... И хлеба на этапе больше дают, на 150 грамм больше тюремной пайки, и воздух свежий впервые за много месяцев. Мы посмотрели друг на друга впервые на солнечном свете и ужаснулись — какие мы все бледные, прямо желтые, и синяки под глазами, и глаза какие-то воспаленные.

— Ничего, — думали мы. — Скоро в лагерь приедем, будет больше свежего воздуха, там окрепнем, приспособимся, переживем, если Богу будет угодно...

До Харькова нас везли в столыпинских вагонах. В Харькове нас высадили и пешком погнали на пересадочную станцию. Там было собрано больше тысячи заключенных. У всех были большие сроки, потому охрана была усиленной.

Вагоны были оборудованы по всем правилам тюремного искусства: прожектора, колючая проволока, под каждым вагоном «кошки» — это такие специальные крючки, которые свешиваются под вагоном. И если кому-нибудь взбрдет в голову шальная мысль пол вагона взломать и броситься на шпалы, выждать, лежа между рельсами, пока поезд пролетит, то его эта «кошка» за заднее место и поймает, и поволочет за собой. Правда, живого она к следующей остановке не притащит, но это не беда — за смерть беглеца конвой не отвечает... А вот если кто уйдет живьем, то кому-то будет несдобровать.

Нас распределили по вагонам. Вологодский конвой шутить не любит. Солдаты бегали во всех направлениях с большими деревянными молотками, которыми стучали по колесам больше для острастки заключенных, чтобы они видели, в какие руки они попали. Было много собак, которые громко лаяли и старались сорваться с цепи. Нас перегоняли из вагона в вагон по несколько раз. Конвой с молотками в руках гонял арестованных без какой-либо системы, просто, чтобы сбить с толку, и все время грозился молотком по голове стукнуть — если что не так...

И помчались мы по России-матушке в неизвестность. Вот мой стишок об этом замечательном событии:

Поезд мчал,
Стучали колеса вагонные
Песню свою монотонную.
А стоял —
Стучал молотком по вагонам
Конвой в сине-красных погонах,
Чтобы в них арестант не дремал,
Чтоб песен не пел,
Чтоб еды не просил,
Чтобы понял, куда он попал.

3. ОЛЬЧАН

Через две недели мы прибыли в Находку. Там был огромный пересылочный лагерь, в котором собирали заключенных для отправки морем на Колыму, Индигирку, Неру, Чукотку,

Камчатку и Сахалин. Говорили о том, что в этом лагере было 20 тысяч арестантов, так, наверное, и было. Огромная территория, разделенная на зоны, была заполнена до предела. Только немногие заключенные жили в бараках, большинство размещалось в японских трофейных палатках.

Для нас, каторжников, была выделена особая зона, отгороженная и тщательно охраняемая. Особый контингент осужденных, размещенных в этой зоне, представляли ленинградцы. Они были осуждены на каторжные работы за злостные преступления во время блокады. Среди них были преступники, имевшие на своей совести десятки убийств. Их поместили вместе с нами, политическими заключенными. Было ли это случайным или преднамеренным актом? Я уверен в том, что это не было ни ошибкой, ни «искажением», ни «перегибом»... Это была продуманная тактика!..

Я не могу сказать, что эти преступники казались какими-то слишком ужасными. Наоборот, в них было и что-то притягательное. Недаром ведь так долго после войны молодежь боготворила «блатных». Молодым импонировали смелость, прямолинейность, дерзость и отрицание всяких компромиссов у этих, потерявших всякие моральные устои, людей.

Мой друг Сашка очень скоро нашел с ними общий язык, и при его посредничестве и я попал под их покровительство.

С Сашкой мы все еще были неразлучны и, к счастью, попали в соседние палатки, в непосредственной близости к «блатным».

Уголовники создают в своей среде очень расплывчатый, и, конечно, не основанный ни на каких моральных принципах неписанный кодекс законов. У них есть даже такое выражение: «вор в законе», т. е. вор, соблюдающий воровские законы. Вор, нарушивший этот закон, считается «сукой» и «по закону» должен быть наказан смертью, т. е. зарезан.

В этом пункте они удивительным образом сходятся с законами правящей коммунистической партии. Да только ли в этом?..

Итак, мы с Сашкой расположились в соседних палатках, рядом с ленинградскими урками, находящимися в одной зоне с нами, политическими. Есть такая пословица: «Ворон ворону глаз не выклюет». Но это не всегда бывает так: преступники, хоть и часто бывают солидарны между собою, но при малейшем

раздоре они всегда готовы всадить нож друг в друга. Не раз нам приходилось быть свидетелями их кровавых схваток...

В Находке мы прожили около месяца. Свежий воздух быстро освежил цвет наших лиц. Питание здесь было лучше, чем в тюрьмах. Бланду варили из хамсы, и она была и гуще, и наваристей той, которую мы привыкли получать в тюрьме.

Наши ленинградские «блатные» старались не портить с нами отношений, они понимали, что нам придется жить вместе — и долго... Мой Сашка вступил с ними в дружбу «не на шутку», и это начало меня беспокоить.

Пришло время этапа. Нас повели в порт. Там стоял под погрузкой теплоход «Дальстрой». «Вот оно, начало», — промелькнула у меня мысль.

Наши урки моментально завязали связь с «блатными» из команды парохода и с кухней, и им пошли разные передачи: то хлеб, то рыба, то махорка. Конвой мы видели только тогда, когда нас водили на opravку в галюн. Весь трюм был огромной камерой на 1200 человек.

Нас кормили на пароходе лучше, чем обычно. Рыбный суп был густым — ложку не провернешь. Заключение восприняли духом и даже начали петь песни. Мой Сашка совсем «пожрался» с блатными, но и меня не забывал: подкармливал и снабжал куревом.

«Блатари» меня уважали и считались с моим мнением. Иногда они рассказывали ужасные вещи. Их преступления были совершены в голодном Ленинграде во время блокады. От них я узнал многое об этом кошмаре.

Я лежал на верхних нарах и даже пробовал писать стихи на крашенных железных балках трюма. Вот одно из них, посвященное сестренке Аллочке:

Пригорюнилась, вспоминая, —
Грустно, грустно глядишь в окно...
Дождик капает там, рыдаючи,
Небо серое так мрачно.

Безучастно и неприветливо
Даже солнце в чужой земле...
Оно спряталось, будто нет его,
В беспросветной небесной мгле.

Низко, важно, как бы скучаючи,
Плывут тучи — Бог весть куда...
Только ветер не унывающий
Треплет листья да провода.

На карнизах сидят угрюмые,
Бесприютные воробьи.
Угадали, как будто, — думаешь —
Мысли горестные твои.

Ты им шепчешь: «Прозябли милые?»
Зачирикали вдруг в ответ,
Улетели вон, неучтивые,
Словно им уж и горя нет.

Вдруг твои заискрились, черные,
Тихой радостью глаза:
Поскорее сверкнула б молния,
Поскорее пришла б гроза!

Я думал все о том же: живы ли родные мои? Если живы, то где-то в чужом краю и обо мне, конечно, думают и знают, что если я жив, то встретиться нам можно будет только после новой «грозы», т. е. войны. И мы, ехавшие на каторгу почти без надежды выжить, где-то в глубине души мечтали об этой «грозе», которая одна только могла принести нам спасение.

На пароходе ходили слухи о том, что иногда на пароходах с каторжниками бывают бунты, что зеки захватывали пароход и уводили его в Японию или Америку. Теперь-то я знаю, что все эти слухи не имели никакого основания, но тогда так хотелось, чтобы это было правдой и чтобы нечто подобное случилось и с нами.

Наша плавучая тюрьма приближалась к Магадану. Сознание этого и пугало и наполняло сердце гордостью: «Вот я какой!.. Я политический каторжанин, еду переносить нечеловеческие трудности, еду, как на экскурсию... великую, жизненно важную экскурсию в страдания, еду познавать самого себя, испытывать и закалять тело и душу... Я знаю, что я выживу, чувствую, что выживу, что еще длинная жизнь ждет меня впереди. Не сдавайся же, Эрик, ведь жизнь — это борьба, в которой

выживают только сильные и то только, если Богу угодно!» С такими мыслями я прибыл в Магадан...

В Магадане нас выгрузили и строем повели в пересылочный лагерь. Сейчас не могу вспомнить, как выглядел этот лагерь. Помню только отдельные «кадры» из тех событий. Вот один из них:

Мы стоим в огромном строю — весь этап, все 1200 человек. Нам было объявлено, что с нами будет разговаривать генерал Титов — помощник начальника Дальстроя генерала Никишова.

Как сегодня, я вижу грузную фигуру этого человека с обрюзглым, красным мясистым лицом алкоголика. Вместо глаз у него было две щели, как у Ленина, и лысина такая же, как у него. Он нам говорил, что нас — изменников и предателей — нужно было бы повесить, т. к. для расстрела пули жалко, но, по его словам, мы и сами подохнем.

— Пока не подохнете, если жизнь вам дорога — нужно работать. Кто будет хорошо работать, будет жить прилично и его будут кормить! А если кто работать не захочет, с тем церемониться не будем. Не к теще в гости вы сюда приехали...

В таких напутственных выражениях этот генерал с лицом мясника нарисовал нам наше будущее. После этого всех нас повели в баню.

Помню длинный барак бани, стоящий перпендикулярно к дороге, с длинной железной трубой, дымящейся черным дымом. Нам приказали раздеться в первой, не очень большой комнате — предбаннике. Как сейчас, вижу огромную кучу одежды, мешков, сапог и тюков, на которую указал нам солдат, и как некоторые зеки не хотели расставаться со своими кожушками, свитерами, теплым бельем, шерстяными носками... У некоторых и продукты еще сохранились. Было приказано — все бросить на эту кучу. Некоторые просили оставить им то или другое, плакали, молили, но «Москва слезам не верит», а Магадан и подавно.

Нам с Сашкой нечего было жалеть нашего обмундирования, но как-то страшно стало. Мы остались в чем мать родила и вереницей вошли в банное помещение. Вокруг стен были длинные деревянные скамьи со стоящими на них шайками с кипятком и холодной водой — разбавляй, наливавай сколько нужно, радуйся, наслаждайся...

В одном углу стояло человек десять с бритвами в руках. Нам было приказано подходить к ним на обработку. «Держи конец! Поднимай руки!» Брили нас во всех местах, где росли волосы, — опасной бритвой без употребления мыла. Головы стригли машинками.

При выходе через двери на противоположной стене мы получали белье, гимнастерки (белые, шитые из американских мешков), такие же белые брюки и белые шапочки, т. е. колпаки. Нам выдали и синие телогрейки с большой, на полспины латкой белого цвета. Мы смотрели друг на друга со страхом и смехом. Некоторые, в том числе и я, надели наши колпаки набекрень, и они приобрели вид бескозырки, вроде берет. Зеркал у нас не было, но можно было представить, как выглядел сам, смотря на других.

— Разберись по 5! Руки назад! Голову вниз! Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Оружие применяем без предупреждения. Шагом марш!..

Эта команда вошла в кровь и плоть мою за 10 лет. Ежедневно, неизбежно — два раза в день, на работу и с работы. Пока еще никакой работы не было, и мы довольно-таки бодро шагали по шоссе из бани в лагерь. У входа в зону стояли люди с краской и кисточками в руках. Возле них были поставлены столы со списками. Каждый заключенный должен был назвать свою фамилию, и офицер называл номер, который люди с кисточкой писали на наших спинах, шапочках и коленях. Мне написали: И-798. Я понял, что я 798-й в тысяче каторжан, прошедших такую же процедуру.

Мне стало ясным, что у меня нет больше ни имени, ни фамилии... И-798 — и все!.. Оказалось, что не совсем все: нам было приказано представляться так: ЗК КТР И-798. Это означало: заключенный каторжанин номер такой-то.

Долго нас в Магадане не держали. Помню — подъехали большие американские машины с прицепами, как вагонами. Если я не ошибаюсь, их называли «Дайманами». Борта у этих машин выше человеческого роста. Нам было приказано залазить в эти машины и становиться в ряды — ряд за рядом. В кузове помещалось 100 человек и столько же в прицепе. Поехали!

Мы ехали таким образом несколько дней, иногда останавливались выходили, строились, получали хлеб и баланду.

Во время остановок случалось переговариваться с вольными, которые доставляли нам еду и воду. К моему удивлению, среди них были бывшие советские военнопленные.

Один из этих ссыльных посмотрел с участием на мое мальчишеское лицо, смахнул что-то с глаз и вздохнул: «Да, сынок, не многие из вас будут по этой дороге возвращаться»... Он повернулся и пошел прочь, потом оглянулся и добавил: «Бог тебе в помощь!»

С Сашкой мы были тогда разлучены. Я не помню, как и когда это произошло, но вспоминаю, что иногда он махал мне рукой из другой колонны. Я ему отвечал тем же, если узнавал. Узнать было не так легко, ведь одеты мы были все одинаково. Сашкина шапочка была надета набекрень, по-видимому, он еще не очень унывал.

Я тоже старался не падать духом, но одну большую ошибку совершил: поддался уговору одного «вольняшки» и обменял с ним свое белье на кусок хлеба и селедку. Соблазн был слишком большим, ведь изголодались мы уже порядочно. Хлеб и селедку я съел с удовольствием, но не наелся. А белья у меня не стало... как я жалел об этом впоследствии!..

В «Дайманах» мы доехали до прииска «Усть-Нера». Дальше дороги не позволяли этим огромным машинам ехать по ним, и нас пересадили в самосвалы-студебеккеры. Через несколько часов езды наши машины остановились перед воротами лагеря на прииске «Ольчан».

Вот я и подошел к самой страшной главе в моих воспоминаниях. Постараюсь рассказать все по порядку.

Нас снова пересчитали, построили по пять, приказали повернуться спиной к лагерю и сесть на землю, где стояли. Из открытых ворот лагеря выводили заключенных, группами по пять человек, и они садились в машины, на которых мы приехали.

Наш конвой передал сопровождающие документы лагерному начальству, принял документы вышедших из лагеря, и машины, шумя моторами, покатали обратно. Нас завели в лагерь. Снова нас считали и пересчитывали, проверяли все данные, конвойные перекрикивались друг с другом, суетились и бегали. Наконец, нас разместили по баракам.

Мы познакомились с дневальными, бригадирами и новым конвоем. Почти все бригадиры сидели по 59-й статье

(за бандитизм). Их лица и манеры говорили нам одно: не жди ничего хорошего!

Общее настроение было удрученным. Нам сказали, что кормить будут в столовой, куда водят строем. Половина из нас пойдет на работу уже ночью, а вторая половина — завтра утром.

Не помню, кормили ли нас в этот вечер, но хорошо помню, что я попал на работу в первую же ночь, в ночную смену.

Летом на Колыме бывают белые ночи. Солнышко спрячется за сопку, кругом помрачнеет на часок-другой, и вот уже солнце выглядывает на другом склоне сопки и разливает лучи свои жизнетворящие по всей земле... На душе становится теплее и радостней...

О, солнышко, как тянется к тебе душа каторжника, человека обиженного и униженного, никому не только что не дорогого, но и ненужного, и часто ненавидимого и презируемого! Одно ты согреваешь и тело, и душу его, и молится он тебе, как единственной силе во всей Вселенной, которая относится к нему с добром. О, Великая сила Добра, только ты одна можешь нейтрализовать Зло в душах людских и сделать жизнь их достойной!

Первые шаги на этом страшном прииске запомнились мне со всеми подробностями. Нашим бригадиром был некто Комаров. Это был крепко сложенный, упитанный человек с красным лицом и жуликовато бегающими монгольского типа глазами. Он был осужден за бандитизм. Но, назначив его бригадиром, администрация просчиталась — сердце его не было злобным. Он орал на нас и даже иногда бил, но только в присутствии начальства, чтобы продемонстрировать свою лояльность. Мы чувствовали, что если он и не вполне сочувствует нам, то, во всяком случае, нас он не ненавидит.

Комаров объявил нам, что у нас будет 12-часовой рабочий день, что смена будет сменять нас на производстве, и что мы обязаны передавать инвентарь и инструменты из рук в руки. Этим инструментом были: тачка, лопата, ломик и кайло (кирка).

Он же объяснил нам суть нашего труда.

Наша работа должна была заключаться в обслуживании «промприбора» — сооружения для промывки золотоносного грунта. Процедура добывания золота происходила следующим образом: на высокой (высотой метров в пять) эстакаде из столбов был установлен скруббер (огромная бочка, в которую

подается по транспортеру грунт и по трубам вода). Бочка эта крутится при помощи электромотора, и грунт промывается. Золото, удельный вес которого выше, чем у песка, оседает на дно. Вода смывает мелкий песок с золотом в «колоду» — деревянное корыто метров в 30 длиной, стоящее под уклоном. Дно этого корыта устлано резиновыми ковриками и сукном, в котором золото задерживается. В скруббер грунт подается по транспортеру, который начинается под бункером. Этот бункер мы должны были наполнять грунтом — это была наша непосредственная задача. Грунт мы брали из открытого карьера.

Верхний слой, не содержащий золота, называется «торфалин». Он состоит из различных компонентов: верхний слой — торф, под торфом — галька, под галькой — пески. Пески — это верхний слой мантии Земли, разрушенный водой, ветром, смелой температур и т. д.

Пески мы возили тачками — «два руля, одно колесо», как мы в шутку их называли. Нам приходилось гонять эти тачки по «трапам», т. е. по доскам, уложенным на земле. Грунт не был рыхлым, его нужно было разрыхлять.

Комаров разбил нас на звенья, в нашем первом звене было 4 человека. Я помню всех их и по именам и фамилиями .

Звеньевым был назначен Иван Юрченко. Он был старше нас всех, самым высоким, самым сильным, красивым и опытным в жизни. Иван был из кулаков, он приехал в Сибирь вместе с родителями еще в тридцатом году, во время раскулачивания. Он помнил все ужасы коллективизации. В конце 30-х годов Иван попробовал вернуться в родное село (у него там была невеста). За эту попытку он был арестован и отбыл в лагерях 5 лет. В начале войны его взяли в армию, на фронте он попал в плен к немцам. Он бежал из плена, вернулся на Украину в родное село, женился там на своей любимой и жил с ней, сторонясь всякой «политики». Но, несмотря на это, он был арестован по чьему-то доносу (он подозревал в этом милиционера, который ухаживал за его девушкой, пока Иван отбывал срок), и получил 15 лет КТР.

В первый же год каторги его освободили и оправдали, но поскольку зимой из-за отсутствия навигации нельзя было уехать с Колымы, он остался на прииске до весны. Но судьба была к нему жестока. Иван не дожил до весны — он замерз в экспедиции за дровами на сопке.

Я, как будто это было вчера, ясно вижу перед своими глазами его молодое, красивое лицо, которое было окаймлено совершенно белыми волосами. Голова его была коротко острижена, но волосы были такими густыми, что выглядели, как шапка. Да будет тебе, Ваня, пухом Колымская мерзлота! Хорошим ты был человеком!

В нашем звене были еще Гаврила Рыжов и Степан Шептуха. Об их судьбах можно было бы роман написать, как и о каждом из каторжан, но на это у меня нет сейчас времени. Дай Бог, успеть рассказать свою историю.

Так мы и работали... Три тачки гоняли по очереди... Двое копали грунт и нагружали его в тачки, третий отвозил... Комаров устанавливал норму, сидел на бункере и считал тачки. Иногда, для поощрения, за 10 привезенных тачек он давал махорки на «скрутку», кусочек газеты и разрешал посидеть, выкурить ее... Иногда приманкой служили 100 грамм хлеба и селедка... И голодные, ослабевшие люди спешили, чуть не сбивая друг друга с ног, чтобы получить эту подачку.

Ночью обед не привозили, поэтому работали мы без перерыва. Перед утром страшно хотелось спать — так, что чувство голода уходило на задний план.

Когда приходила смена, мы передавали наши инструменты, строились и шли в лагерь. Когда проходили через вахту, нас тщательно обыскивали. Тогда мы еще не знали, что охранники искали золото. Позже нам стало известно, что за крупинки золота у дневальных можно купить хлеб, кашу, табак и т. д.

Так, работая «в забое», мы начали присматриваться, не блеснет ли под киркой золотая крупинка... Золото приобрело цену... Даже я наловчился иногда приносить несколько крупинок под нижней губой.

Здесь нужно объяснить, для чего дневальные и повара покупали золото. Дело было в том, что в лагерях был такой дурацкий «закон»: каждый, кто работал на прииске «придурком», был обязан каждый месяц сдать лагерному начальству определенное количество золота. В случае неуплаты «придурков» посылали на общие работы. Логика этого «закона» была такова: все равно зеки пронесут золото в лагерь, а таким образом администрация лагеря его выудит...

Лето на Колыме очень короткое. В августе ночи бывают холодные и по утрам часто случаются заморозки. В бараках

было сыро, и согреться там не было никакой возможности. Мы спали на деревянных нарах, наспех сбитых, даже не из досок, а из горбылей. Никакой постели, кроме телогрейки, не полагалось: телогрейка служила и одеждой, и матрасом, и одеялом. Бывало, придешь мокрым с работы — телогрейка на тебе и под тобою сохнет, да так и не высохнет до следующей смены.

Отсутствие белья стало больно ощущаться, мне казалось, что с ним было бы гораздо теплее. Как-то я нашел на производстве мешок, прорезал дырку для головы и для рук, и получилось нечто вроде длинной рубахи. Я очень обрадовался своей находчивости, да не долги были радости — «рубаху» отобрали у меня при первом же шмоне (обыске) при выходе из зоны на работу.

Однажды во время работы я нашел самородок, грамм на 10 весом. Я очень обрадовался, т. к. надеялся выменять на него белье у портного в санчасти. Но как пронести его в зону? Я придумал положить его в селедочную голову и оставил на дне котелка. На этот раз не повезло: самородочек выпал, и надзиратель нашел его. Хорошо еще, что он не наказал меня, просто спрятал добычу в свой карман.

В сентябре стало еще холоднее. Снова мы попали на ночную смену. Ночи стали длинными, темными... Конвой не раз обращал внимание начальства на то, что вокруг рабочей зоны нет ламп.

Перед началом нашей смены было уже совсем темно. Как-то раз, как только мы вышли из ворот, солдаты скомандовали строиться. «Что случилось?» Нас начал охватывать страх... Солдаты завели нас в самую лужу, и — «Ложись!»... Мы упали прямо в воду и лежали, не шевелясь... Кто знает, что им на ум взбредет?.. Уже несколько раз случалось, что когда мы подходили к зоне, видели несколько мертвых зеков, лежащих у ворот. Нам объясняли, что их застрелили при попытке к бегству, и тому, кто задумает бежать, будет тот же конец!

Да куда здесь бежать? Очевидцы рассказывали потом, что этих зеков бригадир послал за телогрейками, которые были спрятаны за запретной зоной... Солдат-охранник и пустил по ним автоматную очередь. Видно, бдительный был парень! Говорили, что ему вынесли благодарность и дали отпуск. А ведь каждому солдату хочется в отпуск... Через несколько дней опять — труп перед воротами...

На этот раз, как рассказывали, сам конвоир послал этого зека за досками. Бедняга пошел, ничего не подозревая... и получил очередь в спину... А раз в спину, значит, была попытка к бегству... С тех пор мы стали бояться охранников, и теперь лежали в луже, напуганные, как зайцы. Мы прижимались друг к другу, чтобы согреться... не помогало... холод пробирал до костей. К утру рассвело. «Поднимайтесь, фашисты! На работу пора! Да пошевеливайтесь! Вот как отдохнули!» — смеялись солдаты.

А как трудно голодному, истощенному человеку согреться работой, когда желудок пустой и силенки на исходе!.. Так они мучили нас целую неделю, пока не повесили достаточно ламп. У меня начали почему-то ноги в ступнях пухнуть, а потом и голень на левой ноге покраснела. Болит... а работать нужно. Ребята пожалели меня, не дали тачку гонять... «Поработай до вечера кайлом, а завтра утром пойдешь в санчасть».

Помню, что еле-еле я доплелся до лагеря. Всю ночь спать не мог — нога болела, и опухоль не спадала, стала еще краснее. Утром пошел в санчасть. Лагерный врач посмотрел на ногу и послал за вольной врачихой. Врачиха внимательно посмотрела и покачала головой... Что-то шепнула нашему доктору, и он понимающе кивнул.

— Да ты мастырщик (членовредитель)! Марш на работу, пока не подохнешь!

Вот тебе и врачи...

Я вышел из санчасти, посмотрел на ногу — она была, как колодка, иссиня-красная... Я сказал, что не могу идти на работу. Надзиратель одел мне наручники и поставил меня перед воротами. Целый день я стоял перед воротами, а к вечеру упал, потерял сознание... Понесли меня в санчасть... Тут я вспомнил советы друга своего Кости: «Как станет немогогу — иди в санчасть... и постарайся там остаться санитаром»...

Я лежал в стационаре... и блаженствовал: на работу не гнали и пайку мою прямо в кровать приносили... Правда это была не кровать, а нары без матраса, но все таки...

Так я пролежал около недели. Опухоль стала рассасываться, флегмона стала проходить, а мне так не хотелось возвращаться в лагерь! Хоть бы еще недельку отдыха?..

Наша врачиха пришла комиссовать больных и послала меня и еще нескольких больных на «ОП» — отдельное питание.

Вот радость то! Говорили, что это продлится целый месяц... Господи, за что такое счастье?..

Здесь я хочу рассказать, как наша врачиха комиссовала больных. Она сидела на стуле, а больные, спустив штаны до колен, проходили мимо. Она смотрела на их ягодицы, и если последние напоминали два кулачка — посылала на «ОП». Конечно, мест в этом «ОП» было ограниченное число, и попадали туда далеко не все — как повезет! Мне, очевидно, повезло, или, может быть, она узнала меня, и ей стало стыдно за то, что меня с больной ногой послала на работу. Она ведь видела, как я целый день в наручниках стоял...

Привели меня в барак «опешников» и положили на указанное санитаром место. Боже, какое счастье!.. Неужели же целый месяц я буду тут лежать?.. Поднимать будут только на проверку... И цель моего лежания — поправка, «курорт»...

Радости моей не было конца, даже патриотические мысли начали приходить в голову. Я лежал и думал: «Вот тебе — забота о человеке!.. Хотя вместо имени и фамилии остался номер, и истощен я уже до состояния дистрофика, и ноги от цинги пухнут, и флегмоны образуются... Но ведь умереть не дали!.. Вот отдохну, отъемся, сил наберусь — и опять на работу, родной стране золото добывать. А золото это ей — ой, как нужно! Америка требует платы за поставки во время войны, даром ничего в жизни не дается... А страна ведь разрушена. Скорее поправляйся! Родина зовет!»

Несколько дней все было благополучно. Мы получали нормально каждый день свою пайку ОП (целый килограмм хлеба!). И какое это счастье! Возьмешь в руки горбушку, да еще с довеском, палочкой приколотым, чтобы в яшике не потерялся, держишь ее, как дитя родное, смотришь, как на солнышко. А она, ароматная и поджаристая, сама в рот просится... Слюни бегут, глаза горят... Вот бы две таких, тогда бы наелся!

— Сосед, давай поменяемся! Сегодня я две пайки съем, а завтра ты... Денек потерпим, а зато какое это счастье будет, представляешь? Наестся так, чтобы больше не хотелось! А то, как медленно ни жуешь одну килограммовую пайку, все равно она все меньше и меньше становится... а потом совсем исчезает. Проглотишь последний кусок, а слюна все еще выделяется — полный рот этой слюны, и слюнные железы болят... А живот — словно и не ел, а глаза горят, как у кошки, — еще бы столько!..

Эх, не повезло мне в этот раз! Я целый день лежал с закрытыми глазами, чтобы время быстрее прошло, и думал о чем угодно, только о хлебе старался не думать: ведь я отдал свою пайку соседу. Даже в руки ее не взял, чтобы не расстраиваться. Мысль о завтрашней перспективе радовала: двух паек я еще не едал... А говорят, такое приятное это ощущение сытости... Лежишь и слышишь, как желудок работает, как переработанные соки от двух паек в кровь попадают и по сосудам по всему телу разносятся. С каким нетерпением каждая клеточка твоего истощенного тела ждет свою порцию!.. Вот где блаженство!..

Я лежал и, предвкушая это блаженство, всю ночь не мог заснуть. О чем только я не передумал... Я вспоминал, как, собираясь в школу, брал из маминых рук рубль — на завтрак. Боже мой! Каким же я был дураком!.. Ведь можно было не французскую булку покупать, а хлеб!.. Тогда килограмм докторского хлеба стоил 90 копеек... И каким вкусный был тот хлеб, пахнул пекарней. А я, дурак, бывало, вместо завтрака покупал папиросы... Вот болван! Купил бы «Мотор» за 35 копеек, а на остальные деньги — хлеба!.. Зайти бы в пекарню на Прорезной... там запах такой, что дух захватывает... и купить целую буханку...

С самого утра я стал выглядывать в окно: не откроются ли ворота? Не везет ли Сивка хлебушек? Сивка — это серенькая лошадка, маленькая, монгольской породы, лохматая и не первой чистоты. Как любили мы ее за то, что она хлебушек наш возила! Возила она и другие продукты, и воду, а иногда и «дубарей» из морга на «девятый лагпункт» отвозила... А последних становилось все больше и больше. Начали люди умирать, да чем крепче, тем раньше... Вот Романчук, какой здоровяк был!.. А как быстро ушел!.. Казалось, что пока он похудеет, я пять раз подохнуть успею... Ведь был я уже «кожа да кости», а вот все еще жив... а он пропал...

Что-то не везла Сивка хлеба... Кто-то зашел со двора и сказал озабоченно:

— Что-то не видно дыма над трубой из пекарни...

— Что ты болтаешь? Откуда дыму быть в такое время? — запротестовал я. — Выпечку уже давно из печи вынули... Я ночью выходил, и вот как хлебом попахивало!..

Мы беседовали и в окно поглядывали, а Сивки все не было... Мои нервы перенапряглись от этого ожидания. Вдруг

в палату вошел санитар и объявил о том, что хлеба сегодня не будет — муки не привезли...

— Да как же так? Я вчера не ел, пайку соседу отдал...

Я взглянул на соседа, а он свои глаза виновато опустил. Ему все равно, он вчера две съел, сегодня ему и так не получить... а я то как?..

«Ну, ничего, сегодня посплю, а завтра 3 пайки съем!.. Да смогу ли три за один присест проглотить? Съем, ей Богу, съем!.. Семен рассказывал, что он по пяти съедал... Вот счастливый!»

Начались перебои с хлебом... Люди были уже истощены до предела, никакого запаса энергии в организмах не было. А ведь человеческое тело, как мотор, — что зальешь, тем и живешь. А не зальешь, не вложишь туда калорий, откуда энергия возьмется? Жира под кожей у нас совсем не осталось, не то что жира, и мяса уже не было... Куда все оно ушло?

Я посмотрел на свои ноги, а они, как у козлика: каждая косточка, каждый суставчик виден... И щупать не надо, со стороны скелет изучать можно. Поставить такого доходягу перед аудиторией студентов и указкой показывать: вот ключица, вот бедренная кость и т. д., и т. д.

Бывали моменты, когда мы шутили, подсмеивались друг над другом. Я всегда умел найти что-то успокаивающее в самых безвыходных ситуациях. «Ничего, ребята, — говорил я, улыбаясь. — Все, что ни делается, все к лучшему. Это ничего, что с хлебом перебои... За один месяц мы не поправимся, на второй оставят»... Эх, надежды!..

Бывало, что привозили муку и выдавали ее заключенным вместо недоданного хлеба. Арестант свою пайку должен получить — это закон, не знаю писанный или неписанный, но закон. Закон этот соблюдают даже чекисты. Говорили о том, что закон этот был создан давно — еще в царское время. Пайка — это святое право каждого каторжника, в этой пайке его жизнь, ее надо отдать. Украсть пайку — считается самым страшным грехом, за это нет пощады.

Подбросить и не поймать, печенки отбить — и никто не возразит. Ведь пайка — это святое!..

Пекарня иногда не успевала выпекать хлеб, потому пайку стали отдавать мукой и на кухне вместо жиденькой баланды варить «болтуху», а она-то на истощенный желудок — смерть!

Начались повальные поносы...

Хлебные перебои участились, а с ними «развод» начал таять... Все меньше и меньше зеков стали выходить на работу, большинство из них были больны и лежали в стационарах. Половина барачков была превращена в стационары... Сивка не успевала вывозить «дубарей»...

Говорили о том, что Лауцкас (лагерный патологоанатом) по две смены работает, не успевает трупы потрошить. «Его не берет!.. Посмотрите, какой он жирный да красномордый!» Ходили слухи о том, что он питается человеческой печенью. Возможно, что была в этом доля правды: он был странным человеком с очень неприятными глазами. Казалось, что не глаза у него, а стекла, а сами глаза прячутся где-то в глубине. Страшные глаза... Говорили еще и о том, что он золото у «доходяг» покупал и хлебом платил... Где он брал этот хлеб?..

Положение становилось критическим — некому было ходить на производство. С трудом собирали бригаду дровоносов. Летом дров не запасли, некогда было, нужно было выполнять план по золотодобыче. И все-таки не выполнили... приходилось «проходушками» промывать пески на морозе. Землю отогревали кострами и воду кипятили в бочках... А морозы все свирепели, а люди все слабели... Способных работать осталось уже совсем мало.

Наступила северная зима. Морозы доходили до 60 градусов. Пурги и метели зачастили — это было самым страшным. Работая на морозе, можно было кое-как согреться, и лицо успевали рукой прикрыть, когда чувствовали, что отмораживается. А при ветре согреться не удастся — только разотрешь лицо, как его снова моментально «прихватывает».

Если проворонить, то нос и щеки делались белого цвета, а на второй день кожа слезала и покрывалась струпьями. Струпья эти иногда покрывали все лицо и до весны не заживали. Трудно было иногда узнать человека с таким лицом.

Хоть косточки мои и не обросли мясом, но из ОП меня выписали, и я попал в рабочий барак. Во всем лагере осталось только два таких барака, остальные были превращены в больницы.

Мне выдали зимнее обмундирование: ватные брюки, такую же шапку, бурки, сделанные из простеганной ваты, на них чуни, ватные рукавицы. На другой день подняли нас рано — работали, как и раньше, по 12 часов в смену.

Наша работа заключалась в выдалбливании ломиками грунта на глубину 50—70 сантиметров. Потом приходил взрывник и заряжал шурф динамитом, точнее аммоналом. Все рабочие должны были отойти метров на 100 от места взрыва и лечь, как на передовой — лицом вниз. Взрыв получался внушительным... После этого мы возвращались к своим местам, выбирали взорванный грунт из шурфа и снова долбили новые ямки. Чем глубже мы спускались в мерзлоту, тем становилось теплее. Когда опускались метра на два, то ветер уже не чувствовался, но мы все равно коченели... Попробуй согреться, когда ты «фитиль-фитилем», когда почти каждый — «доходяга»...

Шурфы бывали по 8—10 метров глубиной. Спускали и поднимали в шурф воротком — таким механизмом, какой бывает в наших селах у колодцев. Работали мы парами: один внизу копал, другой вытаскивал грунт наружу, потом менялись.

Если смотреть из глубокого шурфа вверх, то можно было видеть звездное небо. Какая это красота!.. Небо звездное, звездное... Ничего подобного я в других местах не видал. Но какое оно холодное и бездушное, это северное небо... «О, Господи, — молился я, взывая к Нему, — долго ли мне еще мучиться?..»

Иногда бывало, что солдаты после рабочего дня гоняли нас еще за дровами. Дров нужно большое количество, чтобы отопить эти, с эфемерными стенами, бараки. Дрова в тех местах — это жизнь, без них — смерть верная. Мороз не разбирает, кто ты: солдат ли, вольняшка, КТР или ИТЛ. Ему все равно, он политикой не интересуется, морозит и только...

И вот стали нас солдаты-вохровцы после работы на сопки за дровами гонять. Наши бушлаты и бурки к вечеру становились, как деревянные: от тела шло испарение и пропитывало собой вату... Она и замерзала, ведь мороз бывал до 50 градусов ниже нуля... или еще ниже... При такой температуре все наше обмундирование становилось твердым, как рыцарские доспехи. В шурфах одежда особенно быстро намокает — там сыро.

Мы мечтали поскорее возвращаться в лагерь, в барак, чтобы поесть горячей баланды и попить кипяточку, но наши вохровцы гнали нас на сопки на заготовку дров. Самим им было «некогда» или просто неохота в такой мороз идти в лес...

Люди начинали падать уже по дороге на сопку... Когда же оттуда спускались с бревном на плече, то несколько человек

оставались лежать в снегу... Потом Сивка наша забирала их в сани. Сивка-кормилица доставляла их на «9-й лагпункт»...

Северная зима до жестокости сурова, и тянется она бесконечно долго. Так и про советскую власть говорили в лагере: может быть, она и хорошая, да слишком уж длинная...

Об этой первой зиме в лагерях у меня осталось много воспоминаний, даже теперь, после десятков лет на воле, иногда снятся ужасы этой зимы.

Я хорошо помню тот день, когда у меня появился чирей сзади головы. Сначала я даже обрадовался — может быть, от работы освобождение дадут? Когда я пришел в санчасть, лекпом начал давить мне нарыв... подавил хорошенько и смазал чем-то.

— От работы освободить не могу, — говорит, — сам знаешь, сколько сейчас доходяг валяется... Места для тебя нет, иди на работу!

Что мне оставалось делать? Я пошел на работу. Лекпом сказал — надо слушаться. В лагере лекпом, как Бог, — что прикажет, то и делают. У нас даже байку по этому поводу рассказывали:

«Утром пришел лекпом проверять барак: кто еще жив? Кто болен? Кто уже «дубарем» стал? — Всех на учет берет. После проверки санитары приходят «дубарей» в морг забирать. Несут одного, другого... белье снимают... Да зачем его в морг? Раскачали — раз, два, да в кучу... Один «дубарь» живым оказался, испугался и говорит: «Куда вы меня, братцы, ведь я еще живой!..»

— Молчи, — ответили санитары, — лекпом лучше знает»...

Вот так мы и шутили иногда над своей бедой, и я понял тогда, что значит выражение «юмор висельника»...

Многое человек начинает понимать, когда попадает в подобные ситуации... Я уже давно перестал думать о том, что я «на экскурсии» для самопознания и чего-то там другого... Все мысли были только об одном: как бы выжить...

Вечером того дня мой чирей превратился в нарыв, величиной в кулак. Кожа, обтягивающая мой череп растянулась до предела и голова стала болеть молоточной болью... А я радовался в душе.

— Вот, — думал я, — теперь уж точно освободит, подлюка... А то и в стационар положит?..

Я простился с близкими друзьями и отправился в стационар. Но, по лагерному выражению, — «подлил черт мутной воды». Лекпом посмотрел, потрогал, головой покачал: «Резать бы следовало, да скальпеля у меня нет» — и снова давить начал... Так и давил каждый день, дней пять подряд. Не знаю, как я тогда концы не отдал. А как было больно! Утром лекпом подавит, а к вечеру гной набирался с новой силой — словно вторая голова выросла у меня сзади... А лекпом-гадюка все давит и давит...

Так бы мне и попасть в «дубари» от этого чирея... Задавил бы меня лекпом и в морг бы к Лауцкусу отправил. Да, видно, время мое еще не пришло: неожиданно явилась врачиха — та самая, которая меня от флегмоны лечила. Она иногда заглядывала на место своей работы и ругала санитаров за то, что полы бывали плохо вымыты... Все другое ее мало интересовало, она лекподам доверяла... доверчивая была женщина.

В этот день ей что-то вздумалось осмотреть больных. Подошла моя очередь. «Что это у тебя там, арбуз вырос?» — изволила еще и пошутить.

Она пощупала мою опухоль, головой покачала и лекпода к себе подозвала. Пожурив его за метод моего лечения, она потребовала скальпель (который сразу нашелся!) и пырнула им... По всей моей спине потекло что-то теплое. Потом всадили мне в рану тампон: пусть гной вытягивает...

Мне стало сразу легче. Одно было плохо — меня опять послали на работу. Я даже подумал: «Какой черт принес врачиху? Лежал бы себе до весны — пусть бы гадюка давил»...

В течение той зимы многие умерли. Говорили о том, что чуть ли не половину на «девятый лагпункт» перевели. Мы уже потеряли счет погибшим... На ночь бараки перестали запирают. Куда нам, доходягам, было бежать, нас и из барака было не выгнать... Зима ведь шутить не любит.

Однажды я встретил в столовой Гаврилу Рыжова — он там поварам помогал после работы за лишнюю миску. Оба мы обрадовались встрече — ведь это с ним вместе мы тачки гоняли в наши первые дни в лагере. Вот тогда он мне и рассказал про печальный конец Ивана Юрченко: «Пошел он за дровами, срубил деревцо, да и присел немного отдохнуть... А мороз шутить не любит... Вот и нет человека... А какой был человек — богатырь!»

Гаврила растрогался и дал мне целый котелок заварухи с рыбой. Какая это была радость!.. Я сел за стол и... тот котелок разом наверхнул... Спасибо, друг, никогда не забуду!..

Сразу почувствовал в желудке полноту! Что может быть приятнее?.. Лежал я на нарах, а в животе бурчало, словно мурлыкало... А через некоторое время стало болеть... и понесло меня «во всю ивановскую»... Целую ночь в туалет бегал, а утром побежал в санчасть: это дело верное, с поносом на работу не пошлют. Было и радостно, и страшно — ведь жить хотелось, так хотелось во что бы то ни стало пережить эту бесконечную зиму... Лето вспоминалось, как рай. О том, как тачки гоняли и землю долбили, как комары заедали, было забыто... Ведь тепло было, какое это блаженство! Так хотелось еще хоть раз согреться...

Лекпом посадил меня на горшок, заглянул я туда и увидел кровь, обрадовался и победно понес горшок — показывать лекпому. Он дал мне направление в дизентерийный изолятор... Я знал о том, что редко оттуда живыми выходили, но все-таки бывало и так, даст Бог — и я выскочу... Зато там было тепло и чисто, и на мороз выходить не требовалось, даже на развод не выпускали. Лежачих больных надзиратели считали прямо на местах. Вот красота!

Пока я ожидал, чтобы мне санитар указал место, услышал с верхних нар: «Юра (так меня стали называть в лагере), иди ко мне, ложись, поговорить хочется»...

— Кто это там может быть? — подумал я, не узнавая голоса. Когда я подошел ближе, то увидел, что это был Сергей Муровицкий, с которым мы еще в Киеве сидели в одной камере. В то время он был плечистым, мускулистым мужчиной, а теперь — «скелет в отпуску»... Как тут узнаешь?

В Киеве он рассказывал мне, что до войны занимался спортом, что был членом сборной Украины по плаванию, участвовал в соревнованиях...

Я залез к нему на верхние нары. Он снял свою телогрейку, свернул ее и положил мне под голову, а ватные брюки свои расстелил вместо матраса — получилось неплохо. Я удобно расположился, согрелся и почувствовал себя, как дома...

— Как твои дела? Расскажи!

— И не спрашивай! Еле-еле душа в теле...

— Ты не унывай, ведь половину зимы мы уже прожили... Даст Бог, и до весны дотянем...

— Ты, может, и доживешь, а мне — каюк! Я уже одной кровью «хожу»... И есть больше не хочется... Смотри, сколько паек насобирал, бери, ешь, если хочется...

— Да ты что? Пайку нельзя!

— Бери, Юрчик, не ты, так санитар присвоит, а он и так не голоден. Каждый день пайки за «жмуриков» получает. Иногда они по два-три дня на нарах лежат, а он на них и хлеб, и баланду... Вот как люди устраиваются!..

— Бог с ним! — Не наше ест! А страна, богатая, выдержит!

Я лежал на нарах и жевал Сережину пайку. Раз аппетит есть — значит, жить буду... Земляк мой Муравицкий долго мне рассказывал о своей семье и о трехлетней дочурке, которая в этом возрасте уже умела читать... Рассказывая, он тихонько плакал — одними глазами, без всхлипываний или вздохов... Потом заснул... Утром пришел санитар лекарство давать, толкает его, толкает, а он все молчит... Не нужно ему было больше лекарства — уже совсем холодное тело лежало... Тихонько, чтобы санитар не заметил, я потянул Сережину торбу с пайками и положил себе под телогрейку, а сам сел на нары и начал на горячей железной трубе от печки вшей прожаривать. Вши от Сергея ко мне перешли, а у меня и своих хватало... Зимой их много у нас было, и прожарки не помогали. Говорили, что вши от переживаний людей размножаются — может быть, так оно и было... Чего, чего, а переживаний у нас хватало... .

Санитары унесли Серегу, а на его место положили новенького. Почему-то я забыл, как его звали, а вот лицо помню, как будто вчера видел. Мы с ним как-то на пересылке в Харькове разговаривали. Он был бендеровцем и сидел в Ровенской тюрьме в то же время, что и я, только нас держали в разных камерах.

У него был ужасный понос, он все на горшок бегал, а к утру перестал... Я передал ему пайку Муравицкого — он ее не съел, а под голову положил... заснул и тоже не проснулся... А у меня живот перестал болеть и понос прекратился. Я чужие горшки по утрам лекпому показывал... Куда спешить?.. До весны еще далеко. .

В бараке пронесся слух о том, что собирают этап, что тех кто еще не совсем безнадежный, будут в районную больницу класть. И правда, к нам пришла наша врачиха, а с ней еще какой-то «вольняшка», оба в белых халатах — комиссия честь честью...

Они просмотрели больничные карточки, дали какие-то указания лекпому и вышли. Я подошел к лекпому и спросил, о чем они говорили? Тот ответил, что ему поручили составить список тех, на кого есть надежда, что поправятся.

— Смотри, меня не забудь!

— Да ты ж дрестаешь непрерывно!

— Да, нет, уже улеглось, запеклось, — говорю ему. — Ни разу не бегал сегодня.

Он внес меня в список, и на другой день нас повели к вахте, оттуда на машины — и в больницу...

4. ХЕТА

Вот я и закончил свой рассказ о прииске «Ольчан»... Сейчас думаю: все ли вспомнил? рассказал ли все важное? сумел ли сделать это так, как хотел?.. И что, собственно говоря, я хотел создать? Для чего изложил свои воспоминания на бумаге в надежде, что кто-то будет их читать, думать, пытаться понять и объяснить себе всю сложность жизненных отношений?

Мне всегда казалось, что у меня есть долг перед жизнью и людьми, что я обязан рассказать все, что произошло в эти годы со мной и с другими там на «Ольчане». Мое восприятие тех давних событий и понимание того, что тогда происходило, теперь приняло другие формы.

Как я уже писал, в самом начале каторги я считал себя как бы на экскурсии. Я ощущал себя в роли «журналиста», на положении будущего писателя, решившего испытать на себе все то, о чем он собирался писать потом. Как это ни странно, но именно эта моя позиция наблюдателя собственных страданий и переживаний сотен людей, меня окружающих, внутренне сблизила меня с ними и помогла мне выжить...

И я выжил! Выжил, благодаря Воле Всевышнего, а ведь тысячи остались лежать там, в вечной мерзлоте.

Пусть память об этих мучениках будет вечной. Я считаю своим долгом сделать этот свой рассказ достоянием гласности для того, чтобы о тех страданиях, муках и жертвах никогда не было бы забыто.

Сейчас, после того как я перечитал эту «страшную» главу, я понял то, что мною было сказано очень мало. Многое я

забыл. Некоторые события, по-видимому, были упущены мною, другие я не сумел показать так, как этого бы хотелось...

Узнать и запомнить судьбы всех 1200 человек, с которыми мне пришлось пережить все эти кошмары, не было никакой возможности. Я лишь надеюсь, что картина, нарисованная мною и названная «Ольчан», в какой-то мере даст представление о трагедии, разыгравшейся в 1946—1947-х годах в одном из самых дальних уголков Колымского Края.

Продолжая записывать то, что я сохранил в памяти, я буду стараться рассказывать о том, что происходило с людьми в последующие годы, и постараюсь восполнить пробелы, которые допустил в главе «Ольчан».

Мне удалось уехать из Ольчана с этапом больных, и, таким образом, для меня и сотни каторжан в моей группе, все пережитое там отошло в область воспоминаний. Но там оставались многие, о судьбе которых я узнал позже, через год. Не все, кто вырвались из Ольчана, пережили этот год, далеко не все... А еще больше погибло из числа тех, которые оставались на Ольчане.

Только немногие остались жить, среди этого меньшинства оказался и я... После всего этого я прожил еще 9 лет каторги, освободился, женился, вырастил детей, дождался внуков, и — чудо из чудес! — сейчас нахожусь в Америке и пишу о том, что было в те годы... Ведь прошло уже 40 лет с тех пор... почти полвека. Простите меня, друзья мои погибшие, не выжившие, принявшие всю меру этих мук! Простите, если можно простить! Прости меня и Ты, Господь наш, ведь я всего лишь человек, и ничто человеческое мне не чуждо...

Наш этап остановился перед районной больницей. Нас было 100 человек больных, скелетоподобных зекон — лишь небольшая часть из шестисот человек, оставшихся в живых на Ольчане после проведенной там зимы. Больше половины погибло...

Больница представляла собой барак, окруженный колючей проволокой, с двумя вышками по диагонали. Барак был построен из горбылей и мха. Внутри барака были сплошные деревянные нары в два этажа. Это была общая палата. Другая часть барака была разгорожена на несколько комнат разного размера. Самая большая комната была для больных, которые были покрепче. Маленькая комната была предназначена для

тяжело больных. В самой маленькой был устроен изолятор для туберкулезников с открытой формой болезни. Была еще и маленькая операционная, она же и кабинет для врачей, лекпома и санитаров.

Как обычно, нас пересчитали, переписали, сводили в баню, провели санитарную обработку от вшей. Белья нам не полагалось — «в чем мама родила» привели нас в палату и приказали сесть на нары. Хоть мама нас и родила и вырастила, но я был совершенно уверен в том, что ни одна из них не узнала бы своего сына среди этих скелетов, обтянутых кожей и покрытых струпьями. Мы все вот уже несколько месяцев были больны чесоткой, и из-за отсутствия серной мази наши тела кровоточили, гноились и выглядели отвратительно. Почему не было серной мази, никто не знал, по-видимому, кто-то ее не выписал вовремя. Санитары пробовали делать самодельную мазь из динамита и солидола, но она не помогала, она только разъедала исцарапанные места и усиливала невыносимый зуд. Когда мы не спали, мы старались не чесаться, смачивали пораженные места мочой. Эта процедура на какое-то время помогала... Мы не могли не смеяться, глядя друг на друга...

Иногда ночью, бывало, слезали с нар, чтобы легче было чесаться, и невольно приходилось в зависимости от настроения или содрогаться от ужаса или смеяться при виде спящих. И как было не ужасаться и не смеяться: лежат на нарах скелеты, спят, и, сонные, ногами вертят, словно гимнастику делают или на велосипеде едут... а сонные руки их скребут, блуждая по всему телу...

Больничная пайка была 800 грамм хлеба, селедка и баланда. Иногда давали чай и отвар из стланника. Стланник — это стелющийся кедр. Из его хвоя приготавливали напиток, который должен был помогать против цинги. На вкус он был чрезвычайно горьким и помогал — «как мертвому кадило». Бочка с этим «стланником» стояла в палате, и возле нее кружка — пей сколько хочешь!.. Но полынь казалась бы виноградом по сравнению с этим питьем... Никто его не пил.

Мы вспоминали, что на «Ольчане», бывало, 100 г хлеба давали на двоих — и то не регулярно... Сколько дней проходило, бывало, что ждали хлеба, ждали... и голодными засыпали. И просыпались далеко не все... Тогда каждый должен был считаться с возможностью заснуть навсегда! Но и к такой мысли

люди могут привыкнуть. «Как Бог даст! — думали, бывало. — Днем раньше, днем позже, какая разница?..»

Некоторые дистрофики умирали и здесь, в больнице. Я удивлялся — ведь здесь их кормили!..

Особенно ярко запомнилась мне смерть одного из братьев Яковлевых. Они лежали рядом на верхних нарах, напротив меня. Один из них иногда поднимался, слезал с нар и ходил по палате, а другой лежал пластом и плакал, все хлеба просил... Тот, который ходил, ухаживал за своим братом с лаской и вниманием до последнего его вздоха. Однажды утром мы проснулись и увидели, что один Яковлев лежит, а брата его уже вынесли... Теперь и второй плакал... Жалко его было, но чем мы могли помочь?.. Ведь каждый мог оказаться на месте его брата.

В этой больнице я провел все лето 1946 года. Поле нашей деятельности ограничивалось барачными стенами, забором из колючей проволоки, получением и съеданием пайки... и сном. Дни проходили так однообразно, что теперь в воспоминаниях кажутся одним длинным днем, как у Солженицына в «Одном дне Ивана Денисовича». Но тот хотя бы на работу ходил, по зоне передвигался, надеялся, что переживет, мечтал об освобождении. Мы тоже мечтали... О чем?..

Наши мечты чаще всего были одинаковыми: после сна — о завтраке, после завтрака — об обеде, после обеда — об ужине. Трудно себе представить сейчас, до чего сужается круг интересов у голодного, истощенного человека... Каждый твой орган, каждая клетка твоего живого еще организма болезненно чувствуют недостаток получаемого питания. Материя, из которой состоит твоя плоть, ощущает процесс медленного умирания. Организм непроизвольно стремится экономить энергию, в которую превращается все съеданное. Энергии этой не достаточно не только для того, чтобы восстановить потерянное физической деятельностью, но и умственной тоже. Ведь и мышление — это тоже деятельность клеток мозга, требующая энергии... А ее становится все меньше и меньше. Декарт как-то сказал: «Мыслю, следовательно существую». А тут хотелось даже не мыслить — лишь бы выжить!.. Лишь бы не потух в твоём теле этот таинственный огонек, этот необъяснимый процесс, который называется жизнью...

Мозг работал и во сне. Чаще всего сны бывали о еде. Во сне мы часто бывали сытыми, то есть счастливыми. Вот когда

было легко понять, что такое счастье: счастлив тот, который сыт!..

Иногда же сонный мозг, не считаясь с затратой энергии, работал в другом направлении — вспоминал что-то, что было дорого, что любил... тех, кого любил и кто любил тебя когда-то: мать, отца, сестру, дочь, брата, друга или подругу...

О, как сладки, как полны блаженства бывали такие сны!.. Вдруг ощущалось что-то давно прошедшее, невозвратимое, неповторимое.. Что-то желанное, когда-то реальное...

Как дороги бывали нам эти образы!.. Это было то, что кажется воистину святым. Тогда мы понимали настоящее значение этого слова. Мы молились им, боготворили их в наших душах, тянулись к ним нашими покрытыми коростой, высохшими руками... О, эти сны!..

Теперь все это позади и стало, в свою очередь, сном, хоть и кошмарным, а персонажи моих снов сделались реальностью. Мамы и папы нет уже в живых... Недавно побывал на их могилках... А вот Аллочка, сестренка моя, здесь, рядом со мной. Господи, какое это счастье!.. Какое это чудо!.. Благодарю Тебя, Господи!..

Вернемся к лагерной больнице: там наша жизнь протекала без особых тревожений, самой большой радостью было сознание того, что мы еще живы. Но я отдавал себе отчет в том, что прошел только один год... и до конца срока оставалось целых 19 лет...

За этот первый год половина всех заключенных перешла уже в «лучший мир» — их с нами больше не было. Из оставшихся в живых половина была дистрофиками. Нас сортировали, нас комиссовали, нас посылали на «усиленное питание», пытались вернуть к жизни. По каким-то причинам мы вышли из строя... Кто-то был в этом виноват... За одну зиму вывели из строя 7000 рабов!.. Страна потеряла 7000 пар рабочих рук!..

Старые зеки рассказывали истории о том, как в «былые» (довоенные) времена за невыполнение норм расстреливали целые бригады. «Теперь стали более гуманными — только голодом морят».

Один очевидец рассказывал о том, что одного конюха судили и расстреляли за то, что «вывел из строя» одну только лошадь... А теперь 7000 рабов не могут больше работать. Это беда не большая... Лошадей колхозы выращивают, деньги

государственные на это тратят... А людей матери с отцами и так выкормят... Вырастут... Такого «добра» — хоть отбавляй!.. А если не будет хватать рабочих рук — машинами заменим, роботов изобретем... найдем выход из положения — «на то мы и коммунисты!» Или как там было сказано в одном лозунге? «Нет таких препятствий, которых мы не преодолеем!» Не могу вспомнить точных слов, не держатся они в моей голове — противно!

Мы пролежали в этой больнице целое лето. Умирать стали реже — по 2—3 человека в день. Лежали каторжане месяцами и не поправлялись. Наука, нашла этому объяснение, доказала, что болезнь «алиментарная дистрофия» — неизлечима. Заключенного с таким диагнозом переводили в категорию «инвалида», оформляли это документально и отправляли в ОЛП — в специальный лагерь, в котором давали «инвалидный паек» — 500 г хлеба и баланду. «Хочешь живи, хочешь нет — это теперь твое дело!» Государство такими больше не интересовалось... Человека «списывали» с картотеки, и он как бы переставал существовать... Этой перспективы мы боялись больше всего...

Как я вспоминаю теперь, несмотря на все переживания, я начал чувствовать некоторую бодрость и зачатки оптимизма. По-видимому, привык к выдаваемой пайке, к постоянному чувству голода и к назойливым мыслям о еде. Конечно, больше всего хотелось жить... На что было мне надеяться? Ведь я уже был, что называется, «фитилем», а впереди еще 19 лет каторги и 5 лет «поражения». О, родные мои, дорогие!.. Где вы? Мама родная, молись обо мне! Папа, Аллочка, Адочка, если вы живы, — молитесь обо мне! Мне так хочется выжить и увидеть вас... Хоть бы один только раз!..

В то время никто из нас не получал еще писем, никто не знал о том, что происходило на «большой земле»... Правда, о Нюрнбергском процессе нам сообщили, а о том, что были казни в Москве, повторяли неоднократно. Мы знали о том, что союзники выдали генералов Власова, Краснова и других, и о том, что они были казнены... Я думал: что с папой?.. «Боже мой, — я молился, — спаси папу моего!.. Спаси мою семью! Господи... за что?..»

Однажды вечером я почувствовал, что у меня поднялась температура. Температуру нам измеряли регулярно — ведь считалось, что мы в больнице. Моя температура стала повышаться

ежедневно в одно и то же время. В некотором отношении это состояние мне даже нравилось — я чувствовал легкое возбуждение, даже петь хотелось. Я лежал и напевал: «А молодисть не вернуться...». Эту украинскую песню я запомнил, и она была очень понятна мне теперь. Мне было 20 лет теперь, а когда срок мой закончится, будет 45... Доживу ли я до этих лет?

Я начал терять надежду, особенно из-за этой повышенной температуры. Я помнил слова доктора в Германии, когда он выписывал меня из госпиталя: «Плеврит — это родной брат туберкулеза».

Я сам себе поставил диагноз и понял, что мои дела неважные. Хоть при температуре и не так хотелось есть, и даже к пеню подмывало, но все это могло кончиться печально...

Меня перевели в палату туберкулезников. Санитар, который пришел за мной, повторил шаблонную фразу: «Забота о здоровье человека всегда на первом месте у нас — и на воле, и в заключении». От этих слов мне стало тошно...

В туберкулезной палате тоже были двухэтажные сплошные нары. На нижних нарах лежали те, которые кашляли кровью. Лица их были прозрачными, а глаза блестели... Они больше уже не вставали, т. к., по-видимому, сил уже не было...

На верхних нарах лежали такие же, как я, которые ждали, пока на нижних место освободится, и постепенно туда спускались. А оттуда уже на носилках — к патологоанатому.

«Эх, хоть бы уехать куда-нибудь!» — так мне захотелось выбраться отсюда. Я вспомнил, как когда-то в Германии я тоже заболел, и температура была... и худым я был тогда, и слабым... а вот выжил же. Может быть и теперь выживу?.. Господи, спаси и помилуй!..

Пошли слухи про этап. Говорили о том, что повезут на «Левый берег» в центральную больницу... Рассказывали, что там хорошо кормят и лечат, лекарства дают и что там выживают... На все Божья воля!..

Мне страшно захотелось попасть на этот этап... чтобы увезли хоть куда-нибудь — лишь бы не к Лауцкусу в «лапы».

Лекпомы начали составлять списки. Я понимал, что из нашей палаты никто на этот этап не попадет — здесь все безнадежные. Туберкулезники были обречены...

Я вспомнил притчу про лягушку и начал температуру сбивать, а затем вступил в переговоры со старшим санитаром.

— Включи в списки, будь другом! Я тебе буду свою вечернюю пайку хлеба отдавать... — я пообещал ему, думая о том, что аппетита у меня все равно нет.

Мой план удался — я не помню, какой это был месяц, но было уже холодно, даже морозы начались, когда нас вызвали на этап. Перед отъездом нам выдали одежду. Я давно себя одетым не видел, ведь все лето мы лежали голыми, привыкли и к этому. А теперь вот снова одет, и хлеба дали по 600 грамм на дорогу. Вот радость-то была, а больше всего я радовался тому, что еду. Я верил в то, что раз вышел из этой больницы, то буду жить. Я молился Богу и благодарил Его, я знал, что еду на поправку, и чувствовал, как силы возвращаются в мое тощее тело...

Нас везли в двух открытых грузовиках, в каждом по 25 зеков и 2 солдата. Погода была холодная, но на душе у нас было тепло и радостно — впереди была жизнь, пусть за колючей проволокой, но жизнь!..

Прощай, прииск «Ольчан»! Прощай, долина реки Неры! Заключенные называли этот район «Долиной смерти», но на Колыме каждая долина могла бы так называться. Вот и тогда — привезли нас в Хету, которая была ничем не лучше. Там, как и на «Ольчане», стояло несколько бараков, рядом была кухня и немного подальше — морг. Все было огорожено колючей проволокой, и по углам стояли вышки — все «честь честью»...

Как и тогда в «Ольчане», конвой выгрузил нас и передал документы новому начальству. Нас пересчитали и отправили в барак, в котором пол был выслан ледяным покровом сантиметров в 20 толщиной. Приехали какие-то люди (как мы узнали позже — ИТЛ*) и привезли нам ломы, кайлы и лопаты... Но работать мы были не в состоянии — ударишь кайлом и падаешь... Итээловцы сначала смеялись над нами, а потом пожалели: «Залазьте, фашисты, на верхние нары и сидите там» — скомандовал старший. Но о верхних нарах не могло быть и речи, многие из нас были не в состоянии и на нижние залезть. Истощенные люди были так слабы, что еле держались на ногах. У многих была цинга в полном разгаре, ноги не действовали...

Я вспомнил, что когда еще на «Ольчане» нужно было перелезть через водосточную канаву по дороге в столовку, многие

* «ИТЛ», «итээловцы» — заключенные, отбывающие по приговору суда срок в исправительно-трудовых лагерях. — *Прим. ред.*

это препятствие преодолевали на четвереньках. И для того, чтобы порог переступить, нужно было тоже опускаться «на все четыре».

С большим трудом мы взобрались на нары, сбились в кучу, чтобы теплее было, и голодными глазами следили за тем, как «итээловцы» работали.

Потом мы узнали, что целая бригада была выделена для нашего обслуживания. В обязанности «итээловцев» входило быть дневальными, поварами, раздатчиками, могилокопателями и похоронщиками. Когда морг наполнялся голыми трупами, бригада посылалась туда и каждый из них нес одного «дубаря» на своих плечах. Так и шли гуськом, а замерзшие конечности умерших торчали во все стороны. Нам приходилось наблюдать такие процессии из окон барака... но никто из нас не смеялся... А «итээловцы» несли трупы и хохотали, как будто это могло быть развлечением...

Для того, чтобы спуститься в лощину, где находились могилы, нужно было пройти довольно большое расстояние по снегу. Снег был скользким, идти по нему неудобно. Наша бригада придумала такой метод: каждый из них садился на свой труп и — пошел! — как на салазках. У одного покойника закончившая рука торчала в воздухе, как палка. «Смотрите, он за Сталина голосует!» — кричал один похоронщик, а другие заливались хохотом. Им то что — они сыты и здоровы.

После такого «представления» я принял решение: «Хватит! — сказал я себе. — Если жить хочешь, нужно за эту жизнь бороться».

«Итээловцы» затопили печку-бочку, и в бараке стало теплеть. Из столовой принесли нам в бачке горячей баланды, от которой по всему бараку пошел раздражающий запах, и пар из нее так и валил.

«Кто из вас старший?» — спросил конвоир. Я вскочил с нар и прокричал: «Я!». Лешка, так звали повара из «итээловцев», посмотрел на меня с улыбкой, похвалил за храбрость и вручил мне черпак.

— Как тебя зовут?

Я ответил, что меня зовут Юрием (так было удобнее; от имени Эразм я решил избавиться).

— Дели, Юрка, да смотри, чтобы все были довольны... И себя не забывай!

Лешка был белорусом. Почему-то он сразу полюбил меня, по-видимому, пожалел. Я помню, как он говорил мне: «Вот так и выживешь, если вертеться будешь... Хочешь жить — умей вертеться! Здесь это, как закон... Закон здесь — тайга!.. Ты умри сегодня, а я завтра — вот какой здесь закон!»

Я слушал Лешку и думал свою горькую думу: «Не совсем ты прав, Леша... Что-то слишком жестокое есть в твоей житейской формуле. Имею ли я моральное право стараться выжить за счет кого-то? Ты умри сегодня, а я завтра — как-то коробит душу от этих слов... Но и жить ведь хочется... А жизнь — это борьба, как в животном мире». Я вспомнил когда-то прочитанное, как в табуне лошадей самые сильные жеребцы борются за власть... А люди?

В моей памяти промелькнули: камера в Киевской тюрьме, в которой я выиграл борьбу за пост старосты, остовский лагерь в Германии, лагерь военнопленных немцев и даже мои школьные годы... Там тоже шла борьба за первенство, но тогда на карту не ставилась жизнь... А тут?..

А как же обстоит вопрос с совестью? Есть ли она у меня? Я уговаривал себя тем, что ведь убивать-то я не собирался... Если не стану пользоваться крохами от общей порции, то другие будут еще более бессовестно обирать слабых... Кому от этого будет лучше?..

Вспоминались когда-то прочитанные книги о героях революции и Первой мировой войны. В этих книгах была описана борьба... Везде была борьба, но и мораль была в этой борьбе, хоть разная, но мораль...

Я думал о героях Достоевского, о братьях Карамазовых... Как бы поступил Алеша в подобной ситуации?.. Алеша погиб бы первым... А Иван и Димитрий?.. Те, пожалуй, боролись бы за свое существование... Иван — тот, как и я, ломал бы себе голову вопросами совести... А Димитрий?.. Хотя бы на Смердякова не стать похожим!..

А как бы поступил Раскольников со своей теорией о сверхчеловеке? А Гитлер?.. А судьба немецкого народа?.. Чем закончился взлет гитлеровской гордыни? Вот и я попал в этот водоворот... А может быть, есть доля правды в расизме? В философии Ницше?

А с другой стороны, бывают ведь справедливые руководители? Мне вспомнилась камера в Ровенской тюрьме, в которой

сидели бендеровцы. Там был порядок, там никого не обижали, наоборот, защищали слабых... Значит, бывает и такое.

Однажды ночью калмык Бомбеев с двумя друзьями полезли на верхние нары для того, чтобы у лежавшего там старика украсть пайки. Старик этот болел желудком и 2—3 дня паек своих не ел, а клал под подушку. Как только Бомбеев коснулся подушки, старик проснулся и началась возня — Бомбеев тянул к себе добычу, старик не давал... Соседи по нарам начали ругаться, что спать, мол, не дают, но никто не вмешался в драку. Я не выдержал, вскочил со своих нар, собрал последние силы и толкнул Бомбеева так, что он очутился на полу... Правда, что много сил здесь не понадобилось — все мы были «скелетами в отпуску»...

Окружающие поддержали меня одобрительным гулом. Я набрался смелости и прокричал: «Молчать, все! Спать ложись!..» Все послушались... а я лежал молча, и сердце билось от волнения и гордости за самого себя: «Вот я какой — борец за справедливость!..»

Это происшествие укрепило мой авторитет в глазах зеков. Ко мне стали подходить и жаловаться друг на друга спорящие о месте в очереди, о дежурстве и т. д. Я рос в своих собственных глазах... Вокруг меня появились и подхалимы. Я приблизил к себе одного латыша Ивана Алексеюса и сделал его своим помощником, хоть и чувствовал в глубине души, что он был если не фальшивым, то не совсем порядочным человеком, и, конечно, хитрым. Но ему хотелось выжить, хотелось есть, как и всем другим, но проявлять активность мог не каждый... и не каждый хотел, конечно. Мы с Иваном захотели этого только ради того, чтобы жить: для того, чтобы не остаться на дне, нужно прыгать, как лягушка из притчи.

В мои обязанности стало входить назначение дежурных по бараку, построение зеков перед баней и перед столовкой (когда нас начали туда водить). Я был рад, что прекратил раздавать баланду — голодным людям угодить трудно. Одному кажется, что черпак не был полным, другому — что у соседа баланда гуще, жирнее или аппетитнее... Меня считали справедливым, но без недовольных не обходилось. В столовой раздавал Лешка, а я следил за порядком и за это получал добавку, которой делился с Иваном, конечно.

Так тянулись наши дни. Прошла пара месяцев.

— Вот ты уже и на человека стал похож, а то уже совсем «зафитилил». Смотри, больше этого не допускай. Ослабевать в лагере нельзя! Нужно быть сильным! Сам духом упадешь — другие уважать перестанут. Вот ты привык руководить, и люди смотрят на тебя, как на своего защитника... Теперь все — так в «придурках» и проживешь. Срок у тебя большой, приспособиваться надо... А вдруг и до амнистии доживем... Сталин же не вечен... хоть и долго подлюки грузины живут... Поживем и мы... Увидим...» — говорил Лешка.

Он подарил мне меховую безрукавку. Один «западник» пошил мне рукавицы «краги», а другой высокую кубанку. В бане мне, как старшему, белье выдали получше, и ватное обмундирование я по всей форме получил. И стал я ходить «щеголем»... Правда, что номера пришлось на всем этом пришить, надзиратель заставил.

Я почувствовал в своем сердце даже некоторую гордость: «Вот какой я, парень-герой!» А Лешка мой кураж поддерживал и друзьям своим говорил:

— Смотрите на этого парня, сравните его с другими, сразу видно, что «человек»!

А «людьми», надо заметить, в лагерях, называют блатных, которые считают себя тюремной элитой.

Удивительнее всего то, что рядовые заключенные (не блатные), которых на тюремном жаргоне почему-то называют «чертями», признавали право «людей» руководить ими и даже преклонялись перед их смелостью и мнимым превосходством. Когда я слышал, что и меня называли «человеком», мне это начинало нравиться: «А может быть, действительно я лучше, чем другие?..»

Но, «человек предполагает, а Бог располагает»... Как-то вечером я почувствовал, что поднялась температура, как тогда в больнице на Нере. Только тогда термометр не показывал выше 37—38 градусов, а теперь ртутный столбик подскочил до 39 градусов. Я лег на нары, и меня знобило. Ванюшка мой укрыл меня телогрейками, но и это не помогло... Я начал дрожать всем телом, зуб на зуб не попадал. Ваня позвал врача, который только недавно появился в нашей зоне. Этот врач был из своих — ЗК-ИТЛ. О выслушал мою грудь и дал мне какие-то таблетки. Мы познакомились и разговорились. Его звали Федором Михайловичем Лапшиным, и было у него 25 лет сроку. В лагере

были разговоры о том, что у Лапшина вначале было только 10 лет, а потом его послали на доследование и дали все 25. Как будто бы он был обвинен в поджоге, но в лагерях была своя этика — о существе преступления никто не расспрашивал.

Лапшин рассказал мне о том, что в свое время он был капитаном парохода на Волге. Он, по-видимому, очень любил Волгу, мог рассказывать о ней часами с воодушевлением.

Я рассказал ему свою несложную жизнь до войны в семье и во время войны в Германии. Наша дружба с ним началась сразу после его визита ко мне как к больному. Когда мне стало лучше, я начал посещать его в отдельной комнате при больнице, в которой он проживал. Лапшин помогал мне, чем только мог.

Однажды к нам приехала врачебная комиссия из Магадана. Комиссия пересмотрела все наши истории болезней и по одному вызывала на медицинский осмотр. Отбирали тех, кто был помоложе и поздоровее, без хронических заболеваний, и назначали их на ОП, т. е. на двухкилограммовую пайку хлеба. Тех же, кто в их число не попал, переводили в другой барак, на 500 грамм — на «доход»... Лапшин изъял из моей больничной карты бумагу, в которой было сказано о моем туберкулезе, и я попал на ОП.

Нам выдали новые одеяла и кормить стали лучше: выдавали нам по 30 г масла в день, густую кашу и побольше баланды. По распоряжению «сверху» было решено восстановить наши силы и перевести в разряд трудоспособных. По-видимому, обильный источник трудовой силы начал постепенно иссякать...

Мы с Иваном отделили себе особое помещение на нарах — завесились одеялами, получилось что-то вроде кабинки. Надзиратели смотрели на это «сквозь пальцы» — ведь мы были «камерным начальством»... Зажили мы, можно сказать, припеваючи... Тех же, кого перевели в инвалидный барак и кормили 500 граммами хлеба, судьба не долго баловала: почти все они весны 48-го года не дождались.

Лапшин взял меня к себе старшим санитаром в больницу и даже отгородил для меня там отдельную «комнату». В бараке я оставил Ивана вместо себя.

Я просто блаженствовал, чувствовал себя кем-то вроде директора. Мне даже помощника дали — Степана Працюка из

бендеровцев. Степан был красивым малым, с доброй душой и далеко не глупый. Мы с ним скоро подружились. В наши обязанности входило: кормить больных, следить за порядком, раздавать лекарства, мерить температуру и т. д. В моем ведении был и больничный журнал, в который записывались все новопривывшие и выписывались все умершие. Морг тоже входил в круг моих обязанностей, т. е. анатомировал Лапшин и то больше «для галочки», но мы со Степаном приносили туда умерших и выдавали их итээловцам для захоронения...

Истощенный человек, если не болен тяжело, при обильном питании поправляется очень быстро. Бывали случаи, когда люди за один месяц поправлялись на 30 кг. Трудно этому поверить, но это факт, который мне приходилось видеть собственными глазами.

Несколько месяцев мы со Степаном жили — «как сыр в масле катались». Бывало, посмотрит на меня Федор Михайлович и молвит: «Ой, Юрка, выйдет тебе твоя поправка боком... и загремишь ты снова на прииск, при первой же комиссовке».

Так оно и вышло...

Мы прибыли на 1-й лагпункт прииска «Нижний Урях» или, как он теперь назывался, — прииск им. М. Горького.

Это был большой лагерь: 12 жилых барачных корпусов, столовая, больница, бур (барак усиленного режима — тюрьма в тюрьме), изолятор, сушилка и перед воротами — морг. На воротах были вывешены красные плакаты, а на плакатах на первом месте цитата из Советской Конституции: «Труд в СССР — дело чести, доблести и геройства»...

Нас ввели в зону. По ней прохаживались такие же, как и мы, зеки в телогрейках с номерами на спинах, как и у нас. Лица их были худыми, обветренными, глаза грустными и покорными. Каторжане всегда каторжане...

Мы начали знакомиться, искать земляков... Говорили о том, что здесь было много киевлян. Встречу ли я кого-нибудь? Было интересно встретить новых людей. Начались расспросы о работе, пайках, режиме и т. д. Мы рассказали об Ольчанской трагедии, но местных каторжан это не удивило, у них было не лучше...

— Теперь легче стало, жить можно... Многие здесь уже с 45-го года, обжились, попривыкли. Сроки у всех большие, по 15—20 лет, только номера другие: у нас «И» и «К» а тут «В», «Б», «Г» и «Д».

Прибытие новичков — это самое большое событие в лагерях. Урки боятся друг друга, а мы — политические, чего нам бояться? Все мы — фашисты, контрики, бендеровцы, литовцы, эстонцы, латыши, ленинградцы, все были объединены в одну большую группу — врагов советской власти, и потому между нами была удивительная солидарность.

Мои надежды на то, что встречу знакомых, к сожалению, не оправдались. Правда, с этого момента условия жизни зеков начали улучшаться, и постепенно мы начали привыкать к работе, а наши организмы к минимальному количеству калорий...

На прииске имени М. Горького я прожил до 1952 года. Жизнь в этом лагере была до того однообразной, что и рассказать нечего. Настоящие перемены начались в 1953 году, после смерти Сталина. Об этом я расскажу в другой главе.

С 1952 года до 1953 я был в лагере «Озерка», после этого в лагере «Туманный» (1953—1954), потом во втором ЛП (1954—1955). Освобожден я был 1 сентября 1955 года.

Свобода! Это чудо произошло благодаря единственной в истории советской власти амнистии политическим заключенным, которую провел в жизнь Никита Сергеевич Хрущев. Царствие ему Небесное! Ни один из советских руководителей не сделал так много для советских людей, как покойный Никита Сергеевич. И, как всегда бывает, люди забыли о его добрых делах... а многие даже о Сталине вспоминают с большей теплотой...

Какое это Великое Слово — «Свобода»!.. Господи, как я могу рассказать о тех чувствах, которые овладели мною в те дни? Свобода была всепоглощающей — я был один в мире, мне некуда было ехать... Где были мои мама, папа и Аллочка с Адочкой? Где они? Что с ними произошло? Как их искать? Ведь свобода-то свобода, но это свобода за «железным занавесом».

Прошло еще долгих 4 года, прежде чем я получил первое известие от тех, к кому стремился всей душой.... Но и об этом в следующей главе.

Сейчас я хочу только прибавить, что все мои переживания еще больше убедили меня в том, что «пути Господни неисповедимы» и что только моя вера в Бога помогла мне выкарабкаться на поверхность... из полной безнадежности. Мой Ангел вынес меня...

5. НИЖНИЙ УРЯХ

Нас привезли на прииск «Нижний Урях*», переименованный в прииск им. М. Горького. Сгрузили, пересчитали по пятеркам, сделали переключку по номерам, передали лагерному начальству. Все честь честью, точно по уставу.

Работая санитаром в больнице на Хете, я поправился, окреп, приоделся... На лагерном фоне я выглядел вполне прилично. «Хочешь жить — умей вертеться!» — говорит лагерная пословица. Каждый лагерник — и зек, и администратор — понимал, что если кто-то в лагерных условиях сумел выглядеть лучше, чем все остальные, то, значит, этот «кто-то» является человеком ловким, смелым, решительным. Иными словами — этот человек умеет «вертеться» и хочет выжить. Такие люди пользовались авторитетом.

Шепин, начальник лагпункта, вызвал меня в свой кабинет, осмотрел меня своими пронизательными глазами и начал задавать вопросы. Он расспросил, кто я и откуда, за что отбывал наказание и кем работал последнее время в лагере. Затем он минуту подумал и предложил мне занять должность дневального 1-го барака.

В одной секции этого барака жила бригада дровосеков под руководством некоего Виктора Петренко, бывшего капитана войск МВД. Петренко за что-то попал в немилость, потом под суд и получил 15 лет КТР. Возможно, что он «перегнул палку» в борьбе с бендеровцами. Ходили разговоры, что во время службы на Западной Украине он свирепствовал, за что и попал на каторгу вместе с недобитыми бендеровцами, которыми здесь ему пришлось командовать.

В другой половине барака находилась штрафная бригада, куда попадали за какую-нибудь провинность — это могла быть драка и кража, отказ от работы, попытка побега и т. п. Бригадиром штрафной бригады был Мишка Пархоменко, который был моим земляком. О его жестокости и неуловимости во времена немецкой оккупации складывались целые легенды. А «родная милиция» справилась с ним быстро, и срок ему вкатили «на всю катушку» — 20 лет КТР и 5 лет поселения.

* В разных местах воспоминаний назван прииском «Нижний Ам-Урях» и «Нижний Ют-Урях». — *Прим. ред.*

Эта бригада работала под усиленным конвоем, и в столовую их водили конвоиры, и в зоне их барак был всегда под замком, и в камерах у них стояли параша... Другим заключенным разрешено было перемещаться по зоне, их закрывали на замок только на ночь.

Самым строгим наказанием являлся карцер или на лагерном жаргоне «кандей», куда помещали на небольшие сроки — до 10 суток. Еще это помещение называли «шизо» или штрафной изолятор. Режим в карцере был такой, что больше 10 суток выдержать было трудно. Главным и самым примитивным методом наказания был голод: зек получал в изоляторе 300 г хлеба и стакан воды в сутки. За трое суток человек слабел, худел и бледнел до неузнаваемости. После 10 суток часто попадал в больницу, а то и прямо в морг. Ведь все были истощены до предела, никаких запасов в организме наказуемых не было. Если кто-либо из зеков возмущался несправедливостью или жестокостью этого наказания, ему надевали наручники.

В лагере существовал еще более жестокий метод наказания, который назывался «рубашка». От этой «рубашки» наказуемый терял сознание, но мне лично не пришлось испытать на себе это «удовольствие», поэтому не буду рассказывать о том, что знаю только понаслышке.

Режим в лагере был основан на общепринятом принципе «демократического централизма». В самом лучшем положении находились «придурки». Так называли тех, кто работал в зоне, а не на основном производстве. К этой категории относились и дневальные, т. е. старшие в бараках. Они отвечали за уборку, отопление, ремонт и сушку обмундирования, вынос «параш» и за общий порядок в бараке.

Бригадиры руководили работой на производстве, распределяли по рабочим объектам, следили за качеством работы и выполнением нормы. От них зависело многое, даже размер получаемой пайки хлеба.

На каждом лагпункте был еще нарядчик из зеков, руководящий кадрами, назначающий, где и когда зек должен работать. Были еще, конечно, и повара, и сапожники, и портные, и доктора, и санитары. В больничных бригадах были и звеньевые.

В штрафной бригаде, как я уже сказал, бригадиром был легендарный Пархоменко.

Начальник режима Щепин предупредил меня о крутости нрава бригадира, высказав надежду, что я найду с ним общий язык. Он сообщил мне, что Пархоменко находится в штрафной бригаде по решению суда за последнее очередное преступление. Этим решением отбытые им годы срока возобновлялись. «На этот раз его судили за убийство дневального», — сказал Щепин и с многозначительной улыбкой посмотрел на меня, пытаясь определить силу впечатления от этого его сообщения.

— «Ну, что? Согласен взять ключ от секции и стать дневальным в 1-м бараке или хочешь с кайлом и лопатой идти в шахту?»

Я ответил, что подумаю до завтра, решив посоветоваться с людьми, лучше меня понимающими и знающими ситуацию.

Когда я пришел в барак, в котором мои товарищи уже улеглись на распределенных для нас нарах, дневальный барака передал мне записку: «Юрка, соглашайся. Я уже слышал о тебе! Мишка».

Деваться было некуда: не подчиниться старшему блатному — это значило нож в бок. «Да и зачем отказываться? — подумал я. — В шахту всегда успею. Кирка, тачка и лопата от меня не убегут, и я от них... Впереди еще 18 лет сроку».

Следующим утром меня вызвали к нарядчику. Им был старший лейтенант сначала советской а потом власовской армии — некто Иван Тонконогий. Это был человек из тех, под взглядом которых чувствуешь себя маленьким и голым... и рад бы прикрыться, но бесполезно, ибо смотрящие на тебя глаза видят тебя насквозь

— Что, интеллигент? Ты откуда? Из Киева? Профессор Константин Феодосьевич Штеппа это твой отец? Знаю. Слышал. Читал. Уважаю. Я до войны в Киевском университете на третьем курсе учился. На геофаке был. Твой отец у нас курс древней истории читал. Справедливый был человек... Где он? Не знаешь... Да и как бы тебе знать-то? Может, еще услышишь когда-нибудь, если не шлепнули его уже... Они таких сразу прибирают, кто о них правду знает. Помню я «Козни Кремля». Попадала мне в руки одна газета... А ты что, дневальным в 1-й барак?.. Ну, смотри, будь осторожен: там народ такой... Начальству не угодишь, в забой пойдешь. Блатным насолишь — «перышко» в бок получишь. Понял? Все! Бери ключ и приступай! Они все

уже на работу ушли. Сейчас староста тебя проведет и все покажет... Со старостой не болтай много. Сам знаешь...

В бараке было несколько заболевших из бригады дрово-секов, освобожденных от работы. Они уже мыли полы. Там же присутствовал бывший дневальный — человек крепкого сложения, с лицом мужественным, красивым и приятным... По-знакомились и долго говорили.

— Строгим быть с ними нельзя, сам понимаешь, что за люди. У них, у некоторых, по 50 лет срока, так что им все равно, если еще 5 или 10 прибавят... Теперь уж им хоть до ста наваливай... Так что — не зарывайся!.. Но если хочешь держаться за этот твой пост — дисциплину нужно держать. А как?.. Словом, я рад что меня снимают. Пойду бригадиром. Я же недавно с производства, три года в шахтах провел. Привык. Теперь не страшно, кормить лучше стали, подохнуть не дают. Не то еще мы пережили»...

Я слушал и думал: «Ладно, побуду дневальным, пока не выгонят. Выслуживаться не буду. И в шахте не пропаду, если Бог поможет»...

Вечером я познакомился с Мишкой. Он знал уже, кто я и что, и что мы с ним земляки. Стали перебирать, нет ли общих знакомых. Находились, это радовало и сближало. Смеялись, вспоминая то или другое...

«Вот он какой Пархоменко», — думал я, глядя на него. Он был совсем не таким, каким я его представлял, зная уже многих людей из преступного мира. Судьбы у всех, конечно, были разные, но почти у всех одна и та же родословная. Почти у всех них были преступные или репрессированные родители, или они не помнили своего родства — семьи им заменял детдом. Все они, и Мишка не был исключением, любили рассказывать о себе и о том, что послужило причиной их перехода в разряд людей, добывающих средства к существованию путем, не признанным обществом.

Многие из них признают свой образ жизни аморальным, но всегда или почти всегда ссылаются и на отсутствие моральных принципов у врагов своих — милиционеров. Жертв ремесла своего они часто презирают, считая, что те не воры только потому, что боятся тюрьмы.

Мишка своих родителей и помнил, и любил. До революции они были хуторянами, но вовремя оценили обстановку при

НЭПе и, бросив все на произвол судьбы, переехали в Киев. Отец Мишки поступил работать дворником, получил квартиру в большом доме и зажили они тихо и мирно до 32-го года.

Дворники получали в то время зарплату в 200 рублей, а в 33-м году этого заработка хватало разве на 2 буханки хлеба. У семьи оставалось кое-что от бывшего достатка. Время от времени мать Мишки посещала Торгсин, носила туда то колечко, то сережки и получала сертификаты, на которые можно было купить продукты...

Но черт не дремал, а людей, его слушающих, бывает много. Черт, в конце концов, использует людскую зависть для того, чтобы толкнуть их на совершение зла. Так и тут вышло. У Мишкиного отца был друг, такой же дворник, как и он, в одном из соседних домов. Вместе и дрова жильцам попиливали, и в гости друг к другу ходили, и угощал его отец Мишки частенько. А иногда и с собой что-то давал — когда у того есть было нечего. Друг благодарил за помощь, а в душе его кипела зависть, зависть кипела, бурлила, и дошло до того, что пошел он в ГПУ и донес на друга. Есть, мол, у него золотишко, и приврал еще что-то.

Пришли за Мишкиным отцом «отважные» чекисты, сделали обыск, что нашли, забрали, а на следствии стали требовать указать, где другое запрятано. А запрятанного ничего и не было.

Мишкиному отцу отбили почки, уговаривая признаться. Умер он уже дома — отпустили под подписку о неразглашении государственной тайны.

Отец никому и не рассказал о пережитом «в органах» кроме своего старшего сына — Мишки — и то только перед самой смертью. Не стало кормильца у семьи... Мишка же решил этого дела не оставлять и отомстить. Сгоряча он и «ухлопал» доносчика, за что и получил свой первый срок. В то время он был еще малолетним и угодил в колонию для несовершеннолетних.

Всем известно, что колония есть школа для воспитания преступников. Освободившись, Мишка пришел домой, но мать уже не застал, она умерла в 33-м году во время голода. Это уж такой год был — голод скосил миллионы. На каждом кладбище в селах и городах есть братские могилы, которые напоминают об этой трагедии на Украине и в России. Там нет ни табличек, ни крестов — просто насыпи...

Иногда землекопатели выбрасывают кости на поверхность, потом снова закапывают, иногда с землей уравнивают... А детишки вместо мяча черепом в футбол играют... Всякое бывает у нас на Руси...

Братьев и сестер не нашел Мишка, соседи говорили, что отправили их в детские дома, когда мать умерла...

Что ему оставалось делать? Нашел себе друга, и начали они на Киевском вокзале «промышлять». За чемодан большого срока не полагалось... Научился Мишка убежать, ни одного срока не досиживал до конца. Много имен и фамилий переменял... Как новый срок, так и новая фамилия...

Когда Мишка попал в оккупацию, то захотел было попробовать «завязать», т. е. покончить с воровством, и стать на честный путь... Да только «привычка — вторая натура». И каждый знает, что при немцах ни работы, ни заработков не было. Попробовал Мишка вернуться в родной хутор (там еще кое-какая родня осталась), да не ужился там, вернулся в Киев, встретил дружков-приятелей, и пошла чертопляска... Он переключился на магазины и квартирные кражи. При немцах комиссионные магазины процветали: ведь ни товара, ни фабрик для производства не было. Все было взорвано или сожжено при отступлении Красной Армии.

При немцах Мишка попадал пару раз в полицию, но ему всегда удавалось выкрутиться. Приловчился к побегам и говорил, что просто ему везло.

Вот так рассказал он мне о себе, а я ему свою эпопею выложил.

— Да, — сказали мы друг другу, — плохи наши дела, но ведь жить то надо. С Колымы не уйдешь, а уйдешь — во льдах да болотах конец свой найдешь. До «большой земли» не добраться... А тут — получай свою пайку, и баланду по три раза в день дают — хоть и не сыт, но жить можно.

«Штрафников» после работы в бараке запирали на ключ. Надзиратель часто доверял мне этот ключ, и «штрафники» это знали. Только уйдет, бывало, надзиратель — начинали просить чтобы выпустить то одного, то другого. И как не пустить, ведь я такой же «нумерованный», как и они...

Случалось, что «штрафники» попадались на глаза надзирателю. Тот их ловил и приводил в барак, а мне за это доставалось, бывало что и в наручниках за это стоял. Помню, что мне

бывало даже как-то стыдно перед самим собой за то, что ключ у меня в руках, и я должен людей закрывать.

Однажды не взял я ключ и решил, что брать больше не стану. Меня вызвали к начальнику режима. Шепин пригрозил, что в самую глубокую шахту загонит, если еще раз кого-нибудь выпущу. А я уже сам этого хотел.

Ребята-«штрафники» отговаривали, просили остаться, боялись, что вместо меня назначат другого, которой пускать их не будет. Они обещали не попадаться, лишний раз не ходить.

Помню, что и Мишка на них орал, чтобы дневального не подводили. Но, что касалось меня, то я уже просто мечтал освободиться от должности дневального. Так я и сделал — пошел к Шепину и сказал: «Не буду больше дневальным, посылайте в шахту». Шепин посмотрел на меня скептически, усмехнулся и ответил: «Дурак ты набитый, а я думал — человек... Иди к нарядчику и скажи, что я прислал, пусть и определит тебе путь в шахту».

Так я стал шахтером. Перешел во второй барак, занял указанные нары и на следующее утро — на работу. Я попал в бригаду Макеева.

В нашей шахте механизации не было. Мы грузили грунт лопатами в деревянные короба, на санях возили к бункеру и высыпали в скип. Подъемный лебедчик тянул этот скип. Эта лебедка была единственным механизмом в шахте.

Вот так и начал я свою работу в шахте. Сначала тяжело показалось, но с каждым днем привыкал и втягивался. И совесть оставалась чистой. За 10 часов работы измучивался изрядно, в лагерь еле-еле доплетался, все мускулы болели, спину ломило, ладони до крови натирал... а потом втянулся и пошло дело... Человек ко всему привыкает, если только духом не падает. Много трудностей может выдержать, гораздо больше того, чем ему кажется.

Мишка при встрече ругал меня за то, что я оставил должность дневального, даже побить хотел, но не побил, только дураком назвал. Мне казалось, что в глубине души он оценил мой поступок иначе. «Хоть не блатной ты, Юрка, а человек справедливый. У вора есть своя мораль. «Закрывать людей — это, конечно, не хорошо... Но то, что ты для нас хорошим быть старался, этого я не забуду». И не забыл. Мишка взял меня под свое покровительство. Всем блатным сказал просто: «Юрка —

человек!» Это значило, что я считаюсь признанным за «своего», и что каждый блатной должен мне содействовать, куда бы я не попал. Он и повара предупредил, чтобы в добавке мне не отказывал, и бригадира наставлял, чтобы не принуждал меня тяжело работать.

Макеев перевел меня из забоя на отвал, сказал мне, что Мишка так велел. Всюду я ощущал его покровительство...

Однажды в лагере произошло у нас одно событие, которое и у А. Солженицына упоминается в «Архипелаге», только не совсем точно.

Однажды после побудки мы почувствовали, что что-то не так. Пора уже быть проверке, а барака не открывают. Мы смотрели в окна и не видели конвоиров. Надзиратели ходили по двору, но дверей не открывали. Так нас и держали взаперти 3 или 4 дня, теперь уже не помню.

Когда дневальный пошел за хлебом, то узнал о том, что произошел массовый побег. Ушло 12 человек, в том числе и подрядчик Тонконогов, несколько поваров и даже доктор Солдатов. Побег был тщательно продуман и подготовлен. Руководил побегом Тонконогов. Его не закрывали в бараке, он пользовался доверием. Не закрывали и кухню — ведь завтрак готовить было нужно.

Дежурный надзиратель зашел в кухню, не то ему поесть чего-нибудь хотелось или просто на проверку. Повара и рабочие, работавшие на кухне, связали надзирателя, заткнули тряпку в рот и раздели.

Один из рабочих, бендеровец Иван Гой, одел его форму, и все 12 человек пошли к вахте.

Вахтера тоже связали, обезоружили и раздели, таким образом еще один зек был одет в военную форму. Солдаты на вышках видели, как надзиратель привел к вахте несколько человек, охранник с вышки позвонил на вахту, спросил, что случилось. Беглецы ему ответили, что это аварийную бригаду ведут на производство. Охранники поверили и успокоились. А «бригаду» два солдата провели к казарме, в которой другие вохровцы спали сном праведников.

Беглецы вооружились винтовками и приказали солдатам не двигаться. Они взяли грузовую машину из гаража и поехали в сторону аэродрома в г. Сусуман. Даже пулемет с собой прихватили.

Я не знаю, как долго солдаты лежали без движения, но утром они уже были на своих местах. О побеге моментально было сообщено по всем лагерным пунктам. В поимке беглецов участвовали регулярные части МВД.

Их догнали на «Сильчане» (это около 50 километров от лагеря). Началась перестрелка, в результате которой 10 зеков было убито. Несколько солдат из войск МВД тоже были убиты. Когда их хоронили, окна бараков были завешены одеялами чтобы зеки не смотрели и не злорадствовали.

Убитых беглецов привезли в зону и сгрузили в центре лагеря перед столовой. Всех зеков выстроили в шеренги и, указывая на убитых, начальник конвоя объявил: «Это судьба каждого, кто попытается бежать».

Врач Солдатов и бендеровец Иван Гой остались в живых. Их повезли в поселок Ягодное, судили и прибавили по «десятке» к их сроку. С Иваном Гоем я подружился, когда попал в общую с ним бригаду, это было уже года через три... От него я узнал все эти подробности.

Через год после того побега к нам в лагерь привезли еще одну партию заключенных из Хеты. Среди них были и каторжане, оставшиеся на Ольчане. Они рассказали, что и во вторую зиму на Ольчане был голод, и было много погибших. Из 1200 человек нашего этапа в живых осталось всего человек 300.

Около четырех лет спустя была произведена сортировка — не могу сказать, по каким признакам. Часть зеков перевели на соседний прииск «Верхний Ыт-Урях», на котором был более легкий режим и кормили тоже лучше. Позже я узнал, что и мой друг Сашка тоже попал на «Верхний».

Однажды в зимний период я попал в больницу — у меня было воспаление надкостницы. Мой нарыв нужно было разрезать. Врачом в этой больнице был тогда Тарук — земляк из Винницы. Он предложил мне остаться при больнице в качестве дрововоза. Конечно, я согласился, это было некоторым разнообразием в моей жизни. Так я и возил дрова до весны. Работа была трудной, но мне понравилась. У меня было больше возможности быть ближе к природе и оставалось больше времени для отдыха.

Дрововозы выходили рано, часов в 7 утра. Конечно, в это время было еще совсем темно. Два человека тянули сани. Мы тянули эти сани на сопку и там нагружали их стлаником,

который вырывали из-под снега. Стланик (стланиковый кедр) — это такой кустарник или небольшие деревца. Он интересен тем, что на зиму ложится, прижимается к земле. Его засыпает снегом, под которым он и зимует.

Наступает весна. Снег еще лежит, а вот стланик поднимает навстречу вешнему солнцу свои ветви, разрывая уплотненную ветром корку снега. Древесина у стланика очень твердая, пилить его невозможно. Но человек хитер — люди бьют его или камнем, или какой-нибудь железякой. Сухой стланик на колымском морозе градусов в 40 ломается, как стекло.

Сани нагружали стлаником выше человеческого роста и на уровне груди вставляли шест — правило, и тянули мы сани за это правило. С горы сани скользили вниз, им только это и нужно было. Научиться править санями было не трудно — нужно было руками держаться за правило, а ногой то тормозить, то отгалкиваться — и летели сани, как по колее. Конвой за нами не успевал, и возникала иллюзия свободы. Полюбил я эту работу. Да и кормили дровозов в больнице лучше, чем зеков (за счет больных, конечно). Но дрова — это жизнь. Ведь зима бывала длинной и холодной. Мы были страшно худыми, но силы откуда-то брались. Лица наши были обветренными, обмороженными, все в струпьях. Бывало, когда вниз по сопке на санях несешься, двумя руками держишься за правило, а если щеку или нос мороз прихватит, то отогреть рукой замершее место не было возможности, так как руки были заняты. Отпустить сани было невозможно — все дрова посыпались бы и пришлось бы снова перегружать сани. К тому же и другие дровозы за тобой следовали, и они мерзли и ругались. Помню, был у меня напарник — казак. Мы с ним так приловчились сани увязывать, что аварий почти не бывало.

Казак мой был бендеровцем. Он мне все про свои подвиги партизанские рассказывал. Его родная сестра была сослана в Сибирь за связь с бендеровцами, но жила вольно и иногда ему посылки высылала — сухари и табак. Казак мой меня, как друга, поддерживал — то сухарь даст, то докурить, а иногда и закрутку предлагал. Только вот погиб мой друг трагически — заживо сгорел в бараче во время пожара. Но это случилось уже через год после того, как мы перестали вместе работать...

А тогда дело так обстояло — шли мы как-то на сопку, сани тянули, а у меня вдруг предчувствие появилось, что это

мы последний раз вместе работаем. Я и сам не знал, почему я так чувствовал... а пришли мы в зону, и сразу меня к врачу вызвали, и он предложил мне работу санитаром. Врач этот знал, что я и раньше подобную работу исполнял и что, благодаря Мишке, я в зоне считался «человеком».

Я принял инфекционное отделение. Там лежали, в основном, больные желтухой, но были и сифилитики, и педерасты. Те лежали в отдельной палате. Мы их называли «девками». Это правда, что они чем-то от других мужиков отличались — и внешностью, и привычками, и даже глазки строить научились. Я их жалел и не смеялся над ними, как это другие делали. Они это ценили: один из них мне платочки вышивал, звали его Федька Рыбачук. Как сейчас вижу его перед собой — он на меня такими влюбленными глазами смотрел, что это меня умиляло. И позже я себя ловил на том, что скучаю о нем. Это самому мне казалось смешным, но факт остается фактом.

Бывало, когда я приносил ему миску каши или кусок хлеба, он весь вспыхивал при моем появлении. Он даже в любви объяснялся... Может быть, так оно и было... Чего только в жизни не бывает?..

В больнице я проработал месяцев шесть. Все лето там провел. Жил, что называется, кум королю — и в тепле, и в чистоте, и всегда был сыт. В это время я начал и книги почитать. Те книги иногда вольняшки приносили старику-доктору. Ведь он их лечил и даже операции делал, жизни спасал.

Здесь я снова начал писать стихи. Многое из того, что и сейчас у меня сохранилось, было написано там.

Перед осенью меня отправили на лагпункт, и я попал в передовую бригаду Ефима Дзеня. Там я научился работать на скреперной лебедке, которые тогда уже появились на производстве. Так это у меня хорошо получилось, что я стал считаться лучшим скреперистом прииска и так уж и работал по этой специальности до конца срока. Менялись лишь бригады, лагпункты, шахты. Менялись и люди, с которыми приходилось жить и работать, и отдыхать, и беседовать. Менялся и я сам, менялось и мое отношение к жизни и морали. Буду вспоминать отдельные факты, которые остались в памяти наиболее ярко.

Однажды бригадир оставил меня отдыхать в зоне (выходные дни появились у нас лет через 5 после начала срока). Мой

подменный или заболел, или случилось что-либо другое, но за мной прислали конвой с участка. Меня вызвали на вахту, и солдат повел меня одного на работу. Дело было зимой, началась пурга, на дороге была гололедица, идти было трудно. Солдат начал меня штыком подталкивать. По-видимому, он разозлился на меня за то, что его вызвали и вместо заслуженного отдыха заставили топтать 3 км навстречу обжигающему ветру. И сверкнула в голове солдата злая мысль: «А почему бы мне отпуск и медаль “За отвагу” не заработать?..» Момент казался подходящим. Стал он меня посильнее штыком покалывать, а потом приказал: «Беги!»

Я понял его злой умысел и мелькнула в моей голове мысль: «Конец!» Пять лет каторги отмучился, и все даром. «О, Пресвятая Дева Богородица, спаси и помоги!..» Я повернулся лицом к солдату, открыл грудь свою и закричал:

«Что, крови моей захотел, холуй краснопогонный?! Пей ее! Стреляй, в глаза гляючи, а не в спину, как вся ваша братия позорная!»

С минуту целился он, а я стоял уже молча, выставив свою голую грудь навстречу морозному ветру и дулу со штыком. Не знаю, какая мысль остановила его палец на курке...

Я уже вспоминал мать, отца, сестренку Аллочку... «Прощайте, любимые, любящие!.. Не увижу вас больше! Да и вы не узнаете тайну моей гибели... Прости, Господи, душу мою грешную!..»

Охранник опустил винтовку: «Кругом! Шагом марш!» Больше мы ни слова не сказали друг другу до самой шахты.

Только уже летом попал он как-то на конвой нашей бригады. Подозвал меня к себе, когда никого близко не было, и несколько минут смотрел мне в глаза, в глазах его стояли слезы: «Прости, брат!..» Он отвернулся и пошел с опущенной головой. Я почувствовал ком в горле, а в глаза как будто пыль попала... Махнул рукавицей и пошел работать. «Прости его, Господи! Не знал, что делал»....

Были и еще инциденты, которые могли кончиться для меня плачевно.

Однажды, в ночную смену, мы ужинали в столовой. Я стоял в очереди честнейшим образом, а у «раздатки» кто-то затеял спор. Вошел надзиратель, и ему показалось, что я виноват. Надзиратель повел меня к изолятору. Дело было зимой.

Я шел, сопровождаемый конвоем, и вдруг кровь ударила мне в голову: «За что? Гад ты подлый, за что пристал ко мне? Крови моей хочешь? На, пей!» Я сорвал с себя одежду, встал перед ним по пояс голый, не чувствуя обжигающего ветра, смотрел на него в упор, а он на меня. Минут пять так стояли... «Беги в барак, пока не замерз!» — крикнул он и ушел. Минут через 15 вызвали меня на вахту. Начальник режима наложил мне наручники и надавал тумаков. Я молчал, знал, что был виноват. Но в душе я был доволен собой...

Через некоторое время произошел рецидив: я стоял в строю на разводе и не заметил, как надзиратель подошел и грубо толкнул меня. Оглянулся и увидел, что это тот самый, от которого я пострадал раньше — и наручники, и побои перенес.

— Ах ты, щенок! — закричал я в запале. — Не тронь меня своими грязными руками!

Надзиратель рассвирепел, надел на меня наручники, а я в глаза ему смеялся: «Давай, садист проклятый, издевайся, наслаждайся... Не стану пощады твоей просить!..» Повел он меня в изолятор, а по дороге другому надзирателю рассказал — не то со злом, не то с восхищением:

— Смотри, какой «доходяга», а кричит, как Артем из фильма «Мы из Кронштадта»: «Не тронь!»

— А ты зажди его, чтоб запищал и проссался... Сбей спесь с дружка, ему же на пользу пойдет!

И тот прямо коленкой уперся, зажал наручники до отказа. А мне уж больно стало, руки занемели. «Сволочи!» — одно слово только и сказал и простоял до утра в наручниках.

На следующее утро меня выпустили, и стал надзиратель относиться ко мне с уважением. Мой друг Иван Гой сидел в изоляторе, и я ему через этого надзирателя хлеб и сахар передавал, и он никогда не отказывал.

— Вы с ним одного поля ягоды, — говорил он вроде бы со злом, но в его глазах чувствовалось уважение.

Как-то привезли к нам пополнение. Это огромное событие для лагерников: появление новых людей из других лагерей. Прибывшие были с материка, где они содержались в Иркутском центре. Рассказывали, что и там многие умерли от голода. В 45-м, 46-м и 47-м годах была такая «установка» — каторжан морить голодом, так «батька усатый» приказал. А потом «пожалели», не нас, конечно, а руки наши рабочие.

Нас начали подкармливать, лечить и даже одевать лучше. Ввели дополнительные пайки за перевыполнение норм. Выполнишь декадные нормы на 110 % — получишь дополнительно 100 г хлеба и 2 раза в день по 200 г каши-размазни. Если выполнил норму на 120 % — получишь добавку в 2 раза больше. А уж если норму выполнил на 130 %, то получай дополнительно 300 г хлеба и 600 г каши в день. «3 пайка» называлась эта система.

В это время были введены и «зачеты», т. е. за перевыполнение месячных норм засчитывали один день за 2, а иногда, в зависимости от степени перевыполнения, и за 3 дня отсидки. Люди стали постепенно оживать, выглядеть лучше, и сил прибавилось.

Прибывали оставшиеся в живых каторжане из Воркуты и из Казахстана. Их расформировали после прошедших там бунтов. Мы слушали их рассказы — кто со смехом, кто с воодушевлением, но все с надеждой. Оказывалось, что можно не только выжить, но и бороться за жизнь. «Жизнь — борьба» — я снова начал ощущать значение этих слов. Спина начала выпрямляться, сердце начинало учащенно биться не только от тяжелой работы, но и от мыслей, чувств, желаний.

В 1953-м году от нас забрали всех бендеровцев и отправили их на урановый рудник. Оставшихся зеков тоже рассортировали — не знаю, по какому признаку это делалось. Факт был тот, что и меня перевели на соседний прииск «Озерку». Там я снова начал работать скреперным лебедчиком и сделался виртуозом в этой профессии. Выполнение плана, быстрота выдачи грунта «на гора» — все зависело от моего умения. Поэтому я попадал в лучшие бригады.

Система поощрения за перевыполнение норм была у нас такая же, как в других лагерях усиленного режима: выдавались дополнительные пайки и шли «зачеты». В последние 2 года (1954-й и 1955-й) выдавали и деньги с лицевого счета.

Передовые бригады, как и на воле — в колхозах или на предприятиях, — обеспечивались всегда лучшей техникой и получали лучшие объекты, удобные для работы. И планы для передовых были ниже и более выполнимые. Эта система «сынков» и «пасынков» была принята по всей стране. До сих пор, несмотря на гласность, не признается, что все эти стахановы,

кривоносы, демченки — все они были искусственно созданные «герои труда». Я сам не раз был свидетелем и даже невольным участником таких инсценировок.

Помню, как-то раз перед началом смены пришел к нам начальник участка и торжественно объявил, что наша бригада даст сегодня рекордную цифру выдачи грунта. Наша шахта и так была «передовой», т. е. была оборудована лучшей техникой, и в бригаду были подобраны лучшие работники. В этот день к нам направили лучших слесарей, крепильщиков и путейцев со всего участка.

Задача была решена, и цель достигнута. К концу дня мы выдали «на гора» задуманное начальством количество грунта. Когда мы пришли в зону и проходили «по пять» через проходную с заложенными назад руками, изнеможенные, голодные, мокрые и грязные, нас встречал духовой оркестр, и при этом присутствовал начальник лагеря.

Он торжественно объявил построившимся бригадам зек о нашей «трудовой победе» и в заключение речи пообещал накормить нас сегодня «от пуза»...

Мы стояли гордые и улыбающиеся. Наши голодные глаза радостно сверкали, предвкушая насыщение. Мне было только немножко стыдно, я понимал, что это была инсценировка, т. е. обман для поднятия трудового энтузиазма и увеличения норм в следующем месяце. Это знали и смотревшие на нас работники, но в их глазах не было ни зависти, ни упрека. Они понимали, что вины нашей во всем этом не было, что нам просто повезло, и что на нашем месте они поступили бы точно так же. Завидовали они только одному — факту, что сегодня мы будем сыты. Такое редко случалось с нами за долгие годы недоедания.

Наши организмы были истощены до предела. У нас не было ни грамма жировой ткани, поддерживающей запасы энергии. Норма нашего питания была высчитана мудрыми учеными — это был необходимый минимум, чтобы человек мог жить и работать, и выполнять норму труда.

Правда, и этот минимум разбавлялся пожиже поварями и хозяевами лагеря. Ведь им было необходимо удерживать «излишек» для того, чтобы давать добавки привилегированным: блатным, бригадирам, звеньевым, дневальным, нарядчикам, бухгалтерам, врачам, санитарам, сапожникам и портным,

и даже доносчикам по приказу «кума»*. А у этих привилегированных часто бывали педерасты, просто друзья, «шестерки» и приятели, а тут еще и «рекордисты» прибавились... И что же доставалось честному простому работяге? Вот и попробуй тут работать по способности, а получать по потребности.

В 1955-м году произошло единственное во всей истории лагерей действительное чудо — хрущевская АМНИСТИЯ, которая потрясла и всех зеков, и лагерное начальство до самых основ. Теперь никто этого не вспоминает, как и не вспоминают всех погибших в этих лагерях. Но необходимо поблагодарить Никиту Сергеевича и спеть ему «Вечную память». Ведь сколько жизней затронул и спас тот закон. Слава Тебе, Господи!.. И потянулись эшелоны с освобожденными до срока зеками во все концы страны. Да, бывают чудеса в нашей жизни. Смерть Сталина, хрущевская амнистия и разоблачение сталинских преступлений положили начало тому, что произошло в 1991-м году и... Кто знает, что еще произойдет в будущем? Первый шаг был сделан Хрущевым... Может быть, к этому вела историческая необходимость, может быть, и Божья воля: «Пройдет и это!»

Дай Бог, чтобы это никогда не повторилось!..

6. ФРИДА

Это было еще там, на Колыме... Там впервые я встретил взгляд этих светлых, удивительно открытых, ясных глаз. В тот момент не только у меня на душе, но и в бараке как будто стало светлее...

Вскоре после смерти Сталина в лагерях, жизнь в которых десятилетиями не менялась, произошло событие почти невероятное, событие, о котором давно уже перестали мечтать, событие, от которого не на одних давно уже высохших глазах появились слезы радости, — пришло разрешение лагерникам писать домой к матерям, женам, детям...

Волнение в этот день было необычайное. Некоторые, получив бумагу и перо, тут же начинали что-то писать, другие глубокомысленно обдумывали, третьи не могли решить, к кому

* «Кум» на лагерном жаргоне — оперуполномоченный. — *Прим. ред.*

писать в первую очередь... Были и такие, которые в отчаянии хватались за голову: «Адрес забыл! Хоть убей, не помню!..»

Мне некому было писать... Все родные и близкие — все ушли из этой жизни... Когда-то я жил в Киеве... Когда это было? Может быть, сто лет тому назад... Тогда я был мальчиком, а теперь уже совсем старик... Это не важно, что в метрике значится, что мне 30 лет... Душа моя уже пережила и юность, и молодость, и пожилой возраст, и даже старость...

Я лежал на верхней койке и наслаждался горизонтальным положением. Мне не о чем было думать, и шум в бараке, возбуждение и какая-то «освещенная радость» на меня не действовали.

На нижней койке сидел мой давнишний сосед Фридрих. Сидел сгорбившись, на коленях держал лист бумаги и что-то писал большими корявыми буквами. Руки у него были огромные, сам он когда-то был богатырского сложения, ну а теперь выглядел костлявым стариком. Только в глубине его глазных орбит прятались два клочка голубого неба, которые выдавали его возраст...

Фридрих попал на Колыму позже нас всех, в конце сороковых годов. Он был в «трудовой армии», как и все немцы-колонисты до пятидесятилетнего возраста, даже женщины и девочки с 15 лет. После войны он успел жениться, жил с женой в городе на Волге, но где-то прокололся...

Когда его ввели в наш барак, мы просто не поверили своим глазам: показалось, что к нам ввалилась целая глыба, а не человек... Но у этой «глыбы» были приветливые голубые глаза, русые волнистые волосы и застенчивая, даже как будто виноватая улыбка. Казалось, он стесняется своих размеров.

Первое время он часто шутил и смеялся еще тем смехом, которым смеются на воле. Сил у него было достаточно, и он, шутя, справлялся с нормой выработки. Но это продолжалось не долго. На одном хлебе с селедкой далеко не уедешь... И стал Фридрих таять... уменьшаться в размерах и слабеть. Позже у него открылся туберкулез... Подержали его в больнице недель шесть, а потом выпихнули снова на работу. Теперь Фридрих уже не шутил, он с трудом выполнял свою норму. После работы он укладывался на свою койку и ни с кем не разговаривал...

Взглянув вниз, я был удивлен, увидав его в сидячем положении.

— Кому пишешь?

— Жене. У меня ведь жена осталась дома и... не знаю... беременная она была... должно быть, сын есть...

— Сколько же ему теперь?

— Годков шесть уже набралось... А может быть, и девочка родилась, — прибавил он с улыбкой. — Тогда, значит, Фридка...

Прошло несколько недель. Прихожу я в барак после работы, вижу — сидит мой Фридрих на койке и на что-то белое в упор глядит, словно колдует...

— Ты что, черной магией занимаешься? — я посмотрел внимательнее и обомлел: письмо! Самое настоящее письмо — с марками и штемпелями, каких я уже давно не видел... Фридрих не раскрывал его... Он положил письмо на койку и любовался... Слезы катились по его щекам и падали на письмо. Чернила расплылись, и уже нельзя было прочесть ни имени, ни адреса.

— От жены, — наконец, проговорил он хриплым голосом...

— Чего ж ты не вскрываешь конверт?

Он посмотрел на меня удивленно, как будто хотел сказать: «Что ты, не понимаешь? Дай человеку к мысли привыкнуть, что кто-то в том, другом мире вспомнил о нем»...

У меня тоже ком подступил к горлу.

— Эх, счастливый же ты, Фридрих! — вздохнул я и полез на верхнюю койку, там повернулся к стене, чтобы кто-нибудь случайно не заметил слез и на моих глазах.

Долго я не мог заснуть в эту ночь... Фридрих тоже не спал. Он все переворачивался с боку на бок, пока не последовал окрик конвоира.

На рассвете, еще до подъема, он разбудил меня.

— Карточку прислала! — с этими словами он протянул мне маленькое фото, на котором была изображена молодая женщина с гладко причесанными волосами, а рядом с ней была девочка лет шести с белокурыми косичками, завитушками вокруг высокого лба, круглым личиком и глазами, от которых я не мог оторваться. Они привлекли мое внимание своим внутренним светом... Они смотрели только на меня, я видел их голубизну, хотя фото и не было цветным. Я прочел грусть в их глубине...

— Это Фридка, — улыбнулся Фридрих, — дочка, это хорошо. Что ты это так загляделся?

— Славная она у тебя...
— Кто, жена?
— И жена, и дочка... Фридка... Такая она — необыкновенная...

Прошло еще несколько месяцев... По всей Колыме, по всем ее лагерям прокатился слух — амнистия!..

Одним из первых из лагеря уехал домой Фридрих. Он молча обошел всех заключенных, с завистью глядевших на него, каждому пожал руку, каждому улыбнулся в ответ на многословные, сбивчивые пожелания...

На прощание мы обнялись, и он сказал коротко:

— Садовая, 28... Не забудь! Тебе ехать некуда, приезжай к нам, на Волгу!

— Обязательно приеду!..

У меня оставалось еще 8 лет до окончания срока... И почти никаких надежд на амнистию... Но Фридриху я был благодарен за его слова...

Выходя из барака, Фридрих оглянулся и еще раз крикнул мне: «Садовая, 28!»

Невероятное свершилось!

Я сидел в кабинете коменданта и подписывал последние бумаги об освобождении.

Прощай, Колымский край! Прощайте, сопки и сосны! Прощайте, снега и бураны! Шахты и бараки! Вагонетки и конвоиры! Новое Советское правительство простило мне мои старые «грехи». Наконец, пришла она — долгожданная свобода... Если вам не пришлось гробиться на Колыме, то вы не поймете тех чувств, которые переполняли мою душу... А если пришлось — то сами знаете...

— Куда билет тебе выписать? Ты украинец?

— Да, из Киева...

— В Киев тебе нельзя!

— В Житомир?

— Не значит... Вот в Бердичев можно.

— Хорошо, пиши — Бердичев. Все равно...

Через два с половиной месяца я подъехал к Волге. Где-то здесь недалеко Фридрих живет, — вспомнил я. — Не заскочить

ли к нему? Почему бы и нет? Ведь спешить-то мне некуда... В дороге я уже десять недель... Устал... Садовая, 28... Фридрих... Жена Гильда, дочка Фрида... Поеду...

В полуподвальном помещении за спущенными занавесками горел свет. Значит, дома кто-то есть...

Я постучал. Некоторое время было тихо. Потом детский голос спросил:

— Кто там?

— Это я...

Что я еще мог сказать? Дверь медленно приоткрылась, и на пороге появилась девочка. Он вопросительно посмотрела на меня широко раскрытыми глазами. Глаза у нее были удивительно голубые, грустные и в то же время полные света и жизни.

— Ты Фрида?

Девочка еще шире раскрыла свои глаза.

— Откуда вы меня знаете?

— Папа дома? — ответил я вопросом на вопрос.

Фрида не ответила, только на бледном ее лице появилось какое-то болезненное выражение.

— А мама дома?

— Мама на работе. Она во вторую смену работает, она телеграфистка, — вдруг быстро проговорила девочка. Она продолжала внимательно рассматривать меня, как будто старалась определить меру опасности разговора с незнакомым человеком. По-видимому, экзамен я выдержал, потому что она вдруг улыбнулась и просто сказала:

— А вы заходите! Вы откуда приехали?

Я промедлил. Не лучше ли вернуться на станцию, там подождать до утра, пока Гильда не придет домой с ночной смены? И где же Фридрих?

— Заходите! — повторила девочка и сделала приглашающий жест.

Комната была маленькая, обставлена очень бедно. За темной занавеской стояла кровать, в углу Фридина койка... В другом углу была печь, посередине комнаты стоял круглый стол, покрытый чем-то вроде байкового одеяла. На столе лежали тетрадь и несколько книг.

Девочка молчала, рассматривая меня теперь уже при свете электрической лампочки. Я не знал, о чем мне с ней говорить.

— Ты, Фрида, не боишься одна оставаться по ночам?

— Нет, не боюсь... Я привыкла...

— А чем же ты занимаешься здесь одна по вечерам?

— Я читаю... Или заберусь под одеяло с головой и мечтаю...

— О чем же ты мечтаешь?

Фрида застенчиво улыбнулась:

— А вы не будете смеяться, если я вам скажу правду?

— Конечно, нет.

— Иногда я мечтаю о том, чтобы мама мне дала целую булочку с кремом, и я ее съела бы в один раз.

Ее слова прозвучали так искренне, что у меня защемило в глазах.

— О чем же ты еще мечтаешь?

— О разном... О том, как мы с мамой пойдем на Волгу, и я буду плавать и в воду с моста прыгать. Мама меня одну не пускает. Она работает по ночам, а днем спит. А я все жду... жду...

— А ты хорошо плаваешь? И в воду прыгать не боишься? Головой вниз?

— Головой вниз! — с задорной улыбкой ответила девочка, но улыбка тут же погасла...

Я подошел к столу.

— Что это ты читаешь? Ах, это Некрасов!

Я прочел несколько строк в раскрытой книге и сразу узнал «Арину, мать солдатскую».

— Значит, ты стихи любишь?

— Нет, — ответила девочка. — Я просто эту поэму переписываю.

— Переписываешь?! Зачем?

— А это вроде про моего папу написано... Только имена другие...

— Можно посмотреть?

Фрида кивнула головой. Я взял ее тетрадь.

Да не долги были радости...

Возвратился он больнехонек...

Ночью кашель бьет солдатика...

Белый плат в крови мокрехонек...

Десять дней хворал Иванушка...

На десятый день преставился...

Я поднял глаза на Фриду. На мой молчаливый вопрос она опустила голову... Я все понял... Вот почему не было Фридриха дома... Вот почему девочка не ответила на мой вопрос о папе... Вот почему в ее глазах была такая грусть...

Мне стало не по себе. Я решил, не медля, отправиться на станцию и завтра же уехать дальше...

— Прошу вас, не уходите! — взмолилась Фрида, разгадав мои мысли. — Я все наврала, что не боюсь... Раньше я не боялась, а теперь еще как боюсь!.. Пожалуйста, ложитесь на мамину кровать, она все равно до утра не придет домой... А я вам чай сварю...

С этими словами Фрида ухватила меня за рукав и потянула к себе.

— Ну, пожалуйста!..

Я опустил на пол свой чемодан и сел на единственный стул. Фрида стала разжигать огонь в печке, чтобы согреть чай...

— Фрида! Мы с твоим отцом были друзьями...

Фрида повернула голову в мою сторону, вздохнула, но ничего не сказала. Потом она снова занялась печкой. Чай мы пили молча... Только под конец она вдруг спросила:

— Вы пойдете завтра со мной на Волгу? Мама будет спать, а мы с вами пойдем купаться...

Я подумал, что поездка завтра все равно до вечера не будет. Эх, была не была!

— Мы прежде всего должны получить разрешение у твоей мамы.

— О, вы не беспокойтесь! Я маму уговорю!

После этого мы улеглись спать. Фрида сразу заснула, а я никак не мог заснуть, несмотря на усталость, несмотря на то, что подо мною впервые за много лет была настоящая кровать.

Я проснулся от звука хлопнувшей двери. Фрида уже была на ногах, я видел, как она метнулась к матери, желая ее обнять...

— Мамка, мамочка, ты не сердись! Там спит папин друг... Он вчера ночью приехал...

На усталом лице женщины появилось удивленно-раздраженное выражение:

— Фрида! Я ведь велела тебе — никому дверь не открывать!

— Да, но когда папка пришел... ты помнишь... он ночевал на лестнице...

Я встал и вышел из-за занавески. Гильда посмотрела на меня с тоской и отчуждением. По-видимому, она так устала, что в этот момент ей хотелось одного — повалиться в постель и заснуть. Никакие объяснения ни со мной, ни с дочерью в ее планы не входили.

— Здравствуйте, — сказала она сухо и протянула мне крепкую руку. Была она невысокого роста, еще не старая, но уже и не молодая. Лицо ее выглядело очень усталым.

— Вы Юра? — вдруг спросила она чуть более приветливым тоном. — Фридрих мне о вас рассказывал... Я так и думала, что вы приедете... Знаете, не надо сейчас разговаривать... Я устала, хочу спать... Идите с Фридкой на Волгу, а вечером приходите обедать, тогда и поговорим...

При этих ее словах Фрида вдруг взвизгнула от восторга, а мы с Гильдой в ответ дружно рассмеялись. После этого натянутость сразу исчезла.

— Отдыхайте, — сказал я Гильде, как старой знакомой. — Вечером увидимся...

И я подмигнул Фриде, чтобы она поторопилась...

Я никогда не мог бы предположить такой неистовой прыти в этой девочке, грустной и серьезной вчера. Всю дорогу к пляжу она пела, бегала взад и вперед, как вырвавшаяся на волю охотничья собака, хохотала и тараторила без умолку.

Мы плавали вместе. Она влезала мне на плечи и оттуда бросалась головой вниз в воду... Я подхватывал ее на лету, а она заливалась смехом и снова, и снова повторяла тот же трюк. Фрида действительно хорошо плавала, в воде она чувствовала себя уверенно и ловко.

Гильда встретила нас приветливой улыбкой. Она выспалась, помылась, приделась и даже как будто помолодела и похорошела. Обед был уже готов. Мы с Фридой ели с большим аппетитом. Фрида за столом с воодушевлением и смехом рассказывала маме о наших дневных похождениях. А после обеда она ушла к подруге, и мы с Гильдой остались одни. Мне очень хотелось расспросить ее о Фридрихе, о его болезни и кончине, но я никак не решался заговорить об этом. Гильда, по-видимому, не хотела об этом вспоминать. Каждый раз, когда я называл имя Фридриха, она вздрагивала, глаза ее темнели и опускались вниз... Рана была еще слишком свежей...

«После...» — говорила она тихо и переводила разговор на другие темы...

— Куда вы едете? — спросила она.

— В Бердичев.

— У вас там что, есть родственники?

— Нет! Близких родных у меня нет... В Киеве есть двоюродный дядя... его я думаю отыскать... Еще одна тетка живет в Киеве... Может быть, она хоть что-то знает о маме... Может быть, моей маме удалось уцелеть, может быть, она еще жива...

— А почему бы вам не остаться здесь? Ведь разыскивать ваших родных вы и отсюда можете... Вы уверены, что ваш дядя вам поможет? Война все в людях изменила... У нас здесь даже многие жены, пока их мужья воевали, по новой замуж повыходили... Всякое бывало... А то поступили бы здесь в печники. Я сегодня объявление прочла: требуются печники... И комнату дадут в новом доме с видом на Волгу... Вы печи класть умеете?

— Нет, я не печник... Вообще, нет у меня профессии... Я ведь после девятого класса в армию попал... потом на Колыму... а теперь вот на свободе... Нужно как-то жизнь начинать... Разущу дядю — авось, поможет.

— Не ждите, — проговорила Гильда уверенно. — А то... попробуйте... Не выйдет, так приезжайте к нам, милости просим. Мы люди простые, бедные, но своему человеку всегда помочь рады...

Фрида стояла в дверях. Она слышала окончание нашего разговора. Она подбежала ко мне, взяла меня за руки и защептала:

— Дядя Юра, оставайтесь!.. Я вам помогу... Я видела, как печники печку складывали... Это совсем не трудно...

Фрида смотрела мне в глаза, и в ее взгляде было столько теплоты, столько ожидания!.. Я погладил ее по голове, она улыбнулась в ответ и прижалась ко мне с доверием и нежностью, какие только и могут быть у маленьких девочек с голубыми глазами, растрепанными косичками и веснушками, рассеянными по маленькому носику...

— Какие чудеса бывают на Земле! — думал я, обнимая Фриду за щуплые плечики. — Как это могло случиться, что у такого верзилы, каким был Фридрих, и у вот у этой совсем простой женщины могло родиться такое совершенное человеческое существо?..

Вдвоем с Фридой мы проводили Гильду до места ее работы, а потом весело возвращались домой. Всю дорогу Фрида читала вслух стихи Пушкина, Майкова, Лермонтова. Особенно хорошо у нее получались стихи Некрасова... Она знала наизусть целые поэмы. Особенно мне запомнилось, как она читала стихотворение «Поздняя осень, грачи улетели...». Я часто почему-то вспоминал это стихотворение в лагере, но не помнил всех слов...

Я провел с Фридой еще несколько дней. В конце недели Гильда с Фридой посадили меня на поезд, идущий в западном направлении... туда, в родной Киев... Фрида плакала при расставании и успокоилась только после того, как я пообещал приехать к ней в гости в первый свой отпуск.

В дороге на меня нахлынули воспоминания, и я весь погрузился в них... Киев... Киев... Какую встречу ты мне готовишь, родной город, в котором каждый камень знаком и любим?

Я приехал в Киев, как и в 43-м году, в шесть часов утра... и также пошел пешком, по той же дороге. Шел и не верил, что это происходит со мной наяву...

Вот я прошел мимо нашей школы, заглянул через стеклянную дверь в вестибюль... Сердце вдруг забилося с невероятной быстротой, а потом сжалось в комок... Я пошел дальше, остановился перед нашим домом... Его как раз красили в розовато-белый цвет, словно он прихорашивался специально для нашей встречи... Я видел, как в подъезд входят и выходят оттуда чужие люди... Мне хотелось подняться на третий этаж и позвонить, чтобы услышать незабываемое никогда: «Мамка, папка, это ведь Юрка домой приехал!» Сестра в тот раз так была взволнована, что не сообразила открыть мне дверь, а побежала звать маму и папу... А потом мы долго смеялись и вытирали слезы...

Киев стал намного красивее, чем был раньше. Особенно красив был Днепр, набережная — вся в зелени, крутые спуски... Крещатик отстроен заново... Труханов остров стал прекрасным парком...

Вот Владимирская улица... Николаевский сад тоже изменился, украсился клумбами с прекрасными цветами, асфальтовыми дорожками, беседками. Я шел по дорожкам сада, а надоевшей шумели своей листвой каштаны... Каштаны, как они дороги каждому киевлянину!

А вот старый знакомый Тарас... Он все такой же, не стареет и не молодеет, как и стихи его: «Нэмае там власти, нэмае там кари, там смиху людського и плачу не чуть...». Эх, Тарас, друг ты родной, здорово! Молчит Тарас, в землю смотрит... видно, есть ему о чем задуматься...

А вот университет... Опять старый знакомый... Кланяюсь ему, вздыхаю глубоко и иду дальше...

В Киеве я остановился у своего двоюродного дяди. Он был больным человеком, ветераном и инвалидом войны. Он встретил меня доброжелательно, хотя и отнесся очень скептически к моему намерению отыскать старых друзей, наладить с ними отношения...

— Даже не думай об этом! Их нет, твоих друзей! — сказал дядя мне с усмешкой. — Оставь их в покое. Забудь о прошлом, оно умерло...

Жизнь показала, что он был прав. В Киеве мне довелось увидеть кое-кого из друзей моей довоенной юности. Горькими оказались эти встречи! Целая пропасть легла между нами!

Однажды вечером мы с дядей пили чай. Лысина дяди Вани поблескивала при тусклом свете... Дядя пыхтел, и я видел, что он никак не решается спросить меня, когда же я уеду в свой Бердичев? Но сама мысль о Бердичеве была мне отвратительна. Зачем мне туда ехать? Что я там буду делать? Я никогда там не был, даже проездом...

— Да, чуть не забыл — тебе письмо пришло сегодня, — извиняющимся тоном произнес дядя Ваня.

Я взял конверт в руки, сразу догадавшись, от кого это письмо. В конверт был вложен листок бумаги, исписанный женским почерком и фотография — та самая, которую я увидел впервые еще там, на Колыме. Фрида смотрела на меня своими доверчивыми глазами. Теперь я понял выражение этих глаз... Это была мольба... Мольба чистой детской души... Мольба о любви... об отцовской ласке... Ей так ее не хватало и не хватает...

Фрида, Фридошка... Я дам тебе то, о чем ты мечтаешь... Я отдам тебе всю мою неизрасходованную ласку... Тебе... потому что ты ждешь ее... поймешь... примешь... оценишь...

— Дядя Ваня! Я завтра уезжаю.

Дядя облегченно вздохнул.

— Куда? В Бердичев?

— Нет, на Волгу, в Саратовскую область... Пора начинать новую жизнь...

В эту ночь я спал крепким сном без сновидений и без пробуждений... Впервые за долгие годы у меня на душе было легко и хорошо... Я понял, что я кому-то нужен. Мой сон охраняли голубые глаза Фриды.

А. К. Горман

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ



А. К. Горман (Штеппа). Фото 1941 г.

ОТЕЦ

Мне было тринадцать лет, а моему брату Эрику — двенадцать, когда мой отец был арестован НКВД. В это время у меня было уже не меньше дюжины друзей, чьи родители перенесли ту же судьбу. Это не было чем-то исключительным. Каждый знал, что любой, чье социальное положение было выше, имел больше шансов быть арестованным.

Однако арест отца поразил меня, как удар грома. Казалось, что это может случиться с кем-то, но не с нами. Отношение к арестам было, как к эпидемии. Казалось, что невидимая рука судьбы выбирает жертвы.

Я помню, когда забрали хорошего друга моих родителей, кто-то сказал: «Я абсолютно уверен, что он невиновен». Моя мать ответила: «Как вы можете быть уверены в этом? Нет дыма без огня. Здесь что-то не так». Это случилось в начале «ежовщины», когда люди еще не знали, что репрессии примут характер эпидемии.

Я вспомнила этот эпизод, когда раздался стук в нашу дверь. Был ли виновен мой отец?

«Не сотвори себе кумира» — говорит Библия. Но в моем детстве эти слова, видимо, прошли мимо моих ушей. Так как и в моем детстве, и в течении всей жизни отец всегда занимал в моей душе место бога на земле. Я и сейчас вижу его любящее лицо, внимательные глаза, слышу его мягкий голос. Помню его заветы: «Всегда в жизни выбирай прямой путь», «Никогда не иди против совести», «Есть один тиран, которому надо подчиняться — это наша совесть».

Я принимала его слова как аксиомы, пыталась следовать его советам и никогда не могла подумать, что мой отец мог быть в чем-то не прав.

Арест не заставил меня думать о будущем нашего семейства или о собственной судьбе. В течении целой ночи меня терзала одна только мысль: «Неужели я больше не увижу отца?»

Для меня не было тайной, что мой отец и моя мать, как и большинство людей старшего поколения, рассматривали советский режим как что-то чуждое их вере, как что-то временное. Но для меня и моего брата, как и для большинства советской молодежи, Советский Союз был нашей страной. Я была в пионерах, хотела вступить в комсомол. Меня потрясло, когда после ареста отца меня не приняли в комсомол. В то время повсеместной практикой в школах стал чудовищный публичный отказ учеников от арестованных родителей. Это было ужасно и невозможно для нас с Эриком.

В нашей школе был представитель НКВД. Он часто приглашал юношу или девушку в свой кабинет для частного разговора. Предупреждал о сохранении тайны. Он никогда не говорил о себе, но задавал много вопросов о наших интересах, какие книги мы читаем, в какие игры играем, о жизни в семье. Я думаю, что он обладал даже некоторым гипнотическим воздействием. Я его ненавидела, но отвечала на все его вопросы.

Как-то он спросил о моем отце, о наших отношениях. Я ответила, что очень люблю отца, но редко его вижу дома из-за его работы. Тогда он спросил, употребляет ли мой отец алкоголь. Я честно ответила, что он выпивает стакан вина перед обедом. Через несколько дней отец шутливо спросил меня: «Что же ты объявила меня алкоголиком?»

Я была ошеломлена! Я не была способна это понять. Я была в шоке, и отец поведал мне, что один из его преподавателей рассказал ему, что они обсуждали жизнь нашей семьи с нашим школьным представителем НКВД. Это открыло мне глаза. На всю жизнь я вынесла урок: никому не доверяйте тайны своей семьи, семья дороже, чем что-нибудь еще.

Никогда не смогу забыть публичный отказ от родителей нашего соседа, который был на два-три года старше меня. После ареста родителей он под давлением наших комсомольских вожakov публично на собрании отрекся от родителей, заявив, что

они шпионы и враги народа. Он объявил, что не знал этого, что теперь у него нет родителей и т. д.

Для меня это было невозможно. В то время я многое поняла. Я поняла, что *они* хотят войти в глубины моей души, хотят очернить самые священные чувства моего сердца — любовь к отцу. Нет! Даже если он враг народа, я никогда не откажусь от него! Я поклялась в этом себе. Это был большой шаг вперед, это означало, что личное во мне победило общественное. Я должна пояснить, что в то время социальный, общественный элемент играл большую роль в моей философии жизни. Он остался и сейчас, но приобрел другое направление.

Это было только начало. Русская поговорка говорит: «Беда никогда не приходит одна». На следующий день после ареста отца мама родила мою сестру. Отец никогда не увидел её — она умерла в возрасте 13 месяцев.

На следующий день после ареста папы у меня поднялась температура, я заболела пневмонией, которая позже была осложнена плевритом и оставила след на всю мою жизнь.

Я была очень больна. Не было никого, кроме брата, кто мог бы заботиться обо мне. Эпидемия арестов не прекращалась, почти все друзья объявили «карантин» нашей семье. Мы их понимали. Но все же несколько раз раздавался стук в нашу дверь. Я вставала с кровати и, еле стоя на ногах, открывала дверь. Испуганные люди стояли за дверью: «Не может быть, неужели он арестован?» Они не верили этому и, не скрывая слез, уходили в безнадежную ночь. Это были студенты отца, они воспринимали случившееся, как внезапную смерть.

С раннего детства я знала, что студенты любили и уважали отца. В конце каждого семестра в нашу квартиру приносили огромный букет цветов с благодарственными письмами. Студенты часто приходили к нам домой, и отец вел с ними длинные беседы. Не было случая, что он отказал кому-либо в помощи.

Первое мая 1938 года! Я не могу забыть этот день. Раньше это был мой любимый праздник. Я любила демонстрацию, вечер в школе с пением, танцами, гирляндами и плакатами. Я всегда ждала его! Первое мая — праздник весны, цветов, веселых встреч!

А теперь я лежала на полу нашей квартиры, накрытая шерстяным ковром, все вещи были уже собраны. Вся дрожь,

я слушала песни демонстрантов, проходящих по улице. Мама с маленькой сестрой и братом ушли сделать последние приготовления перед нашим отъездом. Ведь было постановление о высылке семей арестованных из Киева.

Стук в дверь. Серое, невыразительное лицо милиционера:

— Я вернусь через час. Если вы не уедете, то Ваша мать будет арестована, а вы отправитесь в приют.

Это был низкий удар. Я дрожала от лихорадки.

— Что с Вами? — спросил милиционер, он потрогал мой лоб. — Вам надо в больницу.

Он взял листок и написал что-то:

— Когда вернется мать, отдайте ей это.

Это было направление в больницу. Так моя болезнь спасла нас от высылки из Киева.

Мама смогла сохранить место учителя русского языка в средней школе, но жизнь для нее превратилась в пытку. Она никогда не была сильным человеком — ни физически, ни духовно. Но она пожертвовала собой для семьи. У нее осталось лишь трое друзей — это мы, ее дети. В школе она была женой «врага народа», не имела сочувствия ни от учителей, ни от школьников.

Каждый месяц я ходила в НКВД, чтобы послать 50 рублей, пособие для отца. После многочасового стояния в очереди я возвращалась домой усталая, но счастливая. Ведь перевод денег был единственной ниточкой, связывающей семью и арестованного. Арестованный знал — если деньги пришли, семья жива. Мы же были счастливы узнать, что папа еще жив. Это давало надежду.

В один из дней деньги не были приняты. Надежда уходила. Как, зачем? На следующий день рано утром я пошла на железнодорожную станцию, откуда отправляли заключенных. Я надеялась увидеть отца, передать ему немного денег и теплой одежды. Там было очень много людей. Все имели ту же цель. Там были люди всех возрастов, наций, социальных групп. Мы стояли, прислонившись к стене, пытаясь защититься от холода. Каждый думал: «Может быть, сегодня?»

До сих пор помню один эпизод. Отец с девочками-близняшками стоял рядом со мной. Он сказал, что мать девушек приговорена к северным лагерям. Он не успел закончить историю, когда показались грузовики с заключенными. Охрана стала

выталкивать заключенных и сажать их в вагоны. Каждый из заключенных смотрел на толпу в надежде увидеть своих.

Внезапно одна женщина закричала: «Мои дети!» Девочки закричали: «Мама!» — и побежали на голос. Она успела обнять их. В этот момент стало тихо, молчала даже охрана. Затем охранник оттолкнул детей. Мать внезапно обмякла, стала как бы меньше и без сопротивления вошла в вагон. Девочки продолжали стоять в тишине с широко открытыми глазами. Подошел отец, обнял их, и они ушли, даже не обернувшись на поезд. Мы все наблюдали эту сцену со слезами в глазах.

Долгое стояние на морозе не прошло для меня даром. Через несколько дней я снова заболела, на этот раз воспалением среднего уха. Болезнь помешала моим дальнейшим походам к станции.

После моего выздоровления я снова пошла в районный отдел НКВД, чтобы узнать о судьбе отца. В очереди я узнала много новостей. Люди говорили, что произошли большие изменения, что НКВД стало информировать людей о судьбе их арестованных родных. Ходили слухи, что некоторых даже освобождали. Это дало мне новую надежду

В то время мне было 14 лет. Я напоминала ребенка — в школьной юбочке, руки мои болтались, как шнурки.

Когда подошла моя очередь, чиновник, который вел прием, был смущен.

— О ком вы спрашиваете? Об отце?

В течении нескольких минут он куда-то звонил. Затем сообщил мне:

— Дело вашего отца находится под «специальным запросом».

Я поблагодарила его и полетела домой, как на крыльях. Специальный запрос! Я кричала эти слова со всей силы. Еще есть надежда! Еще все возможно!

Лето пролетело быстро. В июне умерла моя сестра-младенец. Она была чуткая, нежная, слабая и тихая, подобная цветку. Ее внезапная смерть убила последние остатки надежды.

Приближалось начало нового учебного года. И зачем? Мечта об университете уже оставила меня. Раньше я мечтала учиться в Москве — в Институте философии, литературы и истории. Еще недавно это было так возможно! Папа еще был дома, а теперь осталась только его тень, воспоминания о нем.

В сентябре началась война с Польшей. Это не произвело никого впечатления на меня. Я стала полностью безразличной ко всему. Я снова болела. Осложнения пневмонии не оставляли меня.

В тот день я не пошла в школу и читала книгу в постели. Мама была на работе во вторую смену.

Эрик вернулся из школы и тихо обедал. Внезапно раздался стук в дверь. Четыре удара. Это был стук нашего папы, и никто из чужих не знал его.

Это невозможно! Как такое может быть?!

— Иди, открой дверь, — сказал Эрик.

— Тебе не совестно, что это сделаю я? Ведь ты же знаешь, что я больна.

Стук повторился, но уже тише. Совесть брата пересилила его нежелание, и он пошел открывать дверь.

Я услышала звук открываемой двери и крик: «Папа!»

— Обманщик! — подумала я. — Нельзя шутить такими вещами!

Я вскочила с кровати и решила задать Эрику трепку.

Когда открылась дверь, я замерла с моим оружием — метлой. В дверном проеме стоял папа, выдерживая на своей шее Эрика, безумного от счастья. Это было 27 сентября 1939 года.

В этот день я впервые увидела слезы на глазах отца. Мы долго стояли в дверях, обнявшись втроем, смешивая наши слезы. Отец первым прервал тишину, он спросил тихо:

— Кто это был, мальчик или девочка?

— Девочка, Лена... Она ушла...

Отец пересилил себя:

— А где мама?

— Мама в школе.

Эрик побежал в школу. Он вбежал в класс и закричал:

— Папа вернулся!

Мама побледнела и чуть не потеряла сознание. Кто-то принес стакан воды. Пришел директор школы. Он сказал: «Идите домой, я закончу Ваш урок».

— Поздравляю, это реабилитация, — шепнул он маме на ухо.

Нельзя передать последующие дни. Сколько счастливых слез было пролито... Мы смеялись, улыбались, кричали, просто тихо сидели, глядя друг на друга...

Через несколько дней отец пошел в университет. Ожидая декана, он слышал голоса: «Это он!? Невозможно!..»

Целая группа студентов вошла в кабинет. Они жали отцу руку, поздравляли.

Когда отец вошел аудиторию, то был встречен аплодисментами. В эту ночь несколько наших друзей принесли огромный букет цветов и торт с надписью «Мы разделяем Ваше Счастье».

Жизнь начиналась снова.

Человек принял свою судьбу, его мучили два года. Для чего? Ему дали жить. Мы прощаем Вас! Мы освобождаем Вас! Но могли бы с тем же правом расстрелять. Мы гуманны. Работайте, дайте нам Вашу силу, ум, талант, здоровье — все! Страна нуждается в Вас! Вы нужны советскому обществу. Мы даем Вам возможность жить и существовать. Будьте благодарны!

Но знайте — НКВД помнит о Вас, наблюдает за Вами...

ЭТО БЫЛО В КИЕВЕ*

С тех пор прошло больше 25 лет. Четверть столетия... Но до сегодняшнего дня некоторые события, имевшие место в этот период времени в Киеве, остаются для многих не то загадкой, не то просто темным пятном.

День 19 сентября 1941 года, навсегда остался в памяти киевлян, тех, которые пережили немецкую оккупацию и тех, которые находились в это время или в частях Красной Армии, или в тылу... все равно, где. Киев — это нечто одушевленное, нечто притягивающее к себе. Это не просто название одного из городов. В сердце каждого киевлянина эти четыре буквы занимают очень большое место.

Никто из нас не относился равнодушно к судьбе любимого города. Но каждый принял случившееся по-разному, каждый ожидал для себя чего-то нового. Одно было общим — этот день изменил судьбы многих тысяч людей. Он принес освобождение от советской власти — тысячам, жаждавших его.

В этот день никто и не подозревал, что все мечты и надежды безнадежно рухнут уже через несколько дней, и что для многих тысяч киевлян день этот окажется роковым, днем ужаса, первым звеном в цепи ничем не оправданных нечеловеческих преступлений.

После недель отсиживания в темных комнатах, шкафах и подвалах, скрываясь от мобилизации в Красную Армию,

* Впервые опубликовано в нью-йоркской газете «Новое русское слово» в апреле 1967 г. Печатается с незначительными сокращениями.

насилованного увоза в тыл, зачисления в «ополчение» или просто от принудительной трудовой повинности по рытью окопов, измученные, бледные и полуголодные киевляне толпами вышли на улицы города. Почти у всех на лицах было написано удивление тому, что так много людей осталось. У каждого в душе было ожидание чего-то нового и один вопрос в глазах: «Что будет завтра? Что нас ждет? Оправдаются ли надежды?..»

Тут и там слышались восклицания: «А, и вы здесь!» Знакомые обнимались, пожимали руки, полузастенчиво смотрели друг другу в глаза. Некоторые улыбались, другие вытирали слезы, третьи смотрели кругом со страхом и подозрением.

Все больше народу сходилось на Крещатике. Туда несли свое волнение, ожидание, любопытство, страх, восторг, захлебывающуюся радость. Картина встречи немцев выглядела приблизительно так:

— Эзель (осел)! — кричит совершенно обезумевший от счастья случайно застрявший в Киеве бывший колхозник, по-медвежьи хватая в объятия первого попавшегося немца. Немец «щетинится», но скоро по лицу кричащего догадывается, что какой-то «шутник» нарочно научил его, и, благосклонно улыбаясь, жмет протянутую руку.

За неимением цветов люди осыпают входящих в город немцев игрушками из недавно разграбленных «Универмага» и «Детского мира». Немцы приветливо принимают подарки, усаживают «мишек» на танкетки и продолжают свой медленный, размеренный марш вглубь города.

Какая-то старуха рыдает на плече немецкого солдата... Седой старик в потрепанном пальто становится на колени посреди улицы, крестится и благодарит Бога за освобождение.

Женщины истерично хохочут, утирают слезы, проталкиваются вперед, чтобы лучше рассмотреть «их» — усталым, но твердым и уверенным шагомдвигающихся вперед победителей.

Остановил меня, обняв за плечо, Михаил Яковлевич — доктор, с которым я работала в госпитале до самого последнего дня существования советской власти. Мы расцеловались. Голубые глаза Михаила Яковлевича улыбались лукаво, вся его фигура выражала уверенность и довольство.

Я помню наш с ним разговор до сих пор. Михаил Яковлевич пережил оккупацию Киева немцами в 1918 году. На все мои опасения и подозрения он неизменно отвечал:

— Милая, вы себе и представить не можете, какие славные, культурные, интеллигентные люди эти немцы... Люди самых высоких душевных качеств. Они воспитаны на философии Канта, Гегеля, Шопенгауэра... Они родили и создали Гете, Гейне, Рильке... Разве эти люди способны на зло?.. Помилуйте, дорогая, ведь вы ничего не знаете, ничего не видели... Советская пропаганда всегда была лживой... Разве мне нужно вам об этом напоминать?..

— Да, но ведь в 18-м году немцы не были фашистами, — пыталась я возразить.

— Что вы говорите! Голубушка, поймите же, что фашизм так же неприемлем, как и большевизм. Неужели же вы думаете, что все немцы фашисты? Вот смешная... По-вашему, у всех у них такие вот ужасные лица, как на советских плакатах? Да опомнитесь! Двадцать лет — это срок, далеко не достаточный для того, чтобы «переродить» целую нацию!

Озябшие, уставшие, все еще не отдающие себе полного отчета в том, что произошло, киевляне стали медленно расходиться по домам. У каждого на посиневших холодных губах стоял немой вопрос:

— А что дальше?

По дороге домой я встретила Соломона Григорьевича, портного, с которым мне часто приходилось иметь дело перед войной. Один раз в год профессорам университета выдавался ордер на «индпошив», т. е. давалась возможность заказать костюм без большой очереди и по государственной цене. Я по поручению папы захаживала в мастерскую Соломона Григорьевича, и у него всегда находилось несколько хороших слов для меня. Встретив меня, он очень приветливо заулыбался, обнял меня и поцеловал в щеку.

— Ну, вот, красавица, и дождалась... Оставили нас «товарищи»-то... Ушли и не оглянулись... Ну, что ж?.. Скатертью дорога!.. Теперь вот начнем новую жизнь... Да какую жизнь! — прибавил он, мечтательно улыбаясь.

— Тот костюм, который я пошил вашему батюшке, употребите на тряпки!.. Разве это костюм? Разве из такого материала полагается профессору костюм шить? Вот вы погодите, через месяц-два я вашему отцу такой костюм сошью, что вы и во сне не видели... Английское сукно! Видели ли вы когда-нибудь настоящее английское сукно?.. Ах, бедная вы девочка!

Ничего хорошего в своей жизни вы не видели... Что вы знаете за советской властью? Вы ведь дочь профессора... В старое время вам бы в карете разъезжать...

Я засмеялась...

— Зачем мне карета?.. Я вот о вас думаю... А что, если немцы вам звезду повесят?

— Подумаешь, звезду?! А что мне звезда?.. Ну, пусть себе висит... Лишь бы жилетки не оттянула... Да и на что он вешает-то эти звезды? Что, и так не видно, что я еврей? Каждому свое... Вот Гришка мой комсомольцем стал, так ему пришлось шкандыбать за своими... А мне зачем? Я старик... Кому я мешаю?

Мы еще раз обнялись и простились. И кто же мог подумать, что простились навсегда? Кто мог предугадать, что рок уже занес свой меч над головой этого милого, полного доверия и надежд человека?

Наташа Г. обняла меня у самого входа в наш подъезд.

— Ну, как? — возбужденным шепотом произнесла она. — Что они? Не совсем похожи на тех «фашистов», которые были нарисованы на мишенях в школе? Ин-те-ресные есть! — закончила она вдохновенно.

«При первой же возможности поеду в Германию! Увижу собственными глазами, что правда, а что ложь», — думала я, поднимаясь по лестнице.

Дома меня поразило то, что в квартире было необычайно много чужих людей. Мама сидела за столом и разливала чай. Взгляды всех присутствующих были направлены в сторону отца. Почему-то всем казалось, что он должен знать немного больше, чем они... Он говорил, как всегда, негромко и мягко, но теперь в его голосе были незнакомые мне возбуждение и уверенность. Из его слов я поняла, что он пытался внушить спокойствие и выражал надежду на то, что все опасения напрасны, и очень скоро все мы будем далеко позади фронта... Люди приходили, совещались, уходили немного успокоенные...

Приходило много знакомых, много совершенно чужих людей. Одним из гостей в эти дни был будущий председатель Городского Управления Багазий. В. С. Багазий был очень милым человеком, и я знала его еще перед войной. Он был преподавателем истории в средней школе и хорошим знакомым отца. (Ни профессором, ни «вторым Петлюрой» он никогда не был. И говорил Багазий на очень хорошем русском языке).

В первую ночь немецкой оккупации Киева мы долго не ложились спать. В темноте сидели на балконе, прислушивались к звукам удаляющейся канонады и с чувством страха и очарования наблюдали то поднимающееся, то исчезающее зарево на горизонте. Долго сидели так, молча, предаваясь своим думам. Поздно ночью отец подвел итоги нашим мыслям:

— Ну, вот так закончился один период нашей жизни — советский период. Что бы там ни было, как бы дела ни повернулись, но одно ясно — *туда* возврата больше нам нет. Вот мы и на свободе... после двадцатилетнего плена советской власти!..

* * *

Киев проснулся рано на следующий день. Снова толпы народа заполнили улицы. Никто больше не мог сидеть дома. Всех гнала на улицу неизвестность, желание узнать новости. Страшно хотелось быть вместе с другими, видеть и чувствовать, что ты не один. В это холодное солнечное утро в душе у каждого был один и тот же вопрос: что же будет дальше? И ни у кого из киевлян не было на это ответа.

Одним из разумных шагов немецкого командования было прогнать через многолюдную, возбужденную толпу автомобиль с громкоговорителем, передающим свежую сводку советского командования. Ничего нового в этой сводке не было. Как и во все предыдущие дни, сводка гласила: «...Ожесточенные бои с противником идут в Брест-Литовском направлении...»

Но теперь слова эти вызвали взрыв возмущения у киевлян. Какой-то мужчина грозно потрясал кулаком в направлении Востока:

— Все еще врите, товарищи! — раздавались все громче неистовые крики в толпе. — Хватит!.. Наслушались вашей брехни!

— Ври!.. Ври!.. — кричали другие.

Толпа все более делалась похожей на стихийную демонстрацию против еще не окончательно уничтоженного врага.

Немцы стояли оторопевшие... ничего не понимали... Кто-то старался переводить им значение выкриков... Они начали улыбаться, кивали головами...

Уже на следующий день появились объявления о том, что население должно снести противогазы в назначенные места. Распоряжение это вызвало восторг у населения. Каждый с улыбкой облегчения сбрасывал в кучу эти ненавистные «реквизиты войны». На Крещатике из них образовывались целые холмы.

Распоряжение о сдаче радиоприемников было принято с меньшим энтузиазмом, но послушно, без тени протеста. Люди сносили свои аппараты в здания бывшего «Детского мира», «Универмага» и «Ювелирного магазина».

В эти дни в городе стали появляться отпущенные военнопленные, которые рассказывали о событиях на фронте, о сдаче целых батальонов, полков, дивизий, армий, о панике в частях Красной Армии и о полной разрухе, царившей на всех участках фронта. Люди радовались освобождению. Казалось, что советская власть, доставившая столько горя населению, бесповоротно, окончательно «сметена».

Наряду с приподнятым настроением чувствовалось и тревожное ожидание чего-то. Немцы еще ничем себя не проявили. Ходили слухи об арестах коммунистов и оставленных партизан. Это не очень пугало людей, казалось естественным, необходимым, неизбежным... У большинства совесть была чиста!

24 сентября начались взрывы на Крещатике. В эту ночь жителям было предложено оставить свои дома и уйти из центральной части города. И с этим мероприятием люди были согласны. В этой мере видели заботу о населении. Но выселенным некуда было деваться. Они толпились на площадях, в скверах и в других местах.

Взрывы и пожары внесли беспокойство. Ходили слухи о том, кто и как производил эти разрушения. Некоторые говорили, что это немцы подожгли город. Но это было бы нелогичным — ведь город сдался без сопротивления. Кто-то сваливал все на партизан, другие — на евреев, третьи — на запланированное разрушение города отступающими частями Красной Армии.

Объявления 27 и 28 сентября о том, что евреи должны собраться с теплыми вещами, запасами еды и ценностями в районе Бабьего Яра, вызвали некоторое смятение, но ни у кого не было ни малейшего подозрения в действительной цели этого мероприятия.

Слух о том, что евреев расстреливают, оказался настоящим «обухом по голове» для большинства населения. Никто не верил пронесшимся слухам. Все казалось таким диким, таким невероятным, не укладывающимся ни в какие рамки, дьявольски подстроенным обманом, что просто не вмещалось в сознание людей.

Когда то, что произошло, стало, наконец, фактом, не подлежащим сомнению, — ужас охватил оставшееся население. Казалось, это начало конца...

С этого события все и «покатилось»... Вдруг открылись глаза на то, что «освобождение» было ничем иным, как гнусным обманом. Надежды, ожидания, мечты... — все рухнуло.

Кое-как, безо всякого уже энтузиазма, киевляне принялись за подготовку к ужасной, холодной, полной ужасов и отчаяния зиме. Началась «борьба за существование».

Совершенно неожиданно крестьяне оказались в привилегированном положении. Им была роздана долгожданная земля, они с упорством собственника и с помощью тысяч бездомных отпущенных военнопленных начали создавать свои хозяйства.

Киев же голодал... Началось «мешочничество», то есть походы в села с целью обменять вещи обихода и одежду на продукты питания. Цены поднялись до баснословных размеров. Деньги потеряли всякую цену. Мама моя променяла пианино, которое мы купили за несколько месяцев перед войной, на три фунта сала. И это казалось богатством.

Торговля не восстанавливалась. Базара почти не было. Люди больные, слабые или не способные на спекуляцию, были обречены на гибель. Пошли слухи о том, что едят кошек и собак. На бульваре Шевченко публично повесили «людоеда». Холод донимал не меньше голода. Дровами люди не успели запастись. Ужасное положение было в детдомах, больницах. Центральное отопление не работало. Во многих районах не было включено электричество. Ни водопровод, ни телефоны не работали. Трамваи ходили редко, а если и ходили, то люди предпочитали не пользоваться ими, т. к. на передних площадках висела надпись «Только для немцев». Подобные плакаты висели и на стенах всех ресторанов, гостиниц, театров и многих учреждений...

Вот в это время неизвестности, холода, голода, страха и отчаяния стала издаваться в Киеве газета «Украинское слово» на украинском языке под редакцией Ивана Рогача.

* * *

Кто такой был Иван Рогач? Киевлянин? Как и почему он попал в Киев? Ответ на все эти вопросы нашелся скоро. Иван Рогач был привезен в Киев немцами вместе с группой других западно-украинских националистов. Немцы привезли этих

людей для того, чтобы им было в первое время на кого опереться. И для того, чтобы свалить на них некоторые неприятные обязанности. (Кто из киевлян не помнит одетую в черное украинско-галицийскую полицию?)

Эти люди были поставлены немецким командованием на все ответственные должности и служили как бы посредниками между населением и немецкими оккупационными силами.

По всем имеющимся сведениям и фактам, эти люди превысили свои полномочия и этим заслужили опалу у своих покровителей. В чем состояла фактическая вина Ивана Рогача и других, этого никто не знает.

Вспомним, в чем заключалась деятельность Ивана Рогача и его группы в редакции газеты «Украинское слово» и во всей жизни Киева в этот период.

Газета была переполнена статьями на тему, которую можно выразить одной фразой: «Бий москалив!» Газета была насыщена ненавистью ко всему русскому и всячески призывала население к борьбе с «московским влиянием».

Газетными статьями деятельность группы не ограничивалась. Члены этой группы пытались парализовать жизнь местного населения, отравляя его ядом совершенно чуждых его интересам и восприятию лозунгов.

Русские люди, т. е. те, у кого в паспортах было написано, что они русские, оказались в чрезвычайно трудном положении. (Здесь надо оговориться, что в советских условиях в паспорт можно было записать любую национальность. Я лично знаю много людей, которые долго колебались, рассуждая, к какой национальной группе себя причислить — к русской или украинской). Во время советской власти преследованиям подвергались русские и украинцы в одинаковой степени, во время коллективизации и русские, и украинцы голодали на одинаковых правах. Высокие положения в партии занимали люди с украинскими фамилиями не реже, чем с русскими и т. д. Никакой вражды, даже намек на нее между русскими и украинцами не существовало. Мы воспитывались на литературе, созданной украинскими классиками, такими, как Шевченко, но и имя Пушкина было для нас родным и своим. Я до сих пор люблю писательницу Марко Вовчок, но почему ради этой своей любви я должна отказаться от увлечения стихами Лермонтова? А вот именно этого и требовали от нас прибывшие в Киев

«западные братья». Им было совершенно непонятно наше дружеское отношение ко всему русскому, наше родственное чувство к русским людям и русской культуре. Да как же могло быть иначе? Во имя чего должны мы были отказаться от того, что с момента сознательности считали неотъемлемой частью своей души?

* * *

Мой отец, покойный профессор Константин Феодосьевич Штеппа, в то время считался заведующим отделом образования при Городском Управлении города Киева.

Так как никакого «образования» в полном смысле этого слова в Киеве не было в то время, то обязанности отца свелись к стремлению как-нибудь облегчить участь тех многочисленных людей умственного труда — профессоров, учителей, докторов, литераторов, артистов, художников, которые волей судьбы и немецкой оккупации остались «без места». Эти люди были без работы и без каких бы то ни было средств к существованию. Я могу назвать фамилии научных работников, погибших от голода и нужды в эти месяцы. Их было немало...

С большим трудом, «обивая бесчисленные пороги» немецких учреждений, он добивался улучшения снабжения населения, в частности, научных работников и др. В своей книге «Повесть кривых лет» Татьяна Фесенко упоминает о столовой, которой пользовалась и она сама, и писательница Олена Телига, и многие другие. А сколько людей помнит о том, что открытию этой столовой предшествовали неоднократные унижения перед оккупантами, пережитые моим отцом? Об этом почему-то никто не говорит. А сколько было таких людей, которым он помог устроиться на работу, получить квартиру, спастись от принудительной мобилизации в Германию или хотя бы приобрести возможность получения одного горячего обеда в день?

Каждый раз, приходя домой, он рассказывал о своих столкновениях с западными украинцами, которые чинили ему препятствия на каждом шагу, когда дело шло об устройстве на работу или оказании какой-либо другой помощи людям не украинской национальности.

Приходила к нему балерина Киевской Оперы г-жа А., которая лишилась работы (а вместе с ней и пайка!) только потому, что она в свое время закончила Петербургскую Балетную Школу и в ее паспорте было написано, что она русская. Приходили учителя и художники, артисты, ученые, которым было

отказано не только в работе, но и в мизерном, полагающемся украинскому населению пайке за то, что они русские.

Незнание украинского языка считалось большим грехом и преступлением и для людей украинской национальности. Грубые выходки украинских полицейских по отношению к людям, употреблявшим русские слова, переходили все границы. Население стало чувствовать давление непрошенных «пришельцев» сильнее, чем оккупантов. Насилие над личностью стало принимать формы разнузданной полицейщины. Страх и ужас охватили город.

Возможно, что «вопли» возмущения дошли до немецкого командования, или же у них оказались и свои причины для устранения сыгравших свою роль людей. Во всяком случае в феврале 1942 года произошел «переворот». Западно-украинских «пришельцев» частично арестовали, а большую часть вернули в Польшу или в другие места. Таким образом, многие из них отнесли себя к категории «жертв нацизма».

Согласившись сотрудничать во вновь созданной газете «Новэ Украинське Слово», мой отец принял на себя чрезвычайно большую ответственность. Он отдавал полностью себе в этом отчет и, сознательно жертвуя личными интересами для пользы дела, в которое он верил, принял на себя эти обязанности.

Новое название газеты подчеркивало факт, что направление ее потечет по новому руслу. Да, мой отец разделял это «новое направление» и в силу своих возможностей в тогдашних условиях проводил линию, которая соответствовала интересам и настроениям большинства населения. Газета под его руководством перестала носить характер крайне националистического, настроенного ненавистнически к русскому народу направления. Основным тезисом газеты стало разоблачение общего врага — большевизма.

Слово «москали» исчезло из ежедневного обихода, и терпимое отношение к русской культуре и русским людям стало все больше и чаще наполнять страницы газеты.

За это мой отец снискал ненависть западно-украинских крайних националистов, которые в течение всей его последующей жизни преследовали его своими обвинениями, старались оклеветать, облить грязью. Мой отец умер почти десять лет назад. И я считаю своим долгом защитить его память и очистить его имя от клеветы.

ПИСЬМО

Когда, благодаря Международному Красному Кресту, мне стало известно о том, что Эрик жив и живет в Советском Союзе, я решила написать письмо Н. С. Хрущеву следующего содержания:

Глубокоуважаемый Никита Сергеевич!

Меня зовут Аглая Константиновна Горман (урожденная Штеппа). Я являюсь дочерью покойного профессора Константина Штеппы, который был редактором украинской газеты в период немецкой оккупации и был обвинен в сотрудничестве с врагом и предательстве. Он умер в 1958 году после сердечного приступа. Он не был схвачен КГБ, но ему пришлось перенести тяжелые страдания. Он потерял своего единственного сына, Ерика Штеппу, который был призван в немецкую армию после того, как моему отцу было предоставлено немецкое гражданство.

Мой отец умер, не узнав, что его сын жив, и что он находился в советском трудовом лагере в Колымском крае.

В настоящее время моя мать, Валентина Леонидовна Штеппа (урожденная Шепелева) тяжело больна, у нее рак печени, ей осталось жить всего несколько месяцев. Моя мать не виновна в преступлениях против советской власти. Она во время немецкой оккупации была больна и все время находилась в больницах.

Никита Сергеевич! Вы — тот человек, кто осудил политику сталинских чисток, одной из их невинных жертв которых был и мой отец. Этот факт позже побудил его к борьбе с системой.

Вы известны как справедливый и гуманный человек. Пожалуйста, разрешите матери увидеть ее сына в последний раз!

Я прилагаю врачебное заключение и разрешение американских властей на выдачу визы для моего брата Эрика Штеппы, если будет получено Ваше согласие на выезд брата.

*Искренне ваша,
Аглая К. Горман*

На мое письмо не было получено никакого ответа.

21 августа 1963 года моя мать скончалась. Она была похоронена на русском кладбище «Новое Дивеево» в Нью-Йорке рядом с моим отцом. Единственное, что мы могли сделать для Эрика — это сообщить ему обо всем телеграммой.

Прошло еще три или четыре месяца. От Эрика пришло письмо.

Он написал, что в один из дней он был вызван в местное управление КГБ. Причиной вызова могло быть все, что угодно — и просто рутинная проверка в соответствии с принятой практикой, и попытка принудить его стать информатором, и вызов для выяснения обстоятельств его переписки с границей. Когда он прибыл в управление КГБ, то был удивлен дружественным к себе отношением, которого он не встречал никогда ранее во время своего нахождения в тюрьмах или лагерях. Он сразу забеспокоился и насторожился. Но, к его удивлению, служащий управления вручил ему анкету и сказал: «Заполните заявление для получения визы, чтобы посетить вашу мать в Америке».

Эрик был в полном недоумении. Он смог вымолвить только: «Очень жаль, товарищи. Моя мать умерла три месяца назад». Тот служащий предложил Эрику подробно рассказать всю его историю. Из последовавшей затем беседы Эрик узнал о моем письме Н. С. Хрущеву и был изумлен тем, что это письмо прошло через множество барьеров и произвело некоторый эффект.

После беседы служащий куда-то вышел, а когда через некоторое время возвратился, то сообщил: «Если поступит просьба от Вашей сестры разрешить ей посетить Вас, мы не будем препятствовать ей в получении визы».

После прочтения письма Эрика, я не знала, на что мне решиться? Что делать?..

СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. В. Попов</i>	
ВВЕДЕНИЕ	3
<i>А. К. Горман</i>	
ДРУГАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ	8
<i>К. Ф. Штенна</i>	
“ЕЖОВЩИНА”	15
Глава 1. Накануне	17
Глава 2. Начало	21
Глава 3. Круг замкнулся	29
Глава 4. Апостольство Иуды	43
Глава 5. Свершилось	50
Глава 6. Первые уроки	60
Глава 7. Мое «дело»	69
Глава 8. В большой камере	77
Глава 9. За что?	87
Глава 10. В камере смертников	103
Глава 11. Крапивлянский	106
Глава 12. Зиньковский	108
Глава 13. Вопросы	114
Глава 14. Слабость побежденных	117
Глава 15. Искушение коммунизмом	122
Глава 16. На горе Митридата	125
Глава 17. Audiatur et altera pars	128
Глава 18. «Сработанный» чекист	131
Глава 19. «Последний путь»	134
Глава 20. Грех Петра	135
<i>Э. К. Штенна</i>	
НЕ ЗАБУДЬТЕ, ЛЮДИ!	139
1. Судьба	141
2. Тюрьмы	165
3. Ольчан	188
4. Хета	209
5. Нижний Урях	224
6. Фрида	239
<i>А. К. Горман</i>	
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ	251
Отец	253
Это было в Киеве	260
Письмо	270